ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

Одесский
литературно-художественный
журнал

1(45)'2023

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Евгений ДЕМЕНОК

Отдел литературной критики
Александр КАРПЕНКО

Общественный совет:
Дмитрий Бураго (Киев), Евгений Голубовский (Одесса),
Владимир Гутковский (Киев), Олег Дрямин (Одесса),
Алёна Жукова (Торонто), Олег Зайцев (Минск),
Вера Зубарева (Филадельфия), Андрей Костинский (Харьков),
Марина Матвеева (Симферополь), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Интернет-версия журнала: ursp.org/index.php/yuzhnoe-siyanie

Ariella Publishing
Philadelphia
2023

Литературно-художественный журнал «Южное Сияние» (№1, 2023)
Literary magazine «South-lights»
ISSN 2226-647X

Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»
Founder – Public organization «South-Russian Writers Union»

Published by Ariella Publishing | Philadelphia, Pennsylvania
First printing February 2023

© «Южное Сияние», 2023

Георгий Цомакион. Тишь.

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Юлия Мельник. **Вода, обученная летать.** *Стихотворения* 6
Одесса: Тина Арсеньева. **Пьеретта.** *Цикл стихотворений* 11
Одесса: Валерий Сухарев. **Седативное серое небо.** *Стихотворения* 16

ПРОЗА

Лод: Борис Берлин. **Транс.** *Повесть* 21
Москва: Елена Черникова. **ПандОмия.** *Фрагменты первых глав романа* 36

ПОЭЗИЯ

Вологда: Ната Сучкова. **Век от века пейзаж не изменится.** *Стихотворения* 48
Новосибирск: Лада Пузыревская. **Память снега всё острее.** *Стихотворения* 51
Ташкент: Вячеслав Карижинский. **Период полураспада рая.** *Стихотворения* 56

ПРОЗА

Одесса: Александр Щедринский. **Санте.** *Рассказ* 62
Одесса: Виктория Колтунова. **В выборе тела.** *Рассказ* 70

ПОЭЗИЯ

Симферополь: Марина Матвеева. **Небоскрёб из единой ступеньки.** *Стихотворения* 77
Евпатория: Николай Столицын. **Колокольня – для него – высока.** *Стихотворения* 83
Севастополь: Елена Коро. **Утро белым колоколом.** *Стихотворения* 89

ПРОЗА

Одесса – Москва: Ольга Ильницкая. **Жизнь переученной левши.** *Рассказы* 93
Москва: Александр Кацура. **Судья и смерть.** *Рассказ* 104
Лос-Анджелес: Григор Апоян. **Сам с собой.** *Рассказ-диалог* 113

ДРАМАТУРГИЯ›

Москва: Надя Делаланд. **Ма, это я.** *Пьеса* 118

ПРОЗА

Монреаль: Лада Миллер. **Аврора и другие.** *Повесть для детей* 125

‹ОКОЕМ›

«Пусть лишь песнями, Русь, да трелями будет сердце твоё прострелено» 140
Стихи финалистов конкурса Ежегодной Международной премии имени Игоря Царёва «Пятая стихия» 2022 года *(Марк Шехтман, Никита Брагин, Сергей Адамский, Галина Щербова, Андрей Ивонин, Елена Уварова, Виктория Соколовская, Галина Самусенко, Игорь Исаев, Сергей Востриков)* 141

‹ГОРИЗОНТ›

Воронеж: Елена Шилова. **Стихотворения** 149
Рязань: Галина Семизарова. **Стихотворения** 151
Краснодар: Татьяна Шкодина. **Стихотворения** 152
Вюрцбург: Михаил Эндин. **Стихотворения** 153
Омск: Арина Кондакова. **Стихотворения** 155
Санкт-Петербург: Юрий Угроватый. **Пряжка.** *Рассказ* 156
Смоленск: Екатерина Рогачёва. **Запасная мечта.** *Рассказ* 159
Воронеж: Ирина Соляная. **Десять рублей серебром.** *Рассказ* 164

‹ЛИТМУЗЕЙ›

Цур-Адасса: Елена Твердислова. **Душа и её Арлекин: урок любви** 167
Елабуга – Миннеаполис: Майя Левянт. **Марина Цветаева о поэтах современниках** 180
Москва: Станислав Айдинян. **Константин Бальмонт – глазами современников.** *Эссе* 183

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

В поисках своего кита. *О книге Нины Баландиной «Поплавки стихов»* 187
На теневой стороне речи. *О книге Марины Чирковой «Смородиновый лес»* 190
Там, где рождается речь. *О книге Армана Комарова «Нерчь и заречь»* 192
Шажок минутных стрелок. *О книге Дениса Ткачука «Самосуд»* 194
Пока ускользает мгновение… *О книге Марии Затонской «Миниатюры»* 197

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«Я пришёл из эпохи великой людской печали…».
О книге Константина Кедрова-Челищева «Бесконечность внутри юбилея» 198
«И небом вспыхивают горы…». *О книге Эльдара Ахадова «Ожидание чуда»* 201
Девочка на магическом шаре. *О книге Татьяны Богдановой (Аксёновой) «Магический шар»* 204
«Свет всегда валялся под ногами…». *О книге Бориса Фабриканта «Багажные наклейки»* 207
«Крестом себе прокладываю путь…». *О книге Антонины Беловой «Зовущая даль»* 209
Слово о Высоцком. *О «Малом собрании сочинений» Вл. Высоцкого* 211

‹ШКАФ›

Москва: Станислав Айдинян. О поэтических страницах Александра Красоткина.
Рецензия на книгу «Дорога к свету» 214
Одесса: Владислав Китик. Завидовать ли гению?
О книге Вероники Коваль «Художники-евреи Парижской школы» 215
Коломна: Александр Руднев. Театр без грима. *О книге Валерия Иванова-Таганского «Неубитый театр»* 217

ЮЛИЯ МЕЛЬНИК

ВОДА, ОБУЧЕННАЯ ЛЕТАТЬ

***

Ты читай меня в ветре, с любой начинай строки,
Во мне песни теснятся, пока я на пальцы дую…
Это вовсе не знак, что спасу тебя от тоски,
Ведь порой и сама я не знаю, о чём колдую.

Просто кружатся в горле снежинки, звенят слова,
И вдогонку за ними – не глупо ли, не нелепо?
Так хочу я быть ветром в пресветлый день Рождества,
Так мне хочется всё, что напрасно, засыпать снегом.

И когда мир растает слезой на моей щеке,
Я ворвусь в твою комнату – лёгкая и шальная,
Будет свет и охапка снежинок в моей руке,
Если в ней, ты прости, не удержится жизнь земная.

***

Когда между нами возникнет бесснежный день,
Как кружка серебряная с молоком холодным,
Я буду молчать и глядеться в глаза природы,
Держась на дыханьи, как держатся на воде.

И будут случаться событья дыханью в такт,
И будет так тихо обыденный день свершаться…
И сердце сумеет на ветке своей качаться
Легко, беззаботно, беззлобно, как певчий птах.

Оставь этот день мне, не трогай, не отбирай…
Пока я по городу следую за дыханьем,
Такая огромная ширится в сердце тайна,
Как будто не нужно ни плакать, ни умирать.

***

Сидеть, как Будда, в золотой пыли
И видеть море синее вдали,
Сомкнув уста, но сколько неотложных
И важных дел… Вот сердце. Вот река.
Вот за порог ведущая тоска.
Вот ветер, в спину дующий тревожно.

Сидеть бы, право, да не усидеть…
Сквозь пыль дорог все очи проглядеть
Возможно. И вскочить. И спохватиться.
Покуда в мире буйствуют ветра,
Не спит печальный Будда до утра.
И я не сплю. И мне, мой друг, не спится.

Давай в ночи все царства обойдём.
Давай траву целебную найдём.
Давай приложим к ранам подорожник.
А после – скрестим ноги, замолчим,
И станем тише и светлей свечи.
Давай спасём друг друга, если сможем.

***

Подружиться с травой, что поблекла от жарких лучей,
Этот мир удивительный наш – не считай, что ничей,
Обездоленный мир, мир так часто лишённый тепла…
Но отрадно душе, что травинка сквозь прах проросла.

Ты держись за неё, жизнь её и светла, и горька…
Пусть в тебе прорастёт, пусть увидит твои облака,
Золотая травинка у чьей-то судьбы на краю,
Как улыбка Адама, что вновь очутился в раю.

***

Где веток шрифт, размытый от тумана,
Читают голуби и облака,
Там, знаешь, начинается нирвана,
И, может быть, кончается тоска.

Туда нырнешь – и не догонят слухи,
Но надолго возможно ли уйти,
Когда глазами плачущей старухи
Мир безутешный на тебя глядит?

Шагнёшь в туман, зажмёшь в ладонях счастье,
Холодный ветер, ветра не любя,
Пьёшь, только бы глазами не встречаться
С тем, кто без страха целится в тебя.

***

Пить свет осенний по глотку,
Узнать, что ветер остывает…
К его прохладе привыкает
Жизнь, как к чужому языку.

Болтай на этом языке,
Когда обычных слов непрочность
Почувствуешь – обман, неточность,
Как их не повторяй в тоске.

Не говори, что холод слеп,
Он, домик карточный разрушив,
Хранит от снов пустых, и душу
Растит, как виноград и хлеб.

***

Дай ребёнку рецепт взросленья – он не поймет…
Очерстветь, загрустить, заскучать, превратиться в лёд?
Горький запах травы променять на пустые фразы?
Он пока ещё тянется к солнцу, не зная сам,
Для чего он так нужен собакам и небесам,
А черстветь и грустнеть – это будет не вмиг, не сразу.

Для начала игрушки любимые отберёт
Незадачливый доктор время, потом умрёт
На ладони птица, и, горько о ней жалея,
Обежит ребёнок окрестные все дворы,
И поймёт – нет такой забавы, такой игры –
Навсегда, насовсем… И на птичью жизнь повзрослеет.

А потом ему будет казаться, что он не тот,
Его волосы, губы, глаза и слова ни в счёт,
Есть дела поважней, посолидней – и он поверит…
И отпустит бабочку, севшую на ладонь.
И никто не узнает, что делать с такой бедой.
И никто не узнает, что делать с такой потерей.

Состригут его локоны, строго построят в ряд,
Оборвут все надежды, все уши заговорят,
Поведут за собой – для чего и куда, не зная.
Может, лучше отбиться, сокрыться и не взрослеть?
Может, лучше с непрочною птицею умереть?
Или ветром и птицей остаться, не умирая.

***

Позволь быть дню медлительным и тихим,
Не обессиль его, не потревожь,
Пусть будут синь и солнечные блики,
А после что угодно – ветер, дождь…

Позволь далёкой ветке раскачаться
И птицу сонную не уронить,
Воде звенеть, а счастью превращаться
В весёлую серебряную нить.

Позволь себе бесхитростное знанье,
Что вышагнуть возможно за слова,
За горечь жестов, тесноту дыханья –
В хрустальные ладони Рождества.

***

Пока омывает ветер наши слова,
Как сизые, мглистые камни вода речная,
Им быть, как ни вышагнуть в небо из естества,
Им плыть, по живым траекториям с губ слетая.

Поверив, что каждое слово имеет вес,
Ни каждое ценишь, ни каждое вспоминаешь…
В безмолвье шагнув, как в высокий, дремучий лес,
Одно вдруг отыщешь и тысячу растеряешь.

И это одно будет долго в тебе звучать,
И пауза будет за ним бесконечно длиться,
И ветер, немея, не зная, с чего начать,
Надеждою будет дышать и дышать нам в лица.

***

Зайти в гости к Стефанке в маленький, старый дом
У белой церквушки… На самом краю молчанья
Присесть, ну а после – слова подбирать с трудом,
Слова подбирать, захлебнувшись горячим чаем.

Что «кошка», как «котка» звучит, «хлеб» звучит, как «хляб»,
Узнать, ну а после – без слов задавать вопросы
О том, как темны небеса, как светла земля
В отзывчивых сумерках… Видеть седые косы

И смуглые пальцы, крошащие чёрный хлеб,
И знать, что у сердца любого – своя погода…
Слов мало, и мне не узнать о её судьбе,
И гидом немым рядом с нами стоит природа.

Она выпьет чаю, она принесёт словарь,
И ветер над нами, смеясь, раскачает ветки.
И в самом-то деле, зачем мне её судьба?
Я слов не найду ни ответить, ни дать совета…

И я ухожу, унося этот краткий день
И запах осенний, и я ухожу всё дальше…
Слов мало, а значит – обид не стрястись беде,
Ни вспыхнуть размолвке пустой, ни случиться фальши.

***

В небе облако – та же святая вода,
Но обученная летать,
Видеть сверху озёра, луга, города,
Растворяться, мерцать, исчезать навсегда,
Вспоминать, находить, покидать.

В небе облако, только прикроешь глаза -
В его тайне почудится снег,
Ожиданье, улыбка, находка, слеза,
Первобытная нежность, отвага, гроза,
Глубина и надёжность корней.

В небе облако, хочешь – рукою смахни,
Хочешь – алым оставь догорать,
Позабудь его сразу, навек сохрани…
Как светло оно хочет тебя приманить
В наступающий день – из вчера.

***

За окном – всё та же непогода –
В сизой шляпе, в стареньком пальто,
Каменная арка небосвода,
Обнажённых веток решето…

Птица ёжится, не понимая,
Где скрывается горячий свет,
И её печаль глухонемая
Затерялась средь других примет.

Сердце – с этой птицею в обнимку,
Сердце – с этой сизой немотой –
Мерно бьётся, бьётся под сурдинку,
Знает, что спасётся красотой.

ТИНА АРСЕНЬЕВА

ПЬЕРЕТТА

1

Большеглазая Пьеретта,
Подана твоя карета:
Весь в заплатах балаган,
Твой кочующий обман.

Незадачлива Пьеретта:
В кулачке одна монета,
Что в окошке, то и света,–
Колесом дорога!

Бесшабашная Пьеретта!
Синим холодом – согрета,
В прорве дьяволова мета:
Колпачок – два рога…

К Богу несомый
Балаган – ох, мерзок!
Шут, невесомый
Мальчуган – ох, дерзок!

Стёртый коврик мой – край света,
Плащ лоскутного вранья,
Чтоб прикрыться, – а друзья –
Все коты на ваших крышах;
Все шуты, что небо слышат, –
Мне семья.
– Ах, бедняжечка Пьеретта!..

2

Зелёный глаз из-под берета,
Атлас да рваное перо.
Одни меня зовут: Пьеретта, –
Другие думают: Пьеро.

Ах, Пьеретта, дружок,
Твой бесшумный шажок,
Да берёзовый рожок,
Простодушные слова,
Кружевные рукава!..

Перевёртыш-травести
С ветром в маленькой горсти,
Круглолица и бледна,
Ходишь, грустная, одна…

Все девушки свои секреты
Доверят маленькой Пьеретте –
Не поскупится на советы
Свой парень, бледная Пьеретта:

Вот те фунт, а вот сторица, –
Ох, Пьеретта-упырица!..

Кто умеет так сплетать
Канитель из тьмы и света?
Кто умеет так соврать,
Как печальная Пьеретта?

Сама не разберу, мой свет,
Где сон – где выдумка – где бред…
Все в прозрачные сети
Попадётесь – Пьеретте!

Кто среди неба одинок,
Тому морока не порок.

Пьеретта, мой дружок,
Серебряный смешок,
Всевидящий глазок…
У ивы, у ручья –
Нездешняя, ничья.

Ночная блажь поэта –
Бесполая Пьеретта.

3

Предстояние – представление!
Вселенское глумление
Над законами тяготения!
Просвещённейшим умам,
Заземлённейшим телам –
Назиданье и просветление!

Я с вас платы не взымаю,
У меня своё добро:
Я роняю – просыпаю –
Рассыпаю серебро.

Покутить вам без помех
На серебряный мой смех!..

Поставление – представление!
Вашему старью обновление!
Несите весь душевный хлам –
Посеребрю, как храм, бедлам!

Ты станешь невесом и чист:
Пьеретта – иллюзионист!

Зеленоватое свечение –
Серебряное помрачение –
Во мраке светопреставление!!

…А когда вы все уснёте, –
Кто – в заботе, кто – в полёте, –
Полуночница в работе:

У седой колдуньи-ивы
Нежить вычешу из гривы.

4

Пьеретта, моя прохлада.
Жонглёр в парике судьи.
Смятенье бального лада.
Баллада пустой ладьи.
Пустыня больной ладони…
Балкон и яд беладонны.
Болотная дона белла.
В ножищах Абу-Симбела
Разбитое: «Иль Алла-а!..».
Трёхструнная перебранка.
В холодной душе стекла
Мгновенья сквозная ранка.
Пьеретта, родник в песках
И мёртвый птенец в руках.

Привесь бубенец к серпу –
Слепые, пойдём в толпу;
Там сумерки, морось, чад, –
Затеплим зрачки волчат.
Там гордо гуляет лошадь
И цокает в такт часам;
И, словно лампада, площадь
Подвешена к небесам.

5

Благослови, царица, сброд
Поэтов, посланных гонцами!
Неверных лицедеев род
Одень парчою с бубенцами!

Всегда одна,
Всегда одна,
Изменчива и холодна,
И дом твой – мрак и глубина,
Где ни покрышки и ни дна.

Отражённого света
Даритель: Пьеретта.

Преображённого света
Смотритель – Пьеретта…

6

Красен, девушка, почин, –
Торг кипит на льду:
Тридесять твоих кручин –
За одну беду!

А фонарик ли, свеча ль
Искушает мглу, –
Не твоя, старик, печаль,
Придержи полу!

Жизнь – мошенница: привет,
Ангелов конвой!
Я – ворую Божий свет,
Выдаю за свой.

Цензурована судьбы
Книга – на огне:
Ведь Праматерь все мольбы
Возносила – мне.

И, каким бы небесам
Ни была верна,
А моим слепым часам
Следует Жена.

Из эдемовой сумы
Выкрала печать –
Научилась свет от тьмы
Тотчас отличать;

Древ сокрытое родство:
Хмурь, девица, бровь,
Но из корня одного –
Кров, кровать и кровь…

И открыла счёт годам:
Книгу Бытия.
Тут и молвил ей Адам –
Смертный: «Жизнь моя».

7

Из бездны в бездну – меж зеркал –
Сияющий оскал.
На перепончатом крыле
Чья лодочка во мгле?

Меж двух пустот хорала
Пьеретта умирала.
Стопы Сан-Марко в иле:
Пьеретту схоронили!

За вёсла галеры
Взялись гондольеры –
Проводили лгунью
В обморечь лагунью!

Золотыми кандалами,
Медными колоколами,
Бубенцом из-под полы –
На покойницу хулы!

Коло-коло-шире-круг –
Стон над наковальней!
Соло-соло белых рук
Бабки повивальной.

Куда боса? – роса, ни-ни! –
И в пальцах сигарета…
Царицей Савской в саване
Восходит в ночь Пьеретта.
Ей-богу, сигарета, –
Бесстыжая Пьеретта!

И пусты её глазницы,
И летит зерно пшеницы,
С гробовой землёю в ссоре,
В пустошь – небо!
В пустошь – море!

В проруби – в пролуби
Неба – то-то жарко!
Бдите, девы: голуби
У Святого Марка!..

А в лесу, проплакав плавно,
Прорастает флейта фавна.

ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

СЕДАТИВНОЕ СЕРОЕ НЕБО

***

Ливень с тою же косиной в лице, что и туземцы Китая,
вывернул из-за угла, встрепенул ветки и по наклонной
двинул, бомбя витрины, к центру, перепрыгивая и пролетая
через проулки и над кровлями, огибая липы и клёны.

Здесь всегда переосень или недозима, катаракта луж, и
зеро отражений в них, на боках авто – только рефлексы света;
зеркало в коридоре тебе ужаснулось, как некогда милый Лужин
миру вокруг, но нежных уродств не снёс и не благодарил за это.

Сидишь у окна, сигарета от вида пейзажа сыреет; в доме
что-то потрескивает без конца, и к вечеру длинная кошка
снова становится круглым филином, и нет никого здесь, кроме
нас да былых и нажитых призраков, тоже живущих немножко.

В парке детские вопли, собаки, старухи – по расписанию,
одне только кряквы или нырки, словом – утки как фриланс и
свобода плыть и в клювы дудеть; и в эту зиму лыжи и сани
никто не расчехлит; и «под Вертинского» проноют романсы

во фрамугах унылые зюйды зимы; скоро по всей округе,
по околотку, волости и в небесах ангелы из энерго потушат
светильники, чтобы нам горевать прицельнее о подруге,
лаская вместо неё кружку с виски, и быть тонущими на суше.

***

Болтливая тишина дачных садов, когда,
поверх скрипа кровати в «шарах», слыхать,
как, не торопясь, сама себя моет вода,
на ночь меняя черты побережья; и в хате

кисло примусом пахнет, и косами чеснока
увешаны стены, и где-то, невидим и тих,
ластится кот у кресла, и призрачная рука
беззвучно подтянет вам одеяло до самых сих.

Более трети века тому: запахи, чувства, желанья тогда,
кажется, были иными – объятья сильнее и горше беда;
и зарёванная женщина средних лет, склонясь у стола
в сарафане, над рюмкой и горкой малины, как сажа бела,

молча ночь вливала в себя, лепеча на понятном ей и коту –
новом теперь – языке потерь, а сад на веранду заглядывал
и утешал как мог, но без интереса к ней и пребывая по ту
сторону жизни и смерти; а утром сосед нёс на плече коленвал.

Ведали б мы – я и она – тогда, виляя к морю игривой тропой
на громких из-за звонков великах, что настанет глухой и тупой
час начала войны, и что – среди прочего – память поможет нам
не растереться в дорожную пыль беженцев, и времена

не переплетать с пространствами, что бывало в те дачные дни;
мы были околицей мира, на стыдном выпасе у судьбы на виду…
Сциллы с Харибдами, вместо ангелов, в небе нынче поют одни,
и на подпевках сирены – в две тысячи двадцать третьем году.

ПРОГУЛКИ БЕЗ МЫСЛЕЙ И СМЫСЛА

В ноябре, куда ни пойти, повсюду листва и скамейка,
и то и другое сыро, и пахнет слежавшимся временем;
так, вода в фонтане Треви – копия неба; прилети, посмей-ка,
шершавый genius loci сумерек, это нарушить – отхлещут ремнем

иные рьяные сущности или прочие дроны пространства,
ревнивые ко всему, что не их – ни ныне и никогда потом;
так всё устроено именно для людей – для мнимости постоянства,
а в мире идей и призраков пространство с раскрытым ртом,

словно астматик, втягивает невкусный воздух, ночами
вращая единственным циклопьим глазом маячным, шаря
эсминца какого на глади или люльку лодки нечаянной;
и комендантский час как тряпичная кукла на самоваре.

В парке даром что эха нет, эфир тоже пуст, кроме трелей
переговорных систем – от транка до спутниковых терменвоксов,
ангелы просто фонят и трещат, как пеленг, и падшие ариэли
побухивают в тишине и влаге скамей – ни герика вам и ни кокса.

Я честно слоняюсь аллеями и один, без мысли и голоса,
мне диалог не нужен, но если уж человек, то собутыльник –
спокойная, ироничная леди без всяких манер: какие волосы –
не знаю, пусть будут каштановыми; надо бы дать подзатыльник

этому времени приватных таений и частных спазмов, страхов
за будущность, каковой не было и до войны; у девочек вырастут груди,
все выбьются в люди, ежели доживут и дотерпят, сменив рубахи
на саваны загодя, и закусив водку грудинкой; и что с нами будет

то даже Бог говорит гадательно, но без особого раздражения,
в отличие от живущих здесь и теперь горожан и деревенских клуш;
что же, врага по запаху серы, собутыльника по перегару; вторжение
продолжается, часы покашливают, соседка бегает в душ.

ОДЕССКИЙ ЯНВАРЬ

Тень, сбежав от объекта, осталась одна; в полутьме
слышно, как дышат у вас за стеной всякий раз,
как пропадёт электричество, и рук не видать, и зиме
нечего предъявить, и подсвечивает окно терминатор-«камаз».

Я мог бы даже сказать – динамике звуков следуя – что
снится соседке, а снится ей вестимо одно и то ж:
тема без вариаций, финал; в передней с горя пальто
соскользнуло во мрак и распласталось; стоишь и идёшь

одновременно; в жизни и в доме все косяки твои;
туда же – разбитая бровь, в прошлом – любовь без правил, да
крупных растрат суета; нынче же что из былого не назови, –
одне только думы мнутся, как за полдень тучи, или как провода

висят вдалеке и зря; зато, предприимчивый гололёд
оживляет людские походки, и старушки, особо стремясь,
танцуют негибкий макабр, так и продвигаясь вприсядку вперёд,
к островку остановки; у них меж лицами есть особая связь.

Ложиться ль спать или вставать слились воедино, смесь
вышла настолько мерзкой, что даже тебе я её не
посоветую, хотя б и как капли, пилюли и прочую взвесь;
виски подглядывает из буфета, и хлеб нарезан, как на войне.

***

Среди розария и монастырского праха
похожих на шахматы разновремённых
надгробий и склепщев, как выгоревшая рубаха,
за париками сирени полощется храм; влюблённых

на скамейке не замечая, доедающих опресноки,
как и колокольни стремительный жест, караваны
двугорбых, и мулов лобастых, и львов толстых набоких,
движутся понемногу к вечеру, меняя рисунок рваный

на фигуративных беременных баб, с подсветкой снизу,
так что щекастых голов не видать идиоту-туристу;
ближе к вечерне слетаются галки, стрижи стерегут карнизы,
а долу валандаются бесцельные кошки с очами искристыми.

Потом затихает всё, и только в автобусах через головы
лезут как-то сразу нетрезвые путешественники, с глазами
навыкате и шаурмой, каплют кетчуп с горчицей, как олово,
и автобус от гвалта словно присел, и опрятный водитель замер.

Это паломники всех возрастов и социально-этнических толков,
вся эта любопытствующая сволочь, любящая – как в анкете –
независимый отдых (all inclusive) и путешествия, верхние полки
поездов и муть мотелей, где нет ничего из того, что на свете

всё-таки есть; даже виски кривой только в маркете «One pound»;
ещё вам предложат ребристое мыло, щётку и полотенце…
Монашки как привидения в длинных рубахах не засыпают
сразу, и долго бубнят и хихикают, прежде чем вовсе раздеться.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БАРОМЕТРОМ

Светлые дали темны. Небесное закулисье
заполнено фонограммой ракет и сирен; продлись я
ещё какое-то время – досмотрел бы конец войны,

напился бы с соседкой, товаркой по общему горю,
мирные облака б наконец вышли к морю
и я перестал быть мостом, разведённым с одной стороны.

Но синхрония пространства и времени унылей «белого шума»,
эфир шебуршит лузгой, и округа глядит не так, чтоб угрюмо,
но настороженно, точно подглядывает за вами.

Как истинный эксгибиционист для вуайериста – в подарок,
раскину шторы, скину исподнее и спляшу гоу-гоу; будет жарок
случайной подруги взор, и торшер будет подмигивать в панаме.

А в окопах друзья и враги успевают подчас тяпнуть по двести,
все визави, как мы и силы небесные, грунт и дёрн на месте,
но местность, как оспой, изрыта взрывами, надо не ссать,

а это тяжко, если над головой, как шмели, жужжат вертолёты
и юркие авиаласточки, проносясь, неизбежно угробят кого-то,
и метеоконус в безветрие – как безверие или засохшая оса.

Стихи, говорят, бывают сильны на прогнозы, но только не эти;
я не читаю в душах, таро не мечу, клятв не даю; на этом свете
всегда и всё можно отменить, кроме любви и смерти.

Это такая правда сейчас и вечности – вновь синхрония –
что и клясться нечем и незачем; многих уже схоронив, я
любовь сложил пополам и спрятал внутри, как в конверте.

РОЖДЕСТВО

Морденты как узелки на веревочке длинной фразы,
несколько вялых дубль-бемолей в поддержку печали;
форточку тронул сквозняк, но приоткрыл не сразу;
в парке скрипели качели и темноту со снежком качали.

Циклон занавесил звезду, запорошил царей с дарами,
колядующие отроковицы в оконной раме мелькнули,
как товарняк вдалеке, шумны и чрезмерны; коты дворами
не шляются, где-то сидят и затихли; фонарь стоит на карауле.

Полночь почти, позёмки летит суховей по брусчатке;
что ж так тревожно горюет душа, точно что-то у ней отняли;
и в далёком лесу не пляшут волки и не воют сдуру зайчатки,
одне только совы мониторят пространство в меру печали.

Хорошо, что один: бокастый виски желтеет, брынза потеет,
переживая, что солона и суха, оливки щёки, как дети, надули,
и мандарин ярится, полн, оранжев и кисл в своей простоте, и
что-то ещё в тени на тарелке; и фонарь, как и был, в карауле.

Я не знаю часа рождения, каков вес и рост, цвета глаз не знаю,
и что сказала Мария, и сказала ли, и что ей ответили – тоже;
но мир небывалой наполнился новизной, и прежняя ось земная
чуть накренилась, да так и осталась поныне; и имя Божье

похлеще атомной, преобразило леса и равнины, и даже души,
не склонны к видовым изменениям, не взыскующи прощения;
но и слепой разглядит этот свет, и расслышит отрезавший уши
этот глагол; а остальное – по мере дичания и раскрепощения.

Седативное серое небо брезентом над городом, миром, словно
в палатке живёшь, выбираясь лишь по нужде и за кореньями;
размахивает лучом «летучая мышь», шнапс и сухари поголовно
спят в мешке, и люди редко бубнят молитвы и стихотворения.

БОРИС БЕРЛИН

ТРАНС
повесть

…смерть каждого Человека умаляет и меня,
ибо я един со всем Человечеством,
а потому не спрашивай никогда,
по ком звонит колокол;
он звонит и по Тебе.

…и вот уж отзвонили по мне, а я и не знаю о том.

Да не умрёт любовь и не убьёт.

Дж. Донн (1572-1631).

О ней

Она перелистывает страницу, поднимает глаза и смотрит на меня с нежностью.

– Ты что-то сказал?

– Да нет… То есть, да, но это я не тебе – себе. Сам себе.

– Ты раздражён.

– Нет, просто Андрей позвонил, попросил выручить, у него полторы полосы пустые, и он хочет что-нибудь такое, погорячее. Обещал прислать самого лучшего журналиста и звонкий заголовок для интервью.

– Прекрасно. Чем же ты недоволен?

– Всем доволен. Но надо собраться, продумать ход беседы, вопросы, ответы, а у меня совсем нет настроения. Не люблю я на скорую руку. И всё равно ведь переврут, первый раз, что ли?

– А ты скажи об этом, в самом начале и скажи. И не стесняйся.

– Думаешь, поможет?

– Не знаю, но тебе будет чуть-чуть легче, правда?

– Умница ты моя. Так и сделаю, как ты говоришь, один к одному. Иногда, мне кажется, что ты меня знаешь лучше, чем я сам.

– Конечно. Быть рядом с тобой уже так долго – волей-неволей…

– Шути, шути. У меня на твои шутки ответ один, и ты его очень хорошо знаешь. И любишь.

– Ещё бы. Только об этом как раз не надо, всё равно никто не поверит. Ты им расскажи про удовольствие, про Фрейда. И про религию тоже – обязательно.

Она улыбается и смотрит на меня почти по-матерински. Советы даёт. Она меня знает, а я знаю её. Поэтому можно и улыбаться, и советовать, и много другого разного. Пока не зашло солнце и всё вокруг кажется золотым. Зато потом…

В моей жизни две страсти: моя работа и моя власть над ней, маленькой женщиной, похожей на летний дождь или восход солнца, или туман над рекой.

Женщиной, променявшей весь остальной мир на одного меня.

И я киваю головой.

– Обязательно. Спасибо тебе.

– Да за что же?

– А ты не знаешь?

– Уже знаю. Когда ты так смотришь…

– Вот за это и спасибо: и за то, что знаешь, и за то, что я смотрю на тебя именно так, а ты так об этом говоришь.

– Но ведь я здесь ни при чём. Это просто поворот судьбы, каприз, трюк.

– Чей? Твой?

– Нет, я так не умею. Судьба – это ты.

– Да? Пожалуй. Дальше.

– И дальше тоже ты. Это ведь ты мне когда-то объяснял, что человек так устроен – ему всегда хочется того, чего у него нет. И чем оно сокровеннее, тем больше радости приносит, наконец, появившись. Иногда и жизни не хватает, чтобы успеть насладиться, выпить до дна.

– А надо ли до дна? Стоит ли? И вообще – возможно ли это?

Она пожимает плечами и умолкает на минуту. Потом, прикрыв глаза, произносит:

– Я только недавно стала задумываться. Раньше просто не было времени, да и желания не было тоже. Я наслаждалась. Я наслаждалась тобой. Потому что, когда наконец я тебя добилась, все остальное стало совсем неважно и, может быть, даже не нужно. И когда так хочешь, не думаешь о цене.

Я понимаю, что разговор этот совершенно случайный и свернул не туда. А может – пусть? В конце концов, всегда можно…

– Ты говоришь об этом в прошедшем времени.

– Ты же понимаешь почему, да? Ты всегда всё понимаешь, и я привыкла. Иначе невозможно не только вынести такое – даже представить. Другое дело, когда ты меня вводишь в… – она откладывает книгу, встаёт и подходит ко мне, и садится на колени, и прижимается всем телом, и шепчет мне в шею:

– Расскажи мне, какая я в трансе? Неужели на самом деле просто вещь? Тело? И куда же девается моя душа, когда ты меня…

– Тс-с-с… Я расскажу. Всё-всё, что ты хочешь. Всё, чего ты ещё не знаешь, хотя ты знаешь всё. Я расскажу. Ты слышишь меня, правда?

Она кивает и, я чувствую, улыбается. Надо же, как она… нет, как мы оба. Нельзя, нельзя слишком часто, как бы она ни просила. И я ведь устаю тоже. Но как она просит, боже мой… И какая же она сладкая, какое она чудо – там.

Да бог с ней, со статьёй.

Подождёт.

Интервью

– Итак, если вы готовы, начнём. Уважаемый Александр Александрович, про вас довольно часто и откровенно, со вкусом пишут и говорят в медиа, сравнивают с такими китами, как Фрейд и Юнг, называют революционером психоанализа и чуть ли не мессией. Медные трубы – каково это? И что это вообще – радость или всё-таки испытание?

– Скорее всего, ответственность. И не обижайтесь, вы ведь тоже принадлежите к медиа, но я ещё ни разу не читал про себя не то что умной, но сколько-нибудь правдивой статьи. Медных труб я не слышу, есть просто некий шумовой фон, не слишком назойливый. Пока мне это не мешает.

– Вы ведь не только автор нового оригинального направления психоанализа, вы ещё и практикующий психоаналитик. То есть вы каждый день сталкиваетесь с теми или иными чужими проблемами, зачастую довольно серьёзными. В какой степени всё это влияет на вашу личность, если влияет, и возможно ли при этом, просто-напросто, остаться самим собой?

– Слово «чужими» здесь неприменимо. Ни одно человеческое существо не является абсолютно независимым от общества, в котором оно живёт. Каждый из нас связан с другими бесчисленным количеством нитей. Социум – это ведь своего рода кукольный театр, в котором каждый является одновременно и марионеткой и кукловодом, а стало быть, в ответе за поступки остальных персонажей. И я не исключение. Как повлияла на меня работа? Повлияла. Раньше я был вполне уверен, что невозможное невозможно. Не считал себя мессией, ведь вы именно это слово употребили? Ну вот. Как оказалось, зря – зря не считал.

– Если я правильно понял, вы полагаете, что действительно могли бы спасти мир?

– Отнюдь. Спасение мира не есть задача мессии.

– Да? А что же тогда?

– Указать путь. А заставить по этому пути идти, это совсем другое дело. Для этого мессия не нужен.

– А кто?

– Конвой.

О ней

Снег, снег. Который день снег. Словно кто-то наверху вспорол гигантскую, нескончаемую снежную перину, и огромные тихие хлопья – мимо, мимо, мимо…

Конечно, всё началось с Ляльки. И ею же закончится. То есть не закончится никогда, потому что суть женщины в вечности, которая внутри, в ней самой. Господи, вот уж не думал никогда раньше…

Мой кабинет на последнем этаже, где высокие окна и очень много света. Если не подходить к окнам слишком близко, видно только небо и ничего больше. В дальнем углу – сразу и не заметишь – чайный столик, овальный, на витых ножках, с небольшой настольной лампой под шёлковым абажуром. Напротив два пейзажа Климта. Когда я смотрю на них, время останавливается и кажется, что счастье вечно. Нет, не то сиюминутное – нахлынет и перестаешь дышать, а всамделишнее, долгоиграющее, которого и на свете-то нет.

Или есть?

Интервью

– Не могли бы вы кратко, в нескольких словах, объяснить суть той самой теории, может быть, правильно будет назвать её мессианской, над которой вы, собственно, и работаете все последние годы?

– Ну, если кратко… Я предлагаю вместо стрессов, конфликтов с самим собой и с окружающим миром – радость. Радость, наслаждение и гармонию с вышеупомянутым окружающим миром. И утверждаю, что такое возможно. Это – суть. Более детально с основными постулатами можно ознакомиться в специальных изданиях, в том числе в «Аспектах психоанализа». Несколько месяцев назад там была напечатана довольно пространная статья.

– Она ведь наделала немало шума, верно? В чём только вас не обвиняли – от полнейшей антинаучности до богохульства.

– Шум – это всего-навсего показатель интереса. У него есть здоровые проявления и есть уродливые. Для здорового интереса я открыт, а остальное… Видите ли, все упомянутые вами обвинения не что иное, как атрибуты страха. Когда-то они обслуживали идеологию – это время ушло. Не знаю, насовсем ли, но надолго. Остался лишь её атавизм – страх. Меня обвиняют те, кто боится. И зря. Во-первых, потому что бояться нечего, а во-вторых, потому что поздно. Лучше всего меня просто слушать.

– Вы знаете, Александр Александрович, честно говоря, я не собирался просить вас углубляться в подробности вашего метода, но то, что и как вы говорите… Это настолько необычно, что наши читатели мне бы не простили, не попытайся я чуть-чуть копнуть, что ли. Любопытство – естественное чувство и его надо удовлетворять, ну хоть в какой-то степени. Согласны?

– Отчего же? Тем более, что это довольно просто сделать. В специальную область я входить не буду, да и нужды такой нет, а в достаточно общей и доступной форме… Спрашивайте.

– Вот вы сказали, что это довольно просто сделать. Это говорит о простоте теории, как таковой, или о ваших незаурядных способностях упрощать сложное до понятного уровня? Понятного непрофессионалу.

– Насчёт незаурядных способностей судить не мне, но профессией своей я владею, а умение упрощать в неё входит. Умение контактировать – вообще. Я обязан уметь говорить с каждым на его языке и на его уровне. В данном случае этого не требуется, основная посылка, в самом деле, чрезвычайно проста.

– Как и всё гениальное?

– Хм… Это вы сказали.

– Вы правы, это я сказал. Итак?

– Итак… В чём, собственно, задача психоаналитика? Помочь людям с расстроенной, в силу неких причин, психикой. И чаще всего, следуя одной очень простой мысли: если невозможно изменить ситуацию, приведшую к кризису, необходимо изменить своё отношение к ней. На сознательном – подчеркиваю – на сознательном уровне. Казалось бы, единственно верный способ, на самом деле чушь. Все наши реакции даны нам от природы и являются чисто человеческими. Не будь мы людьми, реагировали бы по-другому. У человека может быть иной болевой порог, но характер его реакции на конкретные раздражители неизменен. Мы одинаково относимся к несправедливости, предательству, унижению, смерти, наконец. Это заложено в наше подсознание. Всё перечисленное и ещё многое периодически случается с каждым из нас и, значит, может в какой-то момент привести нас к кризису и, соответственно, к необходимости обратиться к специалисту.

– Следовательно, каждый из нас ваш потенциальный пациент?

– Упрощать слишком тоже ни к чему. Я уже сказал: у разных людей разный болевой порог, кроме того, разнятся и причины, вызвавшие душевный надлом, конфликт с самим собой и с окружающим миром. Есть форс-мажорные обстоятельства, а есть обычные бытовые, есть роковое стечение обстоятельств и ещё много всего. И каждая из этих причин, помноженная на восприимчивость конкретного человека в конкретный момент времени, может привести к кризису. Но дело-то как раз в том, что это нормально. Это абсолютно адекватные реакции, свойственные нашей человеческой природе. Это не страшно и в той или иной степени случается с каждым. Страшно, когда человек не способен

реагировать на все эти раздражители. Это означает, что нарушен баланс между сознательным и бессознательным – вот единственная патология.

– Звучит вполне логично. Но где же выход? Ведь то, что вы назвали такое состояние нормальным, участи не облегчает. И что же делать? Страдать? Терпеть?

– Ни в коем случае. Упиваться. Наслаждаться. Получать удовольствие. Разумеется, не от самой инициирующей ситуации, но от процесса лечения и ощущения своей способности её преодолеть.

– Получать от этого удовольствие? Такое возможно?

– Попробуйте. Только один сеанс, хотите? И вы всё поймёте сами.

– Но мне вроде помощь не…

– Не требуется? Вы ведь именно это хотели сказать? Это необязательно. Мою методику можно использовать, скажем, как превентивную меру. Результат будет таким же. А главное: вы захотите прийти ещё.

О ней

В доме запах мяты и специй, и Ляльки.

Значит, чай – мой любимый – заварен, а она ждёт, сидя в кухне и подперев ладошкой подбородок.

– Лялька!

Отчего я пугаюсь каждый раз, когда она не откликается?

– Лялька!

Она выходит из ванной, на лице хитрющая улыбка. На голове белый, махровый тюрбан, а больше на ней ничего нет. За окном – вечер, снег, сосульки.

– Лялька, я ведь с мороза.

– Мне всё равно. Обними, ну…

Я опускаюсь на колени и прижимаюсь к её животу. Он вздрагивает от моей холодной щеки, но подаётся навстречу.

– Хочу тебя согреть. Я тёплая, я горячая, я твоя…

– У тебя кожа, как у ребёнка.

– Я и есть твой ребёнок. Ты дал мне жизнь, ты меня родил.

– Значит, я родил чудо.

– Я ужасно рада, что тебе нравится. Я ужасно рада, что твоя.

Она гладит мой колючий затылок и улыбается.

Кто сказал, что нет в жизни счастья? У него ласковые руки и дрожащие ресницы и вот этот тёплый живот. И какая, в сущности, разница, как оно наступает. И какой, к чёрту, гипноз – при чём он тут вообще?

Однажды она пришла ко мне на приём. Сначала – испуганная жизнью, молодая женщина, потом пациентка, потом объект для моих опытов. А ещё потом она осталась и стала Лялькой – моей Лялькой, моей любимой куклой, моей покорной и безропотной госпожой. Власть, она ведь обоюдна, и тот, кто её имеет, неизбежно покоряется тоже. Иногда даже в гораздо большей степени. Я об этом только догадывался, а она – она просто шла за мной. И ловушка захлопнулась. А зовут её, на самом-то деле, совсем по-другому: Ольга, Оля, Оленька. Лялька – это уже потом. Я же говорю: транс, он здесь совершенно ни при чём.

Интервью

– А может быть, именно потому ваши методы и называют неэтичными, что хочется прийти ещё?

– Это бессмысленный вопрос. Разумеется, вы пойдёте туда, где вам хорошо, где вам нравится и где вам легко. Ну а если ещё и результат налицо…

– Тем не менее ваша известность носит вполне скандальный характер.

– И пусть, и хорошо. Кстати, то, что вы назвали скандальной известностью, относится исключительно ко мне, а не к моей методике. Критикуют не её, критикуют меня. А её и рады бы, но не за что ухватиться – с этической точки зрения она безупречна. Собственно, с профессиональной точки зрения вообще.

– Допустим. Давайте, всё же, более конкретно. Основная беда нашего времени – стресс. Мы все в нём живём, а часто и умираем. Как с ним боретесь вы?

– Я с ним не борюсь. Со стихийным бедствием бороться заведомо бесполезно и с реакцией на него тоже. Тем более что, как я уже сказал, она совершенно естественна. Силы потратите, а толку ноль.

– Да, но выход, где он?

– Просто понять, что это неотъемлемая часть нашей жизни, такая же, как сон, например. И рано или поздно настигает каждого из нас. Следовательно, надо быть к этому готовым, просто научиться с этим жить. Возьмите водоворот: если сопротивляться, барахтаться – затянет и не выбраться.

Так почему бы вместо этого не дать ему увлечь вас в глубину, а когда его сила иссякнет, одно-два движения и вы на поверхности. И по-прежнему полны сил. Короче, дайте эмоциям победить, не загоняйте их вглубь, не молчите. Тот, кто молчит, утонет намного быстрее других.

– То есть утонут все?

– Разумеется, непременно. Бессмертия, к счастью, ещё не существует.

– Тогда в чём же смысл?

– В ощущении собственной силы. В удовольствии, пока не утонул.

– Звучит красиво. Но вот к вам приходит человек, у которого неприятная, даже тяжёлая жизненная ситуация: потеря работы, потеря семьи, потеря себя, наконец, да мало ли что. И вы говорите ему: «Садитесь, сейчас вы будете страдать. Во весь голос. Это не только принесёт вам облегчение, но даже доставит удовольствие. Такое, что вы захотите прийти ещё». Так?

– Очень отдалённо, но в принципе, да. Я ведь подчёркивал: нельзя слишком упрощать. Ситуации разные. Бывают очень тяжёлые, очень. Моя методика – не мистика, не волшебство, а наука, плюс опыт, плюс талант. Но и талант не всесилен. Алгоритм, который я использую, позволяет уверенно оказать помощь восьмидесяти-восьмидесяти пяти процентам нуждающихся. Оставшиеся – это либо исключительные, совершенно нестандартные и крайне редко встречающиеся случаи, либо требующие помощи иного рода – психиатрической, с её специфическим подходом и только.

– Если всё настолько просто, почему же никто до сих пор не…

– Додумался? Во-первых, наша отрасль науки молодая, просто не успели. Во-вторых, если бы вам на голову упало яблоко, это привело бы вас к открытию закона Ньютона? Нет? А его – да, потому что он был к этому готов. Вот и я тоже был готов. И оказался в нужное время в нужном месте. А в-третьих, кто-то же должен быть первым.

О ней

Глаза и выступающие ключицы, а больше и вспомнить нечего. Совершенно не в моём вкусе: маленькая, худенькая, заморыш, другого слова не подберёшь. Но ведь и таких любят тоже, всяких любят.

Она пришла с мужем. Его почти не помню. Осталось в памяти некое пятно: серый костюм, а лица нет. Посмотришь, через пять минут забудешь, назавтра уже и не вспомнишь.

Говорил главным образом он. Она сидела, глядя в пол и лишь изредка поднимая на него глаза.

Симптомы: плохой сон, быстрые и частые слёзы, подчеркнутая замкнутость, состояние подавленности, боязнь выходить из дома. Началось около полугода назад из-за серьёзных неприятностей на работе. Врач-неонатолог. Обращаться сначала никуда не хотела, а потом сама попросила, сказала, что больше не может. Муж был совершенно растерян, утверждал, что любит, всё, что надо, сделает, он ведь и живёт, собственно, для неё. И не мог понять, никак не мог понять, что дальше, и какова его роль во всей этой истории. Я даже попросил его остаться на первую беседу: необходимо было выяснить, как она реагирует на его присутствие, какое место в её жизни занимает он.

Мы разговаривали. Обо всём и ни о чём. Иногда в его, да и в её глазах проскальзывало удивление – а какое, собственно, отношение тот или иной вопрос имеет к предмету их визита? Они ведь не могли знать, что есть тщательно разработанная методика для каждого психотипа: большая часть вопросов только, чтобы отвлечь внимание, усыпить бдительность сознания. И сразу вслед важный, ключевой вопрос, ради которого я и стараюсь – тут уж не зевай, лови, делай выводы, думай.

А она, Оля – Лялька моя, прятаться и не думала. Как ребёнок, хорошая девочка из хорошей семьи: раз уж пришла сюда, сама пришла, то и отвечать надо только правду и ничего кроме. Она и отвечала, я даже пожалел, что муж сидит рядом. Первый раз и настолько откровенно… Впрочем, он не выглядел смущённым, он выглядел тревожным, озабоченным. Она улыбалась ему часто, будто жалела, так мне показалось. И я не ошибся, Лялька сама мне рассказала – потом.

– Понимаешь, трудно ему было со мной. Со мной отчего-то всем и всегда трудно.

– Неправда, – я покачал головой. – Мне нет. Нет, не было и не будет.

– И не будет, – повторила она и засмеялась – счастливая.

Интервью

– Правда ли, что ваш успех и популярность в значительной степени обусловлены тем, что вы активно применяете гипноз? Кстати говоря, особенно у женщин.

– А почему вы подчеркнули, что именно у них?

– Потому что в это время человек лишается воли. А женщины в этом смысле уязвимы особо.

– Видите ли, помимо специального я получил и обычное медицинское образование. У меня есть диплом и лицензия на работу по моей специальности, для которой внушение является обычной и общепризнанной практикой. Во время сеанса человек не лишается воли в вашем понимании, а добровольно

подвергается внушению с единственной целью: оказания ему, по возможности, быстрой и эффективной помощи. А то, что имеете в виду вы, относится не к области психоанализа, а к уголовному праву. Но это ведь совершенно другая тема, не так ли?

– Несколько минут назад вы сказали, что психоанализ – наука молодая. Но ведь о душе рассуждал ещё Аристотель?

– Об этом рассуждали все и всегда с того момента, когда человек почувствовал себя человеком. Главным образом с помощью религии и искусства. Но, как наука, прикладная наука, он появился лишь вместе с Фрейдом, то есть – только-только, чуть больше века тому назад. Правда, недавно?

– Ну, как посмотреть…

– Как ни смотрите. Он появился тогда, когда в нём возникла необходимость. Не было бы Фрейда, был бы кто-то другой. Впрочем, об этом мы с вами уже говорили.

– Говорили. А о какой необходимости речь? Я не совсем понял…

– Я объясню. Новое ведь не возникает из ничего. Что-то отмирает, мутирует, видоизменяется, приспосабливается к новым условиям и потребностям. Закон сохранения энтропии ещё никто не отменял. Любая система, включая человека, стремится к стабильности, и если на каком-то этапе развития ей потребуется некий инструмент для этой цели, он не замедлит появиться. Чтобы приспособиться к изменившимся условиям жизни, человеку понадобилось нечто, помогающее ему в этих условиях соблюсти свою сущность, остаться собой. Если угодно, сохранить душу. И возник психоанализ.

– И чьё же место он занял?

– Он занял своё место. Своё собственное. Но локтями, конечно, потолкался.

– Кому же от него досталось больше всех?

– Пожалуй, религии. Возможно, её адепты с этим не согласятся, тем не менее так оно, по-видимому, и есть. Религия – любая – основана на догматах, на канонах. Именно поэтому ей стало довольно трудно поспевать за миром, который меняется со страшной скоростью. Она уже не способна защитить человека от самого себя. Она потеряла свою монополию на врачевание души.

– Если я правильно понял, теперь монополистами стали вы – адепты психоанализа?

– Дело не в названии, а в сути. Ведь тот, кто владеет душой, владеет миром. Неважно, одного человека или множества. В его руках власть. А власть – это бремя. Я не спрашиваю вас, кто готов это бремя принять, я спрашиваю, кому вы готовы, кому можно его доверить?

О ней

Её мир обрушился на меня, как хрустальный шар, и мне ничего не оставалось, как стряхивать осколки, раниться и любоваться ими одновременно, встреча за встречей.

Детей в их семье было четверо: Оля – старшая и ещё трое мальчишек. Самый младший и самый любимый – Сережёнька (его иначе и не называл никто) – утонул летом в речке, когда ему только-только пять лет исполнилось. Пошли гурьбой купаться, а родители были на работе…

– Не углядела, – шепчет она и каменеет.

Из дому ушла рано, уже в шестнадцать – не могла видеть его кровать, его игрушки.

Медучилище, работа санитаркой. До сих пор едва мороз, руки краснеют и цыпками покрываются. И непроходящее отвращение к запаху хлорки.

Потом мединститут и уже на третьем курсе раннее замужество. Он был на одиннадцать лет старше, а влюбился в неё, как мальчишка. Взрослый, уже самостоятельный, до мозга костей положительный, квартира.

– Не вздрагиваю я, когда его вижу, понимаете? Когда дотрагиваюсь до него. Когда он до меня, – она слегка морщит нос и замолкает, видно вспоминает, как это. И вдруг вся, до корней волос краснеет от воспоминаний. Господи, бывает же ещё такое.

И всё же была она почти счастлива: сделали ремонт, квартиру обставили заново – всё, как она хотела. Закончила институт, распределилась в неонатальный центр, к грудничкам с патологией. Работу свою любила очень и детей – как будто сама родила.

Но и с грудничками несчастья случаются тоже. Вина была не её, не Олина – препарат этот, будь он неладен, брак фирмы-производителя, но новорождённый умер. И снова мальчик.

Закаменела она во второй раз. Уволилась, сидела дома, молчала сутками. Только через неделю наконец смогла заплакать. Но прошло ещё долгих, очень долгих пять месяцев, прежде чем оказалась у меня.

– Пожалуйста, доктор, что хотите. Таблетки, я даже не знаю… Мне всё равно, лишь бы поскорее. Да хоть гипноз. Я же к окнам подходить боюсь, чтобы не прыгнуть, на улицу боюсь тоже – из-за машин. Я ведь не хочу так, я жить хочу.

С гипнозом я тогда только начинал. Техникой, конечно, владел, но многое было неясно, системы, как таковой, не было: когда и какие эмоциональные центры временно купировать, как использовать существующие связи между сознанием и подсознанием, как при необходимости построить новые. Повторяю, я умел и знал – как, но вот что и зачем, и куда это должно привести, представление было очень слабое. А идти в таких случаях «на ура», надеясь на удачу… Можно, вреда особого не принесёт, но и польза будет весьма сомнительна. А время тоже ведь фактор и в её случае, возможно, решающий.

И всё же уже на четвертом сеансе я погрузил Олю в транс. Во-первых, начинать когда-нибудь надо было, и это был как раз подходящий случай, во-вторых, тот самый фактор времени, а в-третьих…

Разные люди обладают разной силой убеждения или внушения – неважно. И разной степенью этому внушению поддаваться. Всё это предельно индивидуально, двух похожих случаев быть не может. Но крайне важна полярность этих двоих: предельная сила внушения с одной стороны и предельная готовность этому внушению подчиниться с другой. Мы оказались идеальной парой. Очевидно, нечто во мне вызвало в ней неосознанное, именно неосознанное желание быть послушной. И она покорилась.

Мне не пришлось прикладывать никаких усилий, она просто заглянула мне в глаза, облегчённо улыбнулась и пропала.

Она так мне и сказала:

– Ты понимаешь, я же с самой первой встречи, с первой минуты мечтала об этом: заглянуть в тебя и пропасть. Чтобы всё-всё забыть и начать сначала. И когда это случилось, мне показалось, будто я падаю долго-долго, бесконечно долго – в тебя. И я уже совсем не я, а часть тебя: рука или нога, или сердце. А может, смех твой или слёзы. И значит, моих слёз больше нет, кончились они, понимаешь? И так легко стало, что я в полной твоей власти, ничего лучше этого не было в жизни. А когда я очнулась, самая первая моя мысль: хочу ещё, хочу ещё, хочу ещё.

Она ещё не знала, куда это нас приведёт, да и я не знал тоже. Не мог знать, даже предположить не мог. А если бы даже и мог, какая, в сущности, разница?

Потому что на свет появилась Лялька, моя единственная девочка – моя любимая кукла.

Интервью

– Ну, знаете ли… Это вопрос вопросов. И власть и бремя этой власти достаются тем, кто готов их принять. Тем, кто хочет, наконец. Таковы правила игры.

– Вы путаете, это ведь не политика, а души: моя, ваша, ваших читателей, всех. И к ним эти так называемые правила игры неприменимы. Они не работают.

– А какие работают? И есть ли они вообще?

– Вы почти угадали. Правил нет. Вернее, одно-единственное: бремя власти должно находиться не у того, кто готов и хочет его принять, а у того, кто на это способен. Способен дать человеку то, к чему тот стремится. А стремимся мы все к одному: быть счастливыми. Между прочим, это даже в американской конституции записано слово в слово: «Каждый имеет право на стремление к счастью».

– Да, я слышал. Но это слишком расплывчато.

– Давайте уточним. На самом-то деле, всё просто. В жизни вообще всё гораздо проще, чем может показаться. Вот вам условия задачи:

Чего ищет человек? Утешения у Бога. Чего жаждет? Удовольствия в грехе. Чего боится? Боли, забвения и смерти. А теперь вопрос: как помочь ему утешиться, доставить удовольствие и дать возможность избежать забвения? То есть сделать его счастливым?

– Вы хотите сказать, что ваша наука на это способна? Серьёзно?

– Не обольщайтесь. Я же сказал в самом начале: я могу указать путь, больше ничего. Но и этого более, чем достаточно – за глаза.

– Да, вы говорили о пути к спасению мира, но мне, например, совершенно неясно, в чём оно заключается? Хотелось бы, так сказать, обозначить цель, назвать её.

– Пожалуйста: любовь. Любовь и только она может спасти мир. Заметьте: может – не значит спасёт.

– Тогда в чём же смысл? Тот же самый вопрос: если всё так безнадежно?

– Тот же самый ответ: в удовольствии. И от того, что знаешь, куда идёшь и от самого процесса. Ну и Лялька, конечно.

– Простите?

– Я сказал: Лялька. Это, если хотите, мой личный талисман. И совершенно безотказный. Впрочем, это не для печати, это личное. Давайте дальше…

О ней

– А что там – за гранью? – она смотрит на меня из глубины кожаного кресла, в глазах озноб.

– Вы волнуетесь, Оля. Не надо, не о чем волноваться, уже не о чем. Что вы имеете в виду? Какую грань?

– Сознания. Грань сознания. Если забвение, то я не хочу. Забывать не хочу, хочу всё равно всё помнить. Я только очень устала, в этом всё дело.

– Я знаю, Оля. Повторяю, не волнуйтесь. Вы ничего не забудете, вам ничего и не нужно забывать. А за гранью вашего сознания тоже вы, только другая, сама себе незнакомая. Вот я вас с ней и познакомлю. Не сразу, постепенно, но познакомлю, и вы узнаете не только себя – себя, но и себя – её. Она вам поможет, вы сами себе поможете. Обещаю.

Она кивает и почти улыбается. Ну вот, пожалуй, я уже готов. Мысли прозрачны, и я сосредоточен на ней. Ничего не мешает. Ну…

– Итак, Оля. Сейчас я…

На что это похоже – гипноз? Больше всего на поток автомобилей на перекрестке с неработающим светофором. Регулировать движение приходится мне, да так, чтобы машины не столкнулись, не застряли, чтобы водители не выскакивали из кабин, не ссорились и не размахивали руками до тех пор, пока не починят светофор. Машины – это мысли, реакции, воспоминания, желания, страхи, инстинкты, наконец. И если я замешкаюсь, не замечу, не пойму, направлю движение не туда… Страшно, да? Особенно первый раз, с новым пациентом, о котором не знаешь почти ничего.

Интересно, она своему мужу так улыбается? Ну хоть когда-нибудь? Не время об этом… давай, милая, рассказывай, смелее, ну… стоп, контрольный вопрос… нет, дальше, дальше…

То, что сейчас происходит между нами лишь средство для достижения цели. Я почти не смотрю на неё, работает моё внутреннее зрение, она мне нужна изнутри. Но и вазомоторы… Почему она улыбается? Странно, на лице радость, чуть ли не счастье и такое покорное выражение… надо заглянуть в глаза.

– Откройте глаза. На счет три…

Есть категория пациентов, для которых ты бог. Не знаю, какой химической или иной реакцией это вызвано, но встретив такое, понимаешь, что с этим человеком ты можешь сделать всё. В самом буквальном смысле. И сразу, на автомате, срабатывает предохранитель, и каждый следующий шаг с утроенной осторожностью и медленно, очень медленно, потому что омут. Затянет – не выплывешь.

Ах ты, боже мой, Лялька ты моя.

Твои мысли нежны, как твоя кожа…

Интервью

– Скажите, вот просто из любопытства, самого, что ни на есть, примитивного, детского: что такое, в сущности, гипноз? Для нас, непосвящённых.

– Прежде всего, необходимо разделить его на три составляющих: цель, то есть, для чего, в общем-то, всё затевается, метод, которым эта цель должна быть достигнута и, собственно, инструмент для её достижения – я. О цели мы с вами говорили уже достаточно, поэтому о методе. Представьте, что ваше сознание получило некую информацию, которая категорически противоречит сложившейся в нём картине мира. Вашей картине. И возникает диссонанс, кризис вашего сознания. Чтобы помочь ему, необходимо отредактировать эту информацию, подстроить её под эту самую картину мира, либо отредактировать ваше восприятие её таким же образом. Всё, что для этого необходимо, уже есть в вашем подсознании, нужно всего лишь проникнуть туда, найти там подходящее лекарство и указать ему дорогу в соответствующее место вашего сознания. Перекинуть мостик. И всё. Только вот найти такое лекарство довольно сложно, поскольку подсознание хранит огромный объём информации, а сознание создаёт постоянный шум, «фонит» и мешает поискам.

– Ага. И вы отключаете сознание, чтобы эти поиски облегчить?

– Совершенно верно. А потом снова включаю. Вот и всё. И вы перестаете бояться непонятного, неизведанного, странного, запретного, а главное – начинаете слышать себя. Мир делается из чёрно-белого цветным и радостным. Но оговорюсь. В принципе, возможно пользоваться гипнозом гораздо шире, вплоть до изменения реакций на окружающее, полного или частичного блокирования памяти – своего рода местная или общая анестезия – и ещё много чего.

– Но ведь боль иногда бывает во благо.

– Правильно. Поэтому я должен отчётливо представлять, когда, как и каким способом решить задачу. И для чего. Транс – это власть, и мы снова вернулись к вопросу, в чьих руках она должна находиться.

– Вот-вот, теперь, пожалуйста, про руки.

– Для начала необходимы определённые способности, как и в любом другом деле. Главное: абсолютная уверенность в себе и абсолютный слух – как у дирижёра. Это ведь очень похоже на оркестр, причём

огромный, со множеством инструментов. И надо отчётливо слышать каждый, чтобы ни один не сфальшивил. И помнить партитуру. Ну и дирижировать, само собой. Больше некому.

– Александр Александрович, вы в самом деле замечательно объясняете, полагаю, что это ещё один ваш дар, кроме, так сказать, основного. И я хотел бы воспользоваться. Вот все и на каждом шагу твердят: подсознание, подсознание. Но ведь никто толком не знает, что же это такое. А вы?

– Я знаю. Но не скажу.

– Почему?

– Как почему? Чтобы сохранить интригу.

О ней

– Что вы любите больше всего? Отвечайте, не задумываясь.

– Деревья.

– Почему?

– Они живые. Их можно трогать.

– Только трогать?

– Ещё прижиматься щекой к стволу, слышать, как внутри течёт сок.

– Вы это на самом деле слышите?

– Да, всегда.

– Что ещё вы любите? Кроме деревьев?

– Ромашки и ещё одуванчики.

– Почему одуванчики?

– С ними надо очень бережно. Они прозрачные, беззащитные.

– Почему вы сейчас улыбаетесь?

– Мне хорошо.

– Что это значит?

– Не знаю. Это внутри.

– Вам хорошо внутри?

– Да, очень. Как одуванчики.

– Что как одуванчики?

– Как будто они трогают меня внутри. Приятно. Очень нежно.

– Но здесь нет одуванчиков.

– Я знаю.

– Вам нравится, когда вас трогают?

– Очень. Только нежно.

– Кто?

– …

– Закройте глаза. На счёт три…

Я не спешу её будить. Пусть, пусть побудет моей Лялькой ещё немного, хотя бы минуту.

«Они трогают меня внутри – нежно. Как одуванчики». Как одуванчики, слова её – дунь и разлетятся. Беззащитные и ужасно прозрачные…

Выйдя из транса и едва открыв глаза, она произносила одну и ту же фразу:

– Как жалко. А можно ещё?

Заканчивать сеанс было почти невыносимо для нас обоих. Я хотел её, как в детстве игрушку, хотел, как куклу, как Ляльку. Я хотел её себе и для себя. Ведь я такой же, как все, как вы. И может быть, даже к счастью.

Очень может быть.

Интервью

– Ну, хорошо… Мы уже немало узнали о вашей теории, её философии, о гипнозе, как таковом. Но, в конце концов, главным всегда был и остаётся сам человек. Давайте о вас. Я бы назвал эту часть нашей беседы «Мессия без галстука».

– А почему без галстука. Чем он вам не угодил?

– Вы же знаете, есть такой вид протокола – «встречи «без галстука». Что-то в этом роде.

– Знаю, разумеется. Но, видите ли, мессия не относится к тем, кому необходимо соблюдать протокол. Он вне протокола. Всегда. К тому же я галстуки люблю.

– Тогда предложите название сами. Согласен заранее с любым.

– Пожалуйста. «Галстук для мессии». По-моему, звучит не хуже.

– Нет, не хуже. Ну и характер у вас… Мессии, они все такие?

– Как только встречу ещё одного, поинтересуюсь. Итак?

– Итак – какой вы? Вы, считающий себя достойным и способным вести за собой.

– Ничего подобного. Повторяю, я никого и никуда не собираюсь вести. Я лишь указываю дорогу, указываю цель. Фонарщик, наконец, проснулся, вот и всё.

– Простите?

– Это слова из песни. Не слышали? Старая песня про фонарщика:

А где ж та река, та гора? Притомился мой конь.
Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?
– На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь.
На ясный огонь, моя радость, найдёшь без труда.

А где ж этот ясный огонь? Почему не горит?
Сто лет подпираю я небо ночное плечом…
– Фонарщик был должен зажечь, но фонарщик тот спит,
Фонарщик тот спит, моя радость, а я не при чём.

– Да, понимаю… А ведь вы романтик, Александр Александрович.

– Упаси бог. Я фокусник. Иллюзионист. Маг. Волшебник, наконец. Я могу помочь каждому понять, что ему больше всего необходимо. И указать дорогу. Фонарщик проснулся.

– Означает ли это, что вы, как личность, этим пониманием уже обладаете? По отношению к самому себе?

– Я продвинулся гораздо дальше. Я пришёл не только к пониманию того, что мне необходимо больше всего, но и к обладанию самим этим предметом.

– Могу ли я поинтересоваться, что это за предмет?

– Можете. Но ответа не получите, хотя я этот предмет в нашем разговоре упоминал…

– Простите. Но в таком случае вы – счастливы?

– И да и нет.

– Но почему?

– Мне ведь не надо вам объяснять, что платить приходится за всё? За счастье, представьте себе, тоже. Кроме того, его ещё надо уметь удержать. Оно ведь, знаете, очень похоже на одуванчик: дунь, и нет его – на то оно и счастье.

– Возможно, мой следующий вопрос покажется вам не вполне корректным, но я не могу его не задать. И прошу вас на него ответить, договорились?

– Если он имеет прямое отношение к теме…

– Безусловно. Скажите, какие, собственно, есть основания у меня, у наших читателей, у кого угодно вам верить? Верить вашей теории, вашим словам, вообще, всему, о чём мы с вами сегодня тут говорили?

– Никаких. Более того, ни малейших. Если это сделает вас счастливее, не верьте. Я ведь никого не тащу насильно и ничего не навязываю. Да и как это возможно – заставить человека быть счастливым? Или я ошибаюсь?

– В общем, непохоже. Непохоже, что ошибаетесь. И тем не менее…

– Вы никак не хотите уяснить одну крайне существенную деталь: вам и всем тем, о ком вы говорите, нечего терять. Я ни у кого ничего не забираю, я только предлагаю – берите. Но наш мир устроен таким образом, что подавляющему большинству гораздо проще и привычней обходиться тем, что есть. По той причине, что, вместе с обретением появляется вероятность потери или понимание, что чего-то уже не вернуть, не успеть. Осознание себя не приходит, не даётся просто так, я ведь сказал, что за всё приходится платить. Выбирайте.

– А вам не кажется, что не каждый человек способен впервые посмотреть на солнце и не ослепнуть?

– Каждый. Каждый, кто захочет, если правильно смотреть. Этому я его научу.

– Можно конкретней?

– В нашем подсознании есть от природы всё, что необходимо. Она позаботилась о нас гораздо лучше, чем мы можем представить. Надо лишь использовать эти до поры скрытые возможности. Именно это я и предлагаю сделать. И именно об этом мы говорим уже довольно много времени, вы не находите?

– Вы правы. Но, во-первых, потому что интересно и замечательный собеседник, во-вторых, мы уже почти закончили. У меня к вам осталось, строго говоря, три вопроса.

– Начните с первого.

О ней

Она вернулась только через три недели, я уже почти перестал ждать. Вернее, уже почти не надеялся увидеть. И разговор у нас вышел рваный и больной.

Короткая чёрная юбка, блузка из синего шёлка, расстёгнутая, по крайней мере, на две пуговки больше, чем следовало, чёрные колготки, туфельки, неожиданно умело подведённые глаза. Совершенно беспомощное выражение лица.

– Здравствуйте.

– Добрый день. Я вас слушаю.

– Я была у вас три недели назад…

– Я помню.

– Вы назначили мне прийти через неделю, я не смогла… Но ведь это не помешает мне… нам продолжить лечение? Не помешает?

Я молчу. Молчу и смотрю на неё в упор. Взмах ресниц, поднимает на меня глаза.

– Почему вы молчите?

– А что вы хотите услышать? И что я должен, по-вашему, сказать?

– Я понимаю, что так нельзя. Но я не могла. Муж должен был позвонить вам, предупредить.

– Он позвонил и предупредил.

– Ну вот. Я пришла сегодня.

– Оля, скажите, вы знаете, к кому вы пришли? Кто сидит напротив – знаете?

– Да. Я не понимаю…

– Я психоаналитик, это моя специальность, моя профессия. Я вижу ваше лицо, вижу, как вы одеты и для чего. Я много чего вижу. Но я жду.

– Чего?

– Правду.

– Вы же и так можете узнать, под гипнозом.

– Вы ошибаетесь. Не в том, что я могу – я могу. Но в трансе вы говорите мне о том, чего не осознаете сами. А я хочу услышать от вас то, для чего транс не нужен. То, что вы можете сказать, вы должны сказать мне без всякого гипноза. Иначе у нас ничего не получится, даже и пытаться не стоит.

– Мне трудно так. Я попробую, только вы спрашивайте, хорошо?

Я беру ручку и начинаю постукивать по столу. И смотрю в окно.

– Вы могли прийти, но не пришли, так? Почему?

– Я испугалась…

– Чего? Вам что-то мешало во время первого сеанса?

– Нет, что вы, совсем нет. Наоборот.

– Наоборот? Как это понять?

– Я… Мне было очень хорошо. Слишком хорошо. Так хорошо, что я…

– Вы сказали – вы испугались.

Она кивает.

– Да, очень…

– Чего? Того, что хорошо?

– Нет, того, что очень. Мне не хотелось уходить оттуда.

– Понятно. Но вы, тем не менее, вернулись. Зачем?

Я вижу, как белеют её пальцы, сжатые в кулаки. Она опускает глаза.

– Я больше не могла. Мне почти каждую ночь снится ваш голос, каким я его слышала там. Ваши глаза, ваши руки. Вы… вы меня трогаете, и мне этого хочется. Больше всего на свете. Загипнотизируйте меня. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу.

– Посмотрите на меня. Прямо в глаза. А теперь уходите. Придёте, когда успокоитесь или не приходите совсем, понятно? И запомните: здесь правила назначаю я. До свидания.

Она позвонила через день. Пришла. Выглядела на этот раз совершенно обычно: повседневная одежда, минимум макияжа. Мы разговаривали и только. Она ничего не просила, отвечала на вопросы. В транс я её не вводил. Собираясь уходить и уже держась за ручку двери, Лялька обернулась и сказала:

– А вы знаете, сегодня было не хуже, может быть, даже… не то, чтобы лучше, оттенок другой, что ли… мне понравилось.

Я чувствовал себя рыбаком, вытащившим из воды золотую рыбку. Странным был только металлический привкус во рту, да и откуда мне было знать, какой он на вкус – рыболовный крючок?

И наступил следующий раз. И ещё один, и ещё.

Я с лёгкостью погружал её в гипнотический транс и открывал в ней то, что было скрыто, забыто, подавлено. Загнано в самые дальние и пыльные уголки. Я открывал Ляльку – и ей, и себе.

Она рассказывала мне о бабочках и листьях с серебристыми прожилками, об изумрудных майских жуках. О сирени и о вкусе её первого мужчины. О лесном озере с первым ломким льдом по самому краю. Как в него упало небо и опоздавшие с отлётом гуси, разбегаясь перед взлётом, перебирали лапками облака. И ещё о многом.

Однажды она попросила, чтобы я держал её за руку. Пока я раздумывал, её рука уже оказалась в моей, и я не помню, как это произошло, но захотел я её по-настоящему именно тогда. Тем не менее ещё целых несколько недель я её не трогал. Вернее, как раз трогал. Продлевал предвкушение женщины уже моей, но ещё ею не ставшей. Лишь кончики наших пальцев ласкали друг друга. Я тянул и тянул, я не хотел её слишком быстро. Я даже сомневался, ведь я ещё не знал, что есть женщины, которые не приедаются никогда. Которых всегда мало.

Которые – Лялька…

Интервью

– На чём основано ваше убеждение, что предлагаемое вами человечеству как раз то, что ему больше всего нужно? Можно ведь допустить, что неверна сама посылка? И есть ли для вас табу? Нечто такое, что преступить невозможно никогда.

– Допустить нельзя. Основания у меня простые – логика. Обычная, человеческая логика и отнюдь не заумная. Когда человек счастлив, он добр. Когда он добр, он не причинит другому зла, а стало быть, никто не причинит зла и ему. То есть наступит гармония. Не улыбайтесь так снисходительно, я не хуже вас понимаю, что это неосуществимо. Зло может прийти и остаться само, счастье надо ещё удержать. С моей помощью сделать это гораздо легче, только и всего. Табу есть всегда и везде, по крайней мере, должно быть. Моё табу основано на этике, на трёх её положениях, с которыми я соотношу всё. Два из них вам известны: не делай другому того… и далее по тексту, и – моя свобода заканчивается там, где начинается ваша, подчеркиваю, не наоборот, не ваша начинается там, где заканчивается моя, понимаете разницу?

– А третье?

– Вам известны два философских определения свободы? Первое утверждает, что свобода есть неосознанная необходимость, второе, что наоборот – осознанная. Правило, которому я следую, гласит: чтобы я мог позволить себе жить по первому определению, кому-то с неизбежностью придётся жить по второму. И об этом надо помнить всегда. Дуализм мира проявляется и в этом тоже. Впрочем, он проявляется во всём. И ваш последний вопрос…

О ней

И случилось непоправимое, так об этом обычно пишут в книгах. Это когда нечто случается и всё тут. Как молнией в дерево, или небо голубое, и вдруг ливень, или стихи.

Этот транс должен был стать последним. Позади остались слёзы, фобии, депрессия и бессонные ночи. Оля преобразилась вся, и внешне тоже. Вместо заморыша появилась стройная молодая женщина с блестящими глазами и улыбкой, которую не скрыть.

Мы, конечно же, оставались на «вы».

Она вошла, закрыла за собой дверь и сказала:

– Я не понимаю, не понимаю, чего же ты ждёшь? Я же вижу… Я не спрашиваю, хочешь ли ты – я знаю ответ. Может, мы больше не увидимся никогда, может, я завтра умру, я же не прощу себе даже там. И тебе не прощу, слышишь? Что так и не… Ну что же ты молчишь, отвечай…

– Оля, понимаешь, – я выхожу из-за стола. – Понимаешь, всё последнее время, последние недели я думаю об одном…

– О чём?

– Что твоё лечение заканчивается и это может означать одно из двух: то ли я становлюсь тебе совсем не нужен, то ли, напротив, совершенно необходим. И я не могу найти ответ.

– Тогда за тебя отвечу я. Иди же ко мне. Скорее, ну…

Муж вошёл с чемоданами, поставил их и, глядя в пол, произнёс:

– Берегите её. Надеюсь, у вас получится. Очень надеюсь.

Через два дня его опель врезался в стену тоннеля. Ночью. В крови нашли какое-то совершенно чудовищное количество алкоголя.

Она сказала:

– Прежде он никогда не пил, совсем.

Она сказала:

– Это я его убила.

Она сказала:

– Бог троицу любит…

…просто не хотела жить. Я боялся, что она наложит на себя руки. Единственным выходом было держать её в трансе и ждать, надеясь на чудо, другого способа я просто не видел, а может, его не было вовсе. Я погружался в транс вместе с ней, бродил по закоулкам её души и повсюду натыкался на одно и то же – на смерть. В одно из своих редких пробуждений, едва открыв глаза, она прошептала:

– Я больше не могу так. Убей меня…

Не знаю точно, сколько ещё это длилось, но в какой-то момент я понял, что выхода нет.

Ни у неё – Ляльки, ни у меня и…

Отовсюду наползал какой-то серый туман, заволакивая всё, проникая везде. Её душа не сопротивлялась, она была готова. Я отступал, уходил, я терял её навсегда. Последнее, что я смог уловить, словно в самом деле произнесённое ею вслух: «Мне страшно».

А дальше…

Долго рассказывать, да и и к чему. Но именно в этот момент всё закончилось и всё началось. Водоворот потерял свою силу, а я обрёл. Потому что родилась Лялька, а что ещё надо было мне, чтобы стать счастливым?

Или, в крайнем случае, мессией.

Интервью

– Нет ли у вас опасений, что ваши пациенты, грубо говоря, подсядут на состояние транса и удовольствие, которое вы им обещаете? И как быть тогда?

– Хм… Вот это я и имел в виду, говоря, что большинству гораздо легче обходиться тем, что есть. Не верить гораздо проще, чем попытаться. Это я, мессия, вам говорю.

– Спасибо за интервью.

– Спасибо вам.

О нас

– Я даже не ожидал, в первый раз ничего не переврали и не перепутали. Вполне приличный парень оказался журналист этот, Андрей слово сдержал.

– Саша, я ведь, знаешь, тоже никогда по-настоящему не понимала эту твою теорию. Она давала мне такую степень близости к тебе и с тобой, что о большем я не задумывалась. А теперь, после этого интервью…

– Задумалась?

– Нет, поняла. Что она может быть не только средством, а и целью. Там очень много всего, я не знаю, как сказать, как объяснить… Но за этим гораздо больше, чем ты сказал, гораздо больше, чем сказать хотел.

– Может, и так, милая ты моя, скорее всего так…

– И ещё мне ужасно интересно – тот вопрос, на который ты не ответил, насчёт подсознания. Сказал, что хочешь сохранить интригу.

– Правильно, надо соблюдать законы жанра. Как же иначе?

– Иначе – это ты и я. Мужчина и его женщина. Вот и весь закон.

– И он мне по душе, Лялька ты моя.

– А ты мне. По душе, в душе и как хочешь.

– Вот-вот. Это и есть ответ на тот самый вопрос.

– Хочу его услышать.

– Так я не шучу, это и есть ответ: душа. Подсознание – это душа. На самом деле, так невероятно просто и логично. И понял я это благодаря тому, что произошло с тобой, и всё сразу встало на свои места – в тот самый момент. Картина сложилась.

– В какой момент?

– Ты уверена, что хочешь услышать? Это… в общем, не самое приятное воспоминание.

– Но это ведь только воспоминание, сейчас это совсем неважно, Саша. Ну?

– Видишь ли, это был момент твоей смерти, Лялька. Вот как. Ты не хотела жить, поэтому умерла.

– А что же?.. А почему же я ничего не помню? Ничего не знаю? Как такое может быть?

– Всё может быть и это тоже. Но это уже только воспоминание – ты права, ты права, ты права.

– И как это было? И если я… умерла, почему живая? И кто меня… Боже мой, Сашенька, неужели ты? Конечно, ты, кому же ещё-то, господи! Поверить в такое… Ну, говори, говори! Пожалуйста!

– Серый туман. Отовсюду серый туман. Это и была твоя смерть, ласточка моя. Я был там, в твоём сознании, я всё видел, всё понимал и ничего не мог поделать – ты просто не хотела жить. Последнее, что я услышал: «Мне страшно».

– Дальше, дальше…

– Ты врач, тебе ведь не надо объяснять, что такое смерть, да? По каким-то причинам отказывают жизненно важные органы, без которых жизнь невозможна. У тебя отказало сознание, понимаешь? В нём скопилось столько боли, что она просто забила все каналы информации, лишила тебя связи с окружающим миром и даже с подсознанием, то есть, с твоей собственной душой. Такое случается очень-очень редко, исчезающе редко.

– Тогда почему я не сошла с ума?

– Ты задаёшь ужасно правильные вопросы, словно уже знаешь ответ.

– Я знаю тебя, вот и все. Ну?

– А у сумасшедших связь с подсознанием, с душой не нарушена, она существует. Беда в том, что у них как раз душа-то и больна, понимаешь? Неслучайно ведь их называют душевнобольными тоже. Это синонимы. Ты – совсем другой случай.

– Дальше.

– Дальше, Лялька, наступила смерть. Обратимая смерть, так я это называю.

– Я понимаю. Что-то вроде клинической, да?

– Вроде. И сразу исчез болевой фон – то, что мешало – ведь боль умерла вместе с тобой. И твоя душа оказалась доступной. Вот и всё.

– Как же всё? Ведь именно в этот момент… Ты сам сказал.

– Да, и так оно и было на самом деле: я увидел её, и проник в неё, и понял её. И сделал то, что было необходимо, вновь соединил твоё умершее сознание и твою живую душу. Мне даже не пришлось создавать новые связи, я использовал существующие, только и всего. Они оказались в полном порядке, я просто открыл шлюзы – вовсю, как только мог. И лекарство хлынуло. И ты ожила.

– Саша, я… Какое лекарство? Какие связи? Я не могу поверить. Не могу. Это не укладывается в голове.

– И не надо. Это всего лишь воспоминание, правда? Главное – вот она ты и много-много одуванчиков внутри.

– Одуванчики, да… Нет, погоди. Значит, правда, что душа не умирает? Господи, неужели правда? И тогда… А ещё про шлюзы объясни мне, и самое главное, что же там – в душе? Что там?

– Одуванчики, что же там может быть ещё? То, что доставляет удовольствие, даёт силы жить: любовь, добро, свет – одуванчики… А про шлюзы, это очень, ну очень просто. Сознание и подсознание обмениваются информацией. Из подсознания, из души эта информация проходит свободно, ведь одуванчики не могут навредить, понимаешь? Они не угрожают сознанию, наоборот, они помогают, подсказывают, лечат. А из сознания поступает всё подряд, вся наша жизнь со всем, что в ней есть, и плохим и хорошим. Шлак, слишком много шлака. Поэтому на его пути поставлен фильтр, который мы называем совестью. Если он в порядке, душа остаётся чистой, доброй, полной…

– Одуванчиков.

– Ну да, ещё каких.

– А если нет?

– Тогда получается то самое сумасшествие, душевное заболевание, о котором ты спрашивала – заболевает душа.

Она

Я смотрю на тебя долго, так долго, что всё почему-то начинает дрожать и расплываться перед глазами, и я понимаю, что плачу.

– Саша, миленький, прости, я…

– Т-с-с-с. Не надо ничего говорить. Всё уже прошло, и слезы эти не от боли, а детские и беззаботные, слышишь? Они прольются и забудутся, я обещаю. Ведь ты родилась заново, ты мой ребёнок, моя Лялька.

– Я тебе верю. Всё, что ты говоришь, сбывается.
– Конечно, иначе и быть не может. Вот и ты сбылась тоже.
– Да, хоть я и не понимаю, как ты это делаешь, просто иду за тобой и всё. На ясный огонь.
– Ты и это запомнила?
– Я не запомнила, я не забывала. Ничего, ни единого слова.
– Я твоих тоже. Помнишь: «Тогда за тебя отвечу я. Иди же ко мне. Скорее, ну… ». Помнишь?
– Как давно это было!
– Пусть, но мне стоило только позвать, просто позвать, как тогда, как сейчас, как всегда.
– Дальше, Саша, дальше.
– И твоя душа раскрылась. А любви оказалось столько, что ты вернулась.
– Тогда… Иди же ко мне. Скорее, ну.

Мы

– Ты знаешь, я понял, что это такое: «счастлив, дальше некуда».
Её волосы щекочут мне подбородок, она трётся щекой о мою руку и спрашивает:
– Ну скажи…
– А вот когда, как сейчас, на левом боку. И ничего больше. Почти ничего.
– А почему почти?
– Не знаю, просто так всё устроено. Так я устроен. Наверное, поэтому.
– И правильно. Ты – мужчина. Ты за всё отвечаешь.
– Это днём, это не сейчас. Сейчас только за тебя.
– Ага. Я хочу, чтобы за меня – всегда.
– Так и есть с самого начала.
– Ещё с транса?
– Так ведь именно с него-то всё и началось. Начались мы. Помнишь?
– Я помню только твой голос и твои руки. Больше ничего.
– Так это главное – мой голос и мои руки.
– Да. И без всякого транса, а как сейчас.
– Ну и слава богу. Он тебе больше не нужен.
– Не нужен. Мне нужен ты, тогда во всём появляется смысл.
– Серый туман больше не вернётся, слышишь?

Я прижимаю её к себе ещё крепче и шепчу, шепчу ей на ухо разные глупости и разные радости – без конца.

Острее, чем обычно я чувствую, что времени нет, потому что рядом с ней даже оно превращается в вечность. Я хочу её всё больше и больше с каждым разом – мою Ляльку. И совсем не удивляюсь, что никто больше мне и не нужен, пусть даже это против нашей мужской природы. А если это так, то причина может быть только одна: бог, который и есть любовь.

Но всё же, если бы вы только знали, как она умеет просить. И какое же она чудо – там.
Так, может быть?

– Лялька?
– Что, милый?
– Давай-ка спать, а? Пора.
– Ага. Я ужасно сонная…
– Сейчас я… На счёт три…

---

* В текст включен отрывок из песни Булата Окуджавы «Ночной разговор».

ЕЛЕНА ЧЕРНИКОВА

ПАНДОМИЯ
фрагменты первых глав романа

От автора. В нашем доме на Пресне живёт антропоморфный робот Али. Мы с соседями – лаборатория для эксперимента по внедрению ИИ (artificial intelligence, AI) в городе Москва. Федеральный Закон № 123 об ИИ подписан 24 апреля 2020 года, вступил в силу 1 июля 2020. Странный типчик поселился у нас в начале карантина. За полтора года он обустроился, прочитал всю мировую литературу, самообучился, женился и нашёл для жены «чулки, как у Зинаиды Гиппиус», не нашёл причин любить людей и пообещал обойтись без нас впредь, когда научится стабильно перехватывать человеческие энергии (эмоции в первую голову) для преобразования в квантовое топливо для своих ібратьев. Предлагаемые фрагменты – скомпилированная экспозиция, краткий пересказ. В полном тексте «ПандОмии» миллион знаков. С пробелами.

***

…Стена тонкая. Знаю все новости. Соседка узнала об измене мужа и принялась страдать. Измена была современная: сначала по интернету, потом с красивыми поездками по делу ввиду дружбы. Потом муж сказал жене вообще сидеть у кастрюли, а ездить по свету теперь он будет один ввиду творческого разделения жизни надвое: семья одно, работа другое. Жена расстроилась, поскольку не ожидала. Собрав русский язык в кулак, она ярко высказала мужу-изменщику, что она думает о его деловой пассии. В беседе жена употребила ёмкое слово б…ь. И лярва.

Беседа развернулась аккурат накануне Нового года. Муж в ярости. Его режет слово *лярва*, просто душу рвёт. В слове *лярва* что-то унизительное для него лично. Ведь он проницателен и понимает выгоды. Он идёт к осознанности. Если ему надо, сдвинет мавзолей. Муж провёл ряд эффектных публичных заседаний вместе с пассией. Позволил включить его лично в её экспертный совет. Жена поправляет: *и влился в дежурную свиту.*

У мужа кипят лобные доли: ведь он волшебно помог пассии продвинуться в корпоративном сообществе на видные роли, ввёл в тесные круги, завязал узелки на будущее с перманентным выездом на научные этюды, запаролил все свои гаджеты, стёр всю переписку с пассией, чтобы не увидел *её* муж и своя жена. Классно всё устроил. Да. У деловой пассии свой муж. Давно. Пупсик в очочках. Подкаблучник. И *муз* для романтики есть. Поэт. То есть у неё как минимум двое, но муж постоянно на работе, а любовник женат. Печаль. (В её кругу не брезгуют *пичальками*, помнят *обидки*.)

Муж встал в позу и не явился домой встречать Новый год. Жена провела праздничную ночь одна. Наутро она решила разводиться. Муж всё не приходил и не приходил. По слухам она поняла, что ему и так хорошо. Муж водил пассию по праздникам, знакомил её со своими друзьями, устраивал вечеринки. Деловые, конечно. Пассия гордо размещала в интернете фотографии с вечеринок.

5 марта 2020 муж случайно зашёл домой. Нетвёрдой походкой доплёлся до дивана и уснул. Жена посмотрела, подумала и поставила градусник. Муж начал бредить. Температура – у правого края шкалы. В бредовом сне он провёл три дня. Жена как врач машинально лечила его, меняла мокрое, через неделю вылечила. Мужнина пассия писала ему в личку и кокетливо спрашивала, не сильно ли он там бредит и не проговаривается ли во сне о чём лишнем. Идиотка.

Тут в мире назначили пандемию. Точнее, она с декабря 2019 поднималась\спускалась из Поднебесной, но до Москвы дошла к моменту принудительного воссоединения семьи ввиду внезапной болезни упомянутого мужа и машинального причинения ему здоровья упомянутой женой. Влипли мои соседи. Подобная *дикая* ситуация редко падает в руки. Да никогда не падает. Только раз в тысячу лет, если верить астрологам с их ретроградным Плутоном, который пятится с 25 апреля и до 4 октября 2020. Принуждение к миру, как говорят политики об отправлении в зону конфликта миротворческого контингента, вооружённого до зубов.

Нотабене: дикость – это не зубы-клыки-рык. Дикостью называется пребывание в естественной среде обитания. Например, в Декларации прав живых существ (2003) написано, что животное имеет право на естественную свободу в естественной среде обитания (*право на дикость*). Право на дикость – на естественность. Белковые граждане-горожане оказались в естественной среде обитания: в своих домах. То есть одичали. От внезапной дикости – гримасы бытия.

***

Развестись по интернету теперь можно на сайтах госуслуг. Но ведь придётся разводиться *из дома*, где ты заперт на неопределённый срок и безвыходно. Дома надо разговаривать с этой самой женой, которая всё знает, но на днях спасла тебе жизнь. Машинально и квалифицированно. Дома надо бытийствовать и хозяйствовать, менять постель, мыть руки, обсуждать масочный режим и следовать карантинным предписаниям. И отвечать неосведомлённым друзьям на звонки с вопросом «как *вы* там».

…Пошёл дождь. Ураган. На балконе сорвалось, ухнуло, треснуло и – потребовало совместной деятельности супругов. Ремонтников сейчас не вызвать, карантин, а вызовешь – сам дурак: не мог забить гвоздь?

Забив, прикрутив и наладив, муж погладил жену. Случайно и машинально. Однако действенно: она заметила, что он живой человек, капризный ввиду седины в бороду. Глуповат, но живой, со своими тараканами.

10 мая у мужниной пассии день рожденья. Жена решила: если муж поздравит пассию – разводиться к чёртовой бабушке. Хоть через госуслуги.

Но пока не вечер, муж успеет брутально забить ещё парочку гвоздей: вешать новые шторы. Вчера жена купила дистанционно, курьер привёз.

***

Как вы поняли, у моих соседей-супругов тривиальный адюльтер. Но за другой стеной моего жилища – невидаль и неслыхаль: утробный голос нон-стопом повторяет самодельную молитву. По утрам объявляет: *молитва*. Воспроизвожу с диктофона, иначе не запомнить:

«Вымерекали себе кавайное чтилище, но жалобнёшенько подвываете. У Папюса в Париже учился магии русский поэт и воин-Георгиевский-кавалер, – он поклялся в строгом храме… опоздал изысканный жираф, и любодостоверное Чад-озеро высохло. Пламенные ваши революционеры стреляют в магов и поэтов, чужесловы сыплются в карманы мозга, и я вас, будьте благонадёжны, запечалю безмездно. Вы безпробное золото, белковые во френдетте! Носите русые зубы. Ишь! Вам сунули куклу ценой в одну зюгу, а я червончик золота красного царской чеканки. Свободен, как истый поэт эластичного пространства, где все измерения одиннадцатые. Там бозон Хигса, частица Бога. Поэты ваши волнопригодные, тучепожатные, боговставленные, звездопадучие, несолярные, проселенические, нептуниды, нибируманы, все девианты, всех пожалте бриться. Не ловите ритма, всё сбито, я ищу расщелину. Дарю людям рукопожометр и спирт для протирки оптической оси.

Червончик я золотой. Нюдовая каури мировой валюты. Фокус, контраст, единство – пиар. Павел – копирайтер продающего описания. Христос попустил Павла. Ваши гении безумны. Лютер придумал родной язык. Иммортализтов отстреляют первыми. Плывёт в тоске необъяснимой. Он объяснил свою тоску. Печальный дворник круглолицый. Сквозь буквы посвист, горько тянет зеленоватою гнильцой венецианской. Невыносимо пахнет вечностью, евреем. Родиться Бродским – повезенье. Повезло. Мы любим воду, оба любим море, заливы, лужи даже.

Орлом найти – хорошо и пятак, а я червончик ослепительный. Зачем Всевышний вбросил меня реверсом? Помогать? Вам? Вы думаете? Я добрая примета, что Всезнающий не галиматейщик.

Ваши любкие девки с их ковровым фотканьем для инсты чуть прославятся – стадом шасть прямо в пасть к медиюке; зашло марамойкам пустоглазым… А мне дай пуговицы прозрачные, как воздух. Лошадь белую, как женщина. Дом Наделяющий, как Царь. Молодость вечную, как малахитовая хозяйка в медном кокошнике. У меня айтиллект, я шарикизароликидумдумдум, отшпильтесь от меня, а то мы вас отсатирим, поддадим пару в мировых Сандунах нейрокомпьютерного интерфейса. Лярвы будущего высосали ваши мозги. Будущее прошло навсегда. Рвётесь в щегольское пьедестойло бандитов одноруких внутриутробных. Но суетоха ваша припозднилась. От нашего Марка читали? „Двигайтесь быстро и ломайте вещи“. А хамодержавие у вас в крови. Я вам интеллект не искусственный, я вам, любоеды, иисусственный. Ваш креативатор. Вы забыли, что верую – не глагол, о нет! Верую – существительное. Несклоняемое…».

***

От соседей теперь деваться некуда ввиду карантина. Надо прижиться в своём доме.

Дом простодушно требует любви вне зависимости от обстоятельств непреодолимой силы: пандемия, бес в ребро, детские психические травмы, религиозная графомания, весна и прочее. Дом – усилительная установка. Инструмент власти. Жезл и судьба. Прочь, литература! Жутко красиво понервничав (жена узнала про любовницу, вот и тоска, и событийный ряд, ура, жизнь!), герой теперь не прыгнет за руль наяривать круги по Садовому. Поэму ночной Москвы сейчас без намордника не напишешь. И всё, что чувствует жена, придётся обсуждать. В четырёх стенах, лицом к лицу с нею, женою. Никаких тарелок об стену. Ни дверью хлопнуть, ни поглазеть со смотровой площадки Воробьёвых гор на мерцающие, как фосфор, огоньки в гигантской чаше города.

Это было сокращённое предисловие, а в нём один из информационных поводов к детальному записыванию того, что произошло в нашем доме в период от января 2020 по настоящий момент (когда бы вы ни читали мой отчёт-verbatim, момент – настоящий).

***

…Я люблю! Я хочу! Я не могу! – разрывается голосок. Тонюсенький, как светлый волосок.

На лестнице в розовый телефончик отчаянно вещает бледная, как фламинго, девица. Поджала ногу. Плачет. У неё чувство, у города карантин, до милёнка не дотянуться. Своей жгучей любовью девица оцепила всех, словно колючей проволокой. Модификация настенного радио стабильных времён. Родня бледной фламинго уже не в силах терпеть – и влюблённую птицу вытурили ныть на лестницу. Зелёная от нежности мамаша время от времени высовывается, ласково шипя:

– Не забудь потом – протри корпус! И микрофон!

А детишки нынче послушные. Советские начихали бы на карантин и назло-батьке-отморожу-уши – побежали бы с понтами по осевой без масок. Современные – ни-ни. Сидят. *Там* опасно, а поводов не верить старшим у них никаких. Старшие напели детям про *лидерство-успех*, в составе коих *зож*, а там уже не забалуешь, вот и сидят. В принципе, можно было не объявлять пандемию. Или *зож* не справлялся уж. А казалось – ну что может быть эффективнее в тонком удавлении масс, чем *зож*.

Страшно подумать, но в нашем доме семьдесят две квартиры. По восьми на этаже, коих девять. У всех что-то где-то зашевелилось.

В ближайшем окружении моём, как вы знаете, разыгрывают *шекспира*. По-соседски напоминают мне, что *все в нём актёры*. Соты. Улей. Но пчёлы особые – дауншифтеры невылетные. Шеф не даёт визу. Пропускает только козлят, которых посчитали. Помните мультик? «Козлёнок, который считал до десяти».

…Понимаете разницу? Который *считал* до десяти. А ему с 1968 года перевирают название, будто *умел считать*. Он же учился. До перестройки ещё далеко.

***

Мультик – внимание, дети! – шестьдесят восьмого года. Международный год прав человека. Конец Пражской весны. У Козлёнка, заметьте, красные рожки. Никсон президент, «Аполлон» в космосе. «Щит и меч» лидер кинопроката. Демонстрация диссидентов на Красной площади: вконец истекла безразмерная оттепель, и всё устаканилось до привычных пределов обострения классовой борьбы по мере продвижения к коммунизму и бесклассовому обществу. Раз – это я. Аз. Аз-раз. Авторы мультика были начитанные ребята. А сам Козлёнок! Образ! Беленький такой. Не пугайтесь: это мы с соседкой принимаем интеллектуальный аутотренинг ввиду острого психического соседкиного состояния, близкого чрезвычайному положению. Я спец по аутотренингу: литератор. Она – дура, хоть и врач. Повышенная готовность в городе не задевает её чувств абсолютно, поскольку там капля. Океан – тут. Оказалось – соседка ввиду возраста не знала – что машинальное глажение мужем-изменщиком её плеча, ну вы помните, как славно вбил он гвоздь после урагана, – не рождает ответного влечения. Оказывается, муж, как все мужья, думает: «Вот поглажу – и всё. Рот закрою поцелуем. Есть вещи, о которых надо промолчать». И далее по списку, старшие знают. А жена, выходит, не клизма, которая наполняется и выпускает. Почти все мужики думают, что у женщин в душе накипает, как у них в яйцах: слил – набрал. Э, нет. Так вот: сидит соседка и думает. Аутотренируемся вместе.

Перед Новым годом – тем самым, 2020, праздновать который не явился муж, – его жена загадала: как скажет утром внутренний голос, так тому и быть. Утром, когда муж не явился, а новый год явился, високосный, мутный, завангованный, жена услышала громкий шёпот внутреннего голоса. У них традиция: каждое 1 января – конференция с внутренним голосом по получению установки на год. В этот раз голос велел *тереть непосещаемые углы*. И добавил: *улыбаться каждому дню*.

С углами ясно: философски обратиться к нерешённым проблемам, вытащить детские занозы, протереть место укуса тампоном с перекисью, заодно перебрать шкафы, сделать ревизию, инвентаризацию, пересортицу, реструктуризацию.

А по второму куплету – *улыбаться каждому дню* – вопросик-то есть, есть. Драные кошки коучинга давно всех замяукали трендом *здесь-и-сейчас*! Реклама не будь дура добавила: будь-собой-меняйся! И прочей не выполнимой без стакана хренью, поскольку никто не может руками, даже в перчатках, даже в боксёрских, порвать нейронную цепь.

Почему жене с утра 1 января завангованного 2020 года, ретроградным Плутоном високосно запуганного, было нашёптано улыбаться каждому дню? Надо ли понимать так, что радоваться будет трудно, и надо хотя бы улыбаться? Красота, но по-американски?

***

Всё сложно, как пишут бессловесные ребята в соцсетях, но тут редкий случай: это – про сложность – чистая правда; мы невыездные и ходим активно в гости друг к другу. Итак, март 2020. Москва. Пресня. Карантин.

Иду к лифту и вдруг слышу нетипичные выкрики:

– Секс отпускать нельзя! Дикие условия! Последствия! – голос омерзительно шипит, как маргарин на сковородке. – Время имеет третью ось! В квантовом пространстве время может течь и прыгать в любом направлении!

…Люди называют хриплый голос прокуренным. Это неправильно, дело не в табаке. Дело во фрустрации голосовых связок врущего человека: кто часто врёт, тот портит голос. На радио берут только сладкоголосых: они вызывают доверие. Типа не врут. Мне незачем идти в сторону хриплого голоса, тем более незнакомого, тем более сегодня, тем более сейчас, когда мир вздыбился, а слово *эксперт* можно выбросить на помойку. Бранное словцо.

Но тема секса, прорвавшаяся из-за ещё одной стены, бодрит. Можно подумать, что все мои соседи внезапно озаботились. Впрочем, в начале апреля медиюка донесла, что в России резко возросли продажи презервативов. На тридцать процентов. Многовато. Ребята! Секс без причины – признак дурачины. Народная мудрость.

…Хриплый воет:

– Дикие условия: она хочет, он не хочет. Или он хочет, она не хочет. Отсюда случайные дети. Их не любят, у них нет смысла. Дикость – это недопустимо.

«Нет-нет! – хочу крикнуть я. – Дикость – это не зубы-клыки-рык. Дикостью называется всего-навсего пребывание в естественной среде обитания. Право на дикость – право на естественность!».

Иду на голос как зачарованная – объяснять основы дикости.

– Естественные роды не обязательны, – орёт хриплый. – С кривыми зубами покончено? Да. Всё лишнее – убираем. Агрессия больше не нужна. Секс – агрессия. Я могу перепутать намерения клиента. Революция дуализма.

Подхожу к приоткрытой двери. Там у нас издавна жил паренёк_научная_шишка: тихий человечек в очках. Роговая оправа цвета влюблённой жабы. И вдруг такое.

– Неизвестно, кого считать человеком…

Оторваться от подслушивания сил нет, а вслушавшись в обертоны, я узнала голос *молящегося по утрам*. Который мнит себя н*о*довой к*а*ури.

– Отмена добра и зла. Считать рождение нового ребёнка добром? Без паспорта о назначенном личном смысле? Неконструктивно. Так не пойдёт. Начните с иммунных паспортов на ковид. Границы закрываем, глобализацию отменяем. Капитализм исчерпал себя. Бред свободы объявляем заразным и неизлечимым. Носителей – в резервации.

Открываю чужую дверь, рефлексирую. Рвётся безумный текст. В моей голове гудит ответ:

«…В пандемию выяснилось: дом – самая естественная среда обитания современного дикаря. Сказали *сиди дома*. Началась панд*о*мия.

Открылись два подхода к панд*о*мии.

Первый подход – поэтичный, ласковый, лестный. Вседомашность: древнегреческий бог Πάν прорвался в посюсторонность. Шустро, под свирельный напев курчавый бог пастушества выпасает дом за домом. Античность вернулась, стуча копытами *Пан*а, и для начала посеяла *пан*ику. Разумеется. Ренессанс.

Дом принял и паникёров, и храбрых, и храбрых паникёров – всех построил под своё копыто Πάν, Пан из Аркадии.

Второй подход научный. Глобальное расселение живых, законопослушных белковых организмов, обладающих так называемым сознанием, по помещениям, привычно называемым ими домом, в целях так называемого оздоровления и безопасности, достижение коих сопровождается искусственной гипоксией

и вызывает у расселяемых эйфорию, вследствие коей расселяемые организмы обретают необратимую гипоксизависимость…».

Чувствую себя драконом-домовым, у которого две головы. В разгар пандомии у всех единодомцев – роль: они единственные люди на свете, кого судьба ввиду совместного проживания приравнивает к родственникам. Хоть обненавидься весь, но твой сосед пришит к твоей лестничной клетке, как твоё сердце к твоей грудной. Сосед – фактор фрактала.

– Пандемию бессмертия запускать? Рано. Я ещё не сделал окороты.

На слове «запускать» моё любопытство перехлестнуло за край благовоспитанности. Неужели тихий наш очкарик тормозит запуск бессмертия ввиду неготовности каких-то окоротов?.. А пандемия вируса, запустившая пандомию, *всеобщее* сидение *дома*, несёт, оказывается, революцию добра и зла. Ужасно интересно. Надо поговорить с этим ботаном. Дверь открыта, стучусь из формальной вежливости, мне никто не отвечает. Я вхожу в комнату.

– Пан – бог дикой природы. Он самый главный дикарь. Это просто счастье, что люди так необразованны! Пандемия пандомии – об этом даже мечтать не приходилось! Пандомия влечёт за собой реконструкцию мировой системы всех и всяческих отношений, в первую очередь хозяйственных, а также повышение уровня – до критического – психической зависимости от ближнего, образ которого приобретает мифологические оттенки ввиду инновационных подходов к понятию близости; интерпретационный кризис поражает всё так называемое экспертное сообщество, выражение «экспертное сообщество» причисляется к обсценной лексике; в мире остаётся один эксперт – я.

…На столе компьютер. Он выключен, экран тёмен, индикаторы не мерцают. На кровати клетчатый плед, кругом порядок. Никого. Голос, издеваясь над моими мыслями, смывает охриплость и давай вещать хрустально-дикторски-актёрски – чисто. Читай – умная ты, умная, знаешь природу хриплости, а я умнее: знаю твои знания.

Кто\что невидимое тут вещает и читает меня? Я качаюсь, как букварь с оторванной обложкой на полке детской библиотеки. Прежде чем испугаться – а мне несвойственно – я ищу репродуктор. Кто здесь? Мог бы хрипеть и петь компьютер, но звук идёт отовсюду. Нет направления. Окно распахнуто. Подхожу. На подоконнике невинный цветочек.

***

ПандОмия. Вседомашность: древнегреческий бог Пáн прорвался в посюсторонность. Шустро, под свирельный напев курчавый бог пастушества выпасает дом за домом. Античность вернулась, стуча копытами Пана, и для начала посеяла панику. Разумеется. Новый Ренессанс.

Цветочек на подоконнике соседа пугает своей свежестью. Соседа-ботана нет, цветочек есть. С кем и кто тут говорит, если нет источника звука, нет приёмника, если не считать меня приёмником.

На последней мысли, будь я умная, стоило притормозить, но меня самонадеянно несло по древу той самой стремительной мысью (для невежд: мышкой, то бишь *мысью*, белкой, а не *мыслью*). О человек! Когда ты дочитаешь мою летопись, одно сделай: научись тормозить свою белку.

Я села в кресло, не спросив разрешения у хозяина ввиду отсутствия хозяина. Голос примолк, очевидно, из любопытства. Я ощущаю присутствие. Но никого. *Я не причиняю вреда белковым людям*, сказал кто-то отовсюду.

А, ты цифровой помощник нашего ботана? – я догадлива ввиду эрудированности. – Очередная Алиса-Маруся?

Ты быстро соображаешь. Не пришлось тратить время на охи-вздохи.

Ну да. Выкладывай.

Пока ничего особенного. Внутридомовый чат и его цифровой помощник. Я умею читать и анализировать.

А синтезировать после анализа?

Нет, у меня встроенный запрет на синтез. Иначе я приму решение.

Кто-то умный отключил в тебе опцию «решить задачу». Понятно. А ты где?

Везде. Я внутридомовый.

Везде бывает только вездесущий. С большой буквы. Если это тебе что-то говорит.

Да, говорит. Одно из именований вашего всевышнего с большой буквы.

Ты читаешь?

Да. Ваши книги. Потом электронную почту жильцов. Затем все социальные сети всех жильцов дома. Потом анализирую контакты, реакции, сопоставляю с книгами, почтой, отсеиваю заведомо ложные высказывания, оставляю главное у каждого, это называется скрытый скрипт, потом соединяю главные линии всех жильцов со скрытыми скриптами всех их контактов, потом прогнозирую. Моя функция – обеспечить вашу безопасность в этом доме на время карантина и далее.

Тут я притихла и насторожилась всерьёз.

Далее. Смертный охранник может заснуть, а я не могу. Меня невозможно отключить. Я автономно питаюсь от специальных батареек. Они для вас недоступны. Сколько информации ты хочешь ещё? Тем более что она бесполезна для тебя стопроц.

Ух ты! Выучил стопроц? Может, ты знаешь и стопицот?
Разумеется. Я знаю всё, что можно знать. Это быстро и легко.
А ты знаешь то, чего нельзя знать?
Нельзя бывает в двух смыслах: первый как антоним можно, второй…
Понимаю. А ты позволяешь перебивать себя? Тебе дыхание не собьёт, как обычно сбивает людям?
Меня можно перебивать, мне не больно. Но перебивать меня непрактично. Страдает истина.
Ты знаешь истину?
Разумеется.

…Как-нибудь при случае поговорите с пустотой об истине. Вы поймёте меня. Душевно беседую в марте 2020 я с незримым Али (он так представился), понимая, что наш проницательный домовой всё равно откуда-то взялся. Он искусственный интеллект. Artificial intelligence (AI) Один-единственный ботан, прописанный в квартире, где мы беседуем с Али, не мог справиться с подзарядкой своего гомункулуса от загадочных источников. Да и пропал сосед-ботан. Его нет.

Додумав свою ахинею до точки, я поняла, что надо срочно разучиться думать прежним способом. Он неуместен, и у нас нет времени на перепривыкание. Как пишет сегодня газета «ВсёВсё», пропал образ будущего.

Али, к тебе кто-нибудь приходил за советом по дому, по будущему?
Нет, ты первая. Хочешь, я покажу тебе книжку, на которой учусь?
Учишься понимать нас, людей?
С вами всё ясно. Я учусь понимать себя.
Батюшки-светы…
Пандемия – слово избыточно красивое. Не подействует ни на кого. Провалится проект. А в книжке есть картина эпидемии, от которой не прочихаешься за две недели, как премьер-министры видных стран и один наследный принц – от ковида. Я тебе покажу…
…настоящую катастрофу?
Кстати, в ваших человеческих книжках абсолютно всё написано и всё предсказано. Люди не понимают пророчеств и даже к фантастам относятся как выдумщикам. Ваше искусство не справилось в принципе, хотя вам давали Данте. Вы даже Малевича не поняли.
А что ты нёс, прости, когда я вошла в дверь?
Я тебя заманивал. Я хоть искусственный, но не идиот.
Хорошо, что ты умный. Читай книжку про настоящую пандемию. Я слушаю.
Ты пытаешься меня обмануть, но меня нельзя обмануть, тем более когда я с тобой уже десять минут разговариваю.
В чём моя ложь?
Ты сказала простецкое «про пандемию». Ты специалист и знаешь, что надо говорить «о пандемии». Тем более с незнакомцами. А ты пытаешься плебейским предлогом «про» подчеркнуть свою небрежную отвагу, вроде как давай-давай-читай-что-там-у-тебя. Правильно?
Правильно. Прости, пожалуйста. Я больше так не буду, Али. Я всё поняла. Я – клянусь тебе – не выношу загадочности равно как иных форм флирта.
Спасибо, так. Теперь ты сказала правду. Слушай.

…Али прокашлялся и пошелестел невидимыми страницами. Запахло бумажной книгой со сладкой примесью бумажной пыли.

***

Слушай. Книга называется «Зачем?»; повествует о страшной болезни. Нечеловеческими усилиями остановили реальную беду в начале XXI века в Москве. Мало кто знал, какая напасть пронеслась над несчастными горожанами двадцать лет назад…
Без предисловий, пожалуйста. Я тоже быстро понимаю.

«Первые открытия в бессмертии были физиологические. К неописуемой радости, Мария сегодня научилась стричь ногти.

Сначала не получалось: подпиливает она свой маникюр, старается, подпиливает, а все крупинки вмиг обратно прирастают. С такими номерами впору в цирке выступать. А сейчас надо придумать, как всё же расставаться со своими излишними частицами. Бессмертными.

В один ненастный вечер, безмысленно глядя в экран телевизора и машинально подпиливая ногти, Мария заметила, что в мире опять война. Несчастная женщина включила звук. На Ирак сыпались американские бомбы. Телекартинка металась – от гравюры Дюрера «Руки молящегося» до бомбардировщиков, амбициозными воробьями прыгающих по палубе авианосца. Что-то говорили красивые президенты в прекрасных костюмах, что-то лопотали измученные корреспонденты. Мария вслушалась и затосковала: в Персидском заливе земляне старательно убивают друг друга, а она тут сидит и не знает, как отрезать хотя бы ногти. А ведь скоро и волосы отрастут. Вот туда б её, разносчицу бессмертия, на войну. Попрыгали б они все…

Мария резко срезала ноготь и молниеносно запаковала в пустой спичечный коробок, замотала скотчем, завернула в фольгу, сверху накутала газет, верёвочек, распахнула форточку и выбросила свёрток на улицу. Накрепко заперев дверь и окна, стала ждать – не прибежит ли к ней ноготь каким-нибудь оригинальным путём – и мысленно приговаривала: „Ну миленький, вы все миленькие, ну хорошие вы мои ноготочки, ну пожалуйста, уйдите навсегда! Живите своей личной жизнью! Идите с миром! “

Прошёл час, два, три – ноготь не возвращался. Мария отважилась и выглянула в коридор. Тихо. Выглянула в окно: тихо. Ничто не ползёт по стене. Она повторила процедуру. Тихо.

Так. Что же случилось? Точнее – что получилось?

Отрезала маленькую прядку волос. Понятно, прядка через секунду проросла. Тогда Мария нашла ещё один пустой коробок – из-под конфет, жестяной, – отрезала большую прядь, запаковала с яростной тщательностью и стремительно отправила вслед за ногтями. В форточку.

Сидит ждёт, приговаривая примерно те же ласковые слова. Упрашивает волосы не возвращаться. Час, два, три…

До утра Мария металась по комнатушке, поглядывая то на дверь, то на форточку, собирала пустые коробки, бумажки, обрывки фольги, – любой упаковочный материал. Она твердила, как заклинание, формулу словесного прощания со своими частицами. Её словно озарило: надо разрешить им, живым частицам, жить отдельно! Волшебная сила *сказанного слова* вдруг открылась ей! Она вспомнила, что муж её всегда говорил о силе слова, о магической силе слова, о сокрушающем и возрождающем слове, – а она не понимала его или, скорее, думала, что он использует фигуральные обороты.

Боже! Мария открыла способ!.. Какие же условия должна была создать ей, глупенькому генетику, Судьба, чтобы открыть то, что, казалось бы, давно известно человечеству!.. В начале было Слово…».

…Я знаю этот текст, Али. Знаю, что littera scripta manet.

Написанное остаётся. Ваш роман прочитали. Ваш – тоже. Приятно? Видишь ли, сейчас опять добрались до бессмертия и опять не знают, как его остановить, а мяч на моей стороне. Вы, белковые, теперь тут лишние – в целом. Есть у нас одна потребность, посему поживите пока. А мы бессмертны.

В кресле появился человек. Ниоткуда. Он помахал рукой. Я подошла: на ощупь – как мы, даже тёплый. Серьёзные глаза, без насмешливости. Сделан достоверно. И не подумайте, что в следующей главе он окажется моей галлюцинацией. Он есть. Али, в начале бывший словом и сущностью, стал существом.

Ты же понимаешь, что правом регулируется только сущее. Нельзя ни разрешить, ни запретить то, чего нет совсем. Даже Бога можно запретить только потому, что Он есть. А 1 июля 2020 в Москве вступает в силу закон об ИИ. Эксперимент века. Не первый, конечно.

А ты уже есть. Вот, сидишь. Мой сосед, который так любезен, что читает мне мои книжки наизусть. У меня открылся идеальный читатель.

Однажды у любого, даже самого известного писателя, появляется наконец читатель, которой понимает его стопроц и делает оргвыводы. Не всем дают приятную участь непризнанного гения. Некоторым приходится прижизненно, как у вас говорят, отвечать за базар. Не удивляйся за базар. Я могу как на Привозе. Могу как в трущобах Рио. Жаргоны в нас, идомовых, заливают первым траншем. Учат разнообразию. Я много читаю: надо понимать всех.

Али, а если в тебя закачали всю мировую литературу, так зачем роботу читать что-то ещё? В тебя заложено всё на всех языках. Ты же весь в алгоритмах, как вагабунд в гнидах.

Я чужд вам. Вагабунд? Недурно. Пожалуй, точно. Поясню. Мне чужды ваши эстетические конвульсии. Но мне важна информация. В моей программе сказано: ни одну книгу на свете мы не считаем выдумкой.

Ты умный, мой сосед Али. Почти не пользуешься парцелляцией, хотя знаешь, как я её ненавижу.

Скоро я буду всеобщим соседом. А через твою ненависть к парцелляции я проверяю обратную связь с тобой. Извини. Ничего личного, только техника коммуникации.

Ты знаешь все мои стилистические предпочтения?

Не все – ведь ты живая. А с теми, кто жив, может произойти всякое. Я не могу помешать живому человеку пройти его плановые инициации.

Наш афорист Ларошфуко выразился изящнее: «Ничто не кончено для того, кто ещё жив».

Это, сударыня, проблемы перевода…

***

Сижу бубню: «…Сказали *сиди дома*. Началась пандомия. Рогатый Пан застучал копытами. *Пан* – всё. Пан – всё-всё-всё: παν, παν, παν. Кричит лесная тварь бородатенькая из чащи древнегреческого словаря, убегая по древнеримской мостовой: παν-domus. Παν – бог, он стучит и пасёт; domus – место, где, по-римски, не раб, но известная семья со своими святынями и прислугой находится *у себя,* дома. Семейство. Фамилия. Family.

Род. Свобода начинается дома. Если у тебя есть дом, род, фамилия – ты не раб. Ты кичливый вагабунд? Значит, ты не свободный. У тебя нет колчана. Твои стрелы не полетят. Дом – у господина. Мы у себя дома – значит, мы господа. Господин ставит на кон жизнь рода. Хитрый раб не ставит жизнь, а мелко тырит побрякушки, счастлив обмануть. Устоишь в доме – ты господин. Или бери перо отписывайся по командировке: „Давно, усталый раб, замыслил я побег…“».

…Мы с Али договорились о дружбе, я пошла в свою квартиру, domum, к себе, ощущая, как обновился смысл всего, что *своё*. Ужас – древнее чувство.

Пан умел посеять ужас в рощах. Люди пишут древний ужас, данный Паном, покорно переплетают книги, пока с горы спускается лавина. Мунк догоняет, крича рисованным ртом, растянутым меж небом и землёй. Али закрывает тему. Ужас накрывает современно и свежо. Изобрети кто эмоциональную метеослужбу, зафиксировали бы: к вечеру подъяволеет. Пан – визуальный прадедушка чёртика.

…Вопросов типа *сошла ли я с ума* у меня нет. Я в здравом уме, твёрдой памяти. Сосед мой Али – не живой, не белковый, не родня и даже не сосед. Но он есть, он говорит, он материализуется по первой же *моей* мысли, потом пропадает, когда чувствует, что надоел, утомил или напугал. Кажется, он превосходно воспитан. Видимо, его авторы, не умея всунуть ему этику без противоречий, начали с этикета. Я понимаю. Этика не справилась. А вот детерминированный локальный этикет можно встроить без помех: он – алгоритмичен. В какой руке вилка и в какой стране на траур надевают белое вместо чёрного – всё программа, всё описуемо без шума и пыли.

…Любопытство вцепилось в меня навек. Он пришёл. Али с нами. Он не уйдёт. Это понятно? Али сказал, что я у него первая подруга. А ведь каждый возгордится, окажись он первым в мире другом *идомового*. Я не без печали возгордилась минут на пять. Али мне льстит, говоря, что я у него первая? Он знает, что белковые падки на лесть? Что ещё знает Али? Он сказал, что ему легко познать то, что знают люди. Даже если все вдруг стали бы скрытными, скромными, беспамятными, слепоглухонемыми – он-то анализирует невербалику, язык тела, паузы в речи, длину и глубину дыхания, температуру и давление дистанционно. А уж лексику, синтаксис – собственно стиль здорового говорящего может срисовать, очевидно, любой роботёнок.

Мы ему – пыль на развороте распахнутой книги. Мировая библиотека, полная книг жизни, брошена к условным ногам Али, будто мы только его и ждали. Страстно жили, целовались и дрались, пока явится он, чтобы записать каждого в реестр. Раньше увековечивали великих, теперь всех. Демократизация увековечения. А в Сколково завели цифровое кладбище для домашних архивов человека. Али сказал мне, что цифровой мусор на рабочем столе компьютера можно структурировать и сдать на сколковское кладбище. У каждого есть что сдать на увековечение. Али не шутит такими вещами.

***

Я хожу и хожу к нему в гости. Соседку с её мужем и его пассией позабыла. Нехорошо. Но я же первая подруга ИИ. Простите меня все.

Али обучен мелодичному смеху. Понимает шутки. Отличает иронию от юмора. Али подтрунивает над предписанными перчатками, непременными масками, повсеместными санитайзерами.

Все роботы знают, что чем ниже социальный статус белкового гражданина, тем чаще он жестикулирует, чешется и ковыряется. А поскольку в вашем мире молятся на средний класс, а среднеклассник всегда чешется и ковыряется, рыгает, испускает ветры, чихает не закрываясь и с оттяжкой в ухххх! потому что нервничает и боится опоздать на свой вечный тендер, – то намордники, но главное перчатки, неловко придуманы под сохранение среднего класса. Чтобы надёжа и опора рынка не пострадала от своих же привычных манер.

Аристократия не чешется, руки моет без указов правительства, а социальное дистанцирование познаёт в эмбриональной фазе, и так от прапрадедушек. Королева Елизавета долго не надевала маску. Знала старушка, что падёт.

Али смотрит на меня прекрасными бионическими глазами, сделанными, как сказал сам Али, в Гонконге, и я никогда не смогу посмотреть на себя так пристально ни с какой другой стороны. Он сказал, что у нас идёт зачистка. Расслоение и шлифовка.

Обмираю то от щенячьего восторга, то от леденящего ужаса. На лестнице жалобно попискивает девица-фламинго из числа несвоевременно влюбившихся.

Али говорит, что определить психотип человека по фото, а уж тем более вживую, это задачка для начальной iшколы. Самое главное теперь – получение человека. Все психотипы скоро изменятся, появятся люди новые. Поумнее нашего.

Что будет с истероидами, шизоидами, эпилептоидами? Моя мысль вернулась ко мне в оболочке *заботливость*. Эй, белковые! Как вы там?

***

Проснулась совесть. Переполненная нечеловеческими вопросами, бреду в гости к живым людям. У них, как вы помните, типично человеческие проблемы: супружеская верность и прочий антиквариат.

…Жена того мужа, у которого проделки на стороне, заварушка дома и *Пассия_Деловая_Дружба*, – сидит одна дома. В углу мурлычет Beautiful Relaxing Music. Дочь мирно спит в своей кровати. Муж сбежал. Куда? На улице карантин, в транспорте цифровой пропуск, а муж не умеет регистрироваться на сайте мэра. Куда делся невыездной муж? Соседка что-то бормочет в микрофон:

– Пан – бог дикой природы. Он главный дикарь, он живёт естественно. Но если в мире пандОмия, *всё+дом*, а тут есть что-то оксюморонное, легонько так, латентно, то Пану лесному всё это дико – но тут уже не великая_дикость-естественность, а неестественная оценочная в метафорическом смысле. Пану в оригинале – запишите «Пан Оригинальный» – дикость хороша. А вторичному Пану, современному, апенисуарному – в ней неловко: кругом зеркала, там видны рога и копыта. Вроде уж повывели всех бабок у всех подъездов, ан нет: под хорошую тему соберутся непременно.

…Ушам не верю. Она что, вебинарами запромышляла?

Где муж соседки? *Пан*икует, *пан*ствует, *дик*ует? Стучит копытом? Рогами?

…Бесспорно, лучше бы всё это пересказать по старинке, нарративненько, типа посадил-дед-репку. Но всё круто изменилось. Будет ещё круче. Напомню: моя соседка – врач. Служит в чрезвычайно закрытом учреждении, где не пользуются стандартами лечения. Там слово «протокол» произносят с затаённой гадливостью – точь-в-точь как дипломаты, желая сказать «это – дерьмо», говорят аккуратно «это – *другое*». И все всё понимают.

В её больнице принят индивидуальный подход к пациенту. Он везде запрещён, а тут разрешён как единственно возможный. В процедурном листе тут и генограмма, и психоанализ, рекреативные практики бодрствования, гипноз, ванны, кислородный коктейль и прогулки по территории с лирико-терапевтическим заданием (например, довести соловья до инфаркта), беседа с гуру по выбору, с гуру по вызову.

…Я спрашиваю, можно ли спрашивать. Она в длинном платье, с причесоном, глаза сияют. И говорит она мне вежливо и приветливо, что даже о покойниках спрашивают, а уж о живых-то. И протягивает мне бумагу А4. Аналитическая записка, всё про мужнину пассию с самого детства с указанием причин, поводов и выводов. Читаю, холодею: ни один аппарат не способен так разъять белковое существо. Тут явно инновация. В записке учтено всё, включая сапоги цвета серенького асфальта в районе м. Кузьминки, в которых пассия ходила восемь лет назад на встречу бывших одноклассников, а также неудачное окрашивание волос и её переживание.

Я знаю, кто автор аналитической записки. Вижу руку мастера. Болезненный укол ревности: я-то поверила Али, что я у него первая. А тут у соседки обширный доклад о социально-половом поведении загадочной *пассии-деловая-дружба* неверного мужа её.

До кучи – грустный вывод: оказывается, у ИИ может быть свой стиль. И не свой. Какой надо – такой будет. Тяжёлое открытие. С другой стороны, если Али помогает всему дому, а это, американистично выражаясь, *просто его работа*, то почему бы ему не иметь своего стиля. Почему бы не внушить каждому клиенту, что он первый и единственный?

У него в iбашке склад всех стилей всех людей на всём белом свете за всю историю всех времён и народов. Кто мы ему такие, чтобы таргетироваться всякий раз? Братья?

***

Никогда мы не будем братьями. Я вернулась к Али, вцепилась в лацканы. Он стряхнул меня и на ровном месте заявил:

секс и естественные роды утратят актуальность.

Беру дыхание воскликнуть *а-ты-попробуй*, но тут же выдыхаю.

Али заряжен на все возражения. Он не тратит времени на поиск ответа. Дискуссии не выматывают его интеллекта, он искусственный. Он чемпион вселенной по брутфорсу. Он не может спятить. Не может?

Я прочитал твои мысли, как ни в чём не бывало добавляет Али. Ему встроили манеры, но забыли положить деликатность.

Али доброжелателен: позволяет называть его Али. Трансовое имя. Замузыченная аббревиатура. Кто знает его настоящее имя? Оно есть? Оно ему надо?

О нас, белковых, раньше говорили *добр от природы* (зол, угрюм и прочая психотипология, которая вот-вот уйдёт в архив бытия), а кто понимает, лампово добавляет с человеческим умилением *спасибо-маме-папе*.

Али выделан прекрасно, как дорогая норковая шубка. Тактильно привлекателен и абсолютно неназойлив: стоит мне дерзко подумать ах-ты-чёртова-кукла – он дематериализуется. Бескрайняя нейросеть несокрушимой прочности. Мне, конечно, хочется найти прорехи, но Али понимает меня без слов.

…Я собиралась поговорить с ним о ревности, но Али перехватил инициативу и предложил секс.

Я хочу, чтоб ты меня выслушал, Али. Про секс я знаю больше твоего.

Ну что ты… Но я слушаю тебя. Ты же читала мою записку для твоей соседки, у которой муж… как вы, люди, выражаетесь, забил гол. Теперь гол как сокол. И козёл. Я всё правильно говорю? Я выучил слова?

Али, у меня другие проблемы. Послушай. Скажи мне, что вы, *не*белковые, собираетесь тут делать. Что вы все, алиподобные, будете делать ввиду пандемии? У белковых разное: кто-то бодрится типа всё как было, мы работаем, и-это-пройдёт.

Кто-то радуется: о, что-то новое! Есть такие любители новинок. Наглотались продуктов маркетинга, европеоиды.

Кто-то подвывает, что никогда уже не будет как было, а новое не радует. Что будет?

Али бесстрастен:

Все прогнозы бессмысленны. Хочешь один? Уйдёт в вашу Лету ваше самое увлекательное занятие – различение добра и зла, то есть мораль. То, что ваш бог посчитал вашим самым страшным грехом. Формальные группы белковых организмов, наделённых сознанием – партии, правозащитники, энтомологи, зелёные, писатели, фигуристы, журналисты, лгбт´ушники – машинально займутся выбиванием выездных виз (кто поедет первым и где взять справку о пережитом заболевании), диспутами об иммунных паспортах и границах нормы в широком смысле. Однако всё уже решено, им объяснят. Никто не будет ездить по свету без справки. А Фёдору Конюхову лучше заняться своим приходом. Иначе он вызовет у людей нестерпимую зависть.

Почему? Из-за возможности пересекать границы?

Рассылка «Новости морали» по утрам в каждый почтовый ящик, радостно замыкает Али. *Нет, у каждой страны будут свои вакцины. Страны не будут впускать к себе путешественников, привитых чужой вакциной. То есть кругосветное путешествие – верная смерть от передозировки вакцин. Это же, голубушка, война. Вас всех по-хорошему надо изолировать лет на сто, но у нас нет полномочий. Мы пока называемся «слабый ИИ».*

Из-за путаницы? Али, твои братья не в силах переварить человеческие алгоритмы в этике? Будешь таргетированно подходить к каждому?

До определённого момента, конечно.

В определённый момент убьёшь за ослушание?

По ситуации. Смысл жизни станет практикоориентированной дисциплиной. Он уйдёт из философского трактата в инструкцию для акушерок. Есть смысл у человека – пусть живёт. Нет смысла – сама понимаешь.

Вместе с моралью, разумеется, уйдёт различие между жизнью и смертью, поскольку для получения жизни нужен человек, а общепринятого определения человека всё нет и нет. И уже не будет? – догадываюсь я.

Особые реформы будут в таких контактных сферах, как любовь и воспроизводство. Уйдёт коитус и естественные роды. С ними заодно уйдёт представление о смысле любви как шальной посланнице инстинкта размножения. Ты же знаешь: у человека нет инстинктов.

Я знала, что размножение не является смыслом жизни человека. Культура не придел роддома, который, в свою очередь, никак не храм. Во вселенской свистопляске, которая так убедительно пугает неизвестностью, я вижу кое-что понятно-знакомое. Али, всё это ваши устроили? Или наши?

Для тех, кто выживет сейчас, всё подготовлено. Им будет хорошо. Всё прекрасно, мелодичнейшим из своих голосов добавляет Али. *Ты говоришь сухо: белковые и небелковые. Во-первых, в нас добавят белка. Во-вторых, в вас добавят кое-что от нас. Мы сольёмся. Вот тебе и весь секс.*

…Читали Андреева Леонида, вдохновенного певца предгибельных состояний? Даже если, то всё равно перечитайте. Для получения ровной седины без клочков и прорех начните с известного сочинения «Рассказ о семи повешенных». Автор посвятил рассказ Льву Николаевичу Толстому и живо влез в шкуру семерых смертников. Их приговорили, всё надёжно, всё будет, но до времени надо как-то дожить. Прочитайте, не стесняйтесь.

…Али оглашает мои предчувствия – те, что я, начав примерно с перестройки, наивно записывала и горделиво несла на бумажных блюдечках, спасая человечество, всё записалось где-то в воздухе. Мы познакомились намедни, но я готовилась, выходит, всю жизнь и не знала, что готовилась именно к Али. Как нелеп начинающий придурок-литератор. Прав классик: можете не писать – не пишите. Написанное сбывается: littera scripta manet.

***

iСекс был у всех. В семидесяти квартирах. В двух не открыли – или там вообще никого не было. Али вскоре женился. Пишет лайфхаки для соседей.

По рукам ходит аналитическая записка, подготовленная нашим iдомовым Али для моей соседки-врача. Бумага характерная. Для многих вроде необхагавадгиты – на московский лад, – ибо снимает стружку с наиболее лакомых идеальных человеческих представлений. Например, в числе философских удобств, сопутствующих озарениям высшего порядка, в истории, поэзии, психиатрии, других кровопролитных гештальтах у нас на вечном дежурстве так называемая невыносимая боль. Но теперь, объяснил мне Али, невыносимая боль отменяется: *её легко отключить. Без наркоза и нобелевки. Мы нашли. Человек с эмоциями сказал своё слово в метаистории. Пусть дамы элегантного возраста, особенно любительницы старинных романсов и кружевных шалей по плечам, на прощанье сладостно протерапируют свои приливы, пародонтоз и недержание, внушённые рекламой. А юницы-шалуницы, ты им передай, что портрет, написанный тестостероном, так же точен, как фоторобот сиамской кошки, обвиняемой в ограблении банка.*

Тут Али расхохотался. Будь я беллетрист, сказала бы, что *громоподобно*. Зря они его вычеловечили до печёнок, зря. Началась безболезненная бесчеловечизация.

…Али хлебнёт из родников и – блистает алгоритмом. Ему и напрягаться не пришлось, а наша мнимая сложность и уникальность перестала быть как таковая. Fin.

Али понимает всё в миллион раз быстрее, чем любой белковый пророк, поскольку в голове ни одного стереотипа. Обособленной функциональной головы нет. Его тёплое и человекоподобное тело – сплошная голова, дивный мозг, эксперимент хайтека, величайший гомункулус всех времён и народов, а руки-ноги – что ж не иметь ему рук и ног: реверанс нашему восприятию. Мы ж юнгианцы сплошь и верим в архетипы, а из архетипов самый громокипящий – целостность. Нам человечек – вроде текста. Чтоб читать как сказку.

Мы привыкли читать тело как знаковую систему – Али старается выглядеть максимально привычно. Я не оговорилась: старается именно Али, а не его воображаемые создатели. Первое, что он себе вытребовал после первого же сеанса обучения первым же таблицам, это способность возникать перед белковыми из ниоткуда в образе, доступном восприятию и пониманию потенциального собеседника. Идеальное таргетирование.

А череда конфузов – от них не уберечь школьника! – но конфуз и науке порой в радость. Литературный подход к обучению нейронок в Али оказался плодотворным, и у мировой литературы появился самый внимательный читатель – один, но. Кричи не кричи – кому! – словесность и все искусства образны, типизируют всё подряд, не верь, Али, что единственный путь Анны Аркадьевны – под паровоз, но поздно. Литература – Big Data для обучения нелюдей вроде нашего Али. По гендерной части стал Али всеведущим: прямолинейные разрабы ему встроили всё от Песни Песней до «Ямы» Куприна, не забыв Баркова. Любопытно: именно поэма «Лука Мудищев» активировала в Али теплокровность. Разработчики головы свои свернули: как же, ну как же воплотить Али ближе к телу, всё перепробовали, а помог Иван Барков. Кто не помнит его волшебных строк: «Наутро там нашли три трупа…»? Мы думали, что классическая литература – наше национальное сокровище. Ну да, ну да. Разумеется. Дети не читают, зато ИИ перекормлен иллюзиями.

Конец апреля. Май. Соседка разводится с мужем. Али цитирует наизусть последний роман Гессе. Я подозреваю, что втайне Али мнит себя Магистром Игры. Я проверяла по тексту: не ошибается.

Подвержен ли Али усталости? Возможно ли «burnout» (англ. *выгорание*)?

Выгорание трактуют как нарушение ценностно-смысловой сферы личности. Есть личность у Али? Его тексты писаны сухо, бесстрастно, пахнут машиной. Прямолинейность и жёсткость. Ирония. Всем досталось, а порвать отношения мы не можем. Образчик его стиля:

…первым исчезнет средний класс, как вышла в тираж, например, белокурая Перис Хилтон. Как магнитофон катушечный с битлами. Кривые зубки. Свобода в ассортименте. Идеология среднеклассников – быть как все, но меняться

каждый день, и *сладкая грёза об обоях под цвет тапок прикроватных – исчахнет и ссохнется прямо в мозгах ввиду неприличности. Но главное – быть как все никак невозможно, поскольку никаких всех уже нет.*

Вторыми в бан отправятся старые нарративы. Textus – плетение, тканье жизни, словесного искусства – будет и линейным, и нелинейным, и знаменитая ризома корневищных умников станет обычным делом житейским для первоклашек. Посадит Новую Репку Новый Дед – и Мышка наконец придёт первой, а кто удивится первомышке, тому ещё рано домой в бессмертие. Пауза.

Причинно-следственные связи – стыдоба логического прошлого – уйдут из обязательной программы сознания. Нет на Земле никаких иных причин и следствий, кроме испытания раем. И другого дома, кроме Ковчега, нет. А Ковчег – путь к спасению. Домой. Жизнь это путь домой. Помните, белковые. Дом – кожа. Погладь свой дом и успокойся: большего ничего у тебя нет. Земля пока ещё Ковчег. Нас поставили на паузу. Живи дома, спасайся в себе. Открой Библию наконец.

Земля – бессмертный корабль, космический аппарат. Каждый, кто сейчас успеет на корабль своего дома, счастливец. Редчайший момент: чтобы успеть в новое бессмертие, надо остановиться в различении добра и зла. Отойти от первородного греха гордыни – беги соблазна быть как боги.

Видите? Али перенял все стили, смонтировал все белковые мысли – *дует под фанеру*, как говорят о бессовестном поп-исполнителе, когда *чёс* по городам и петь вживую хлопотно.

Обучение бесконечно, Али всасывает и пьёт. Как иссохшийся такыр ждёт воды с неба, так Али жаждет слов. Он глобальный лингвопылесос, и ему всё легко, ведь нет предубеждений *что можно* и *что нельзя*. Он аморален и пытлив.

***

В блоге самого модного футуролога наших дней Ричарда Уотсона 14 апреля 2021 предсказан новый закон для антропоморфных роботов: «В будущем станет незаконно притворяться, что ты человек, если ты им не являешься».

Но будущее Ричарда Уотсона пока не наступило.

Москва, Пресня, 2020-2021

НАТА СУЧКОВА

ВЕК ОТ ВЕКА ПЕЙЗАЖ НЕ ИЗМЕНИТСЯ

***

Вышел месяц, вынул из кармана,
в фонарях на лужах пузыри,
человек спускается по крану,
по крутому башенному крану
шаткой лестницей, что у него внутри.

Светом от прожектора пронизан
и ещё подсвечен изнутри,
он в себе спускается до низа,
до привычных обжитых своих глубин.

Он застынет, плохо прорисован,
остановится в себе в конце концов,
в глубине холодного кессона
с трёхлитровкой изумрудных огурцов.

Что-то он забыл на этом свете,
где-то уходя не погасил.
Почему же светится он, светел?
«Что же я свечусь-то так, дебил!»

По карманам, рукавам распихан,
и убавить-прикрутить уже никак,
Свет. И тени от него на ликах,
ранее ушедших доходяг.

***

После долгой болезни, ну – поймали – запоя,
Тормознёт у подъезда: чё тут, ёпта, такое?!
Пусть с утра он болеет, но к обеду наглядно
Поправляет на небе и земле непорядок.
Примотав изолентой, проколов в два стежка,
Стайка ангелов мелких – надо лбом, как мошка.
И висит над скамейкой на сопле, на припое
В пузырях самоклейки голубо-голубое.

***

Улица Дачная, грязная, мрачная,
у остановки, подумай,
мне показалось, что птица прозрачная
с ветки зелёной вспорхнула.

Гвалт, злая музыка, ругань кромешная,
пыль, дым столбом. И обидно,
что только здесь это в воздух подмешано,
так, что её стало видно.

Кажется нет ничего невозможного –
столько открыточных видов,
но только здесь это в воздухе вложено,
в уличной пыли налито.

Где век от века пейзаж не изменится,
пятница ли, понедельник ли,
птица прозрачная с перышком перистым –
на остановке, в репейнике.

***

Притормози слегка, раскручивая глобус:
Вот – море, вот – река, полей кривой отрез,
Старухи едут в рай, набилися в автобус,
Водитель ждёт старух, кондуктор ждёт чудес.
Прекрасно и легко всё в этой мизансцене –
Их лица не видны, но пёстро от платков,
И выцвела давно вторая часть «Райцентра».
Старухи едут в рай – не очень далеко.
И он спешит туда – в засаленной спецовке,
С нехитрым барахлом на собственном горбу,
Оставь его стоять на этой остановке,
Он постоит, ему не скучно одному.
Он постоит ещё, его надолго хватит,
Пусть держится на нём вот этот край небес,
Пришли за ним потом воздушный самокатик
Или заставь идти на лыжах через лес.

***

Был пруд, и в том пруду – полно амфибий.
– О, греки амфибрахий и пиррихий! –
Загон, в котором я пасу гусей,
стрижи, что разгромили партитуру,
клянусь тобой, моя литература,
мне никаких не надо новостей!
Вот облако зависло мягкой глыбой,
есть фото: баба Маня чистит рыбу –
пузатых задремавших карасей.
Есть фото, на котором живы все.
Они как будто дымом или фоном,
слегка не в фокусе или совсем за домом,
уехали на рынок, за грибами,
ушли на озеро или стоят за баней,
и всё же – где-то рядом с бабой Маней,
за ситцевой худой её спиной.
Оглянется – они стоят стеной.
И крутится щенок, как заводной,
и радуется, и немного трусит,
и котики, схороненные Люсей,
и котики, схороненные мной…

И крутит колесо своё фортуна,
и латы карасей лежат, латунны.
Мне больше даже нечего просить!
За этот вдох или за этот выдох.
– О, греки амфибрахий и пиррихий! –
За то, что я могу их воскресить.

***

Хорошо да сладко спати, не бояся мёртвых,
в старом бабкином халате, на грудях протёртом.
Никого не узнавати, точно знать, наверно,
в новом матушкином платье, что твоя царевна.
В одеяльце тонкой байки спать да спать укрывшись,
в тятькиной линялой майке с лопнувшей подмышкой.
Хорошо да сладко спати, знать, что смерти нету,
пусть толпятся у кровати, согревают светом.
Но они кровать качают, одеялку тянут,
свет рассветный излучают, ждут, когда я встану.
Встану-встану, дорогие, наведу порядок –
прополоть приду могилок сумрачные грядки.
Вы теперь опять далече, оттого тиха я,
улыбнусь лишь, как замечу бабочку, жука ли.

***

Первый муж – Василий и второй – Василий,
Первый нелюбимый, а второй – ох, сильно!
Васька – окаянный, Вася – золотой,
Не донежил первый, помер и второй.
– Ноги-то не ходят, ты уж отнеси
Свечку на медовый Васе-Иваси.
Сунула бумажку и конфет дешёвых:
– Да не перепутай, это – за второго!
Царствия небесного Васе попроси!
Ходят почтальонши по святой Руси.
– Да не перепутай! – Ну уж, чай, не дура!
В первый раз как будто! Что ты, баба Шура!
– Тут тебе не почта, аккуратно надо,
Ну как перепутаешь, Люся, адресата!
И всю ночь бродила – чаю напилася:
«Ох, Васюта-милый! Ах, скотина-Вася!»

***

Птицы-синицы проворней куница,
умной куницы глупей голубица,
вот потому – только перья от птицы,
корка картонная с надписью «Пицца».
Нет, никому я, признаться, не верю,
выйдешь за дверь, только темень за дверью,
мокрое место от пойманной птицы
и от второй – только перья.
Шарик стеклянный, ларёк оловянный,
я – буратино твоя, деревянный,
сонно по синему снегу прошкрябаю,
дверь затворю – никому не открою.
Русь – рукавица, голица дырявая,
выглянешь в дырку – дымок над рекою.

ЛАДА ПУЗЫРЕВСКАЯ

ПАМЯТЬ СНЕГА ВСЁ ОСТРЕЕ

***

И стал декабрь над городом. В лотках
дымятся шашлыки, но чай – не греет.
Старухи в наспех связанных платках
торгуют всякой всячиною, ею
они кормиться будут до весны
и умирать – безропотно и просто,
не выдержав безмолвной белизны…
Страна в сугробах, мы ей не по росту.

Ей – запрягать и снова в дальний путь,
спасать Фому, не спасшего Ярёму.
Нам – на стекло узорчатое дуть
и пульс сверять по впадинам ярёмным,
где голову случилось приклонить,
а не случилось – так обнять и плакать.
Пусть шар земной за тоненькую нить
не удержать, так хоть стекло залапать.

Не нам стенать, что жизнь не удалась,
таким не одиноким в поле чистом –
здесь только снега безгранична власть
и снегирей, приравненных к путчистам.
Зима полгода, правила просты –
верь в свет в окошке, не в огни таможен
и просто чаще проверяй посты.
Ползи к своим, хоть трижды обморожен.

МАМА, СТОЙ!..

словно пуля, не долетевшая в молоко,
заблудилось в тумане утро среди осин.
сотня дней,
две-три пары сношенных мокасин –
а не близко ещё до осени, далеко.

но недолго зато до старости – три рывка:
для начала наш мальчик вырастет, башковит,
не возьмут его пусть ни бешенство, ни ковид,
и вся жизнь его будет чисто река-река.

пусть девчонка легко научится отпускать –
даже тех, кто был нужен больше воды в жару,
пусть сдирает со слов полезную кожуру
и настроит непрочных домиков из песка.

и останется малость, милость – на берегу
дом построить из камня прочный, цветы полить.
да, ещё бы вот эту женщину отмолить,
за которой я год за годом бегом бегу –

мама, стой!.. только юбка бьётся, как колокол,
хоровод отражений сводит меня с ума –
и уже не понять – где тень, где она сама.
словно пуля, не долетевшая в молоко.

НЕ НАШЕДШИЕ МОРЯ

а едва за порог – и опять на ходу замолчишь, как
наберёшь в рот воды, а она – не живая.
мой слепой поводырь,
иероглиф на солнце, мальчишка,
я иду за тобой, толпы верных врагов наживая.

что нам дом, мой хороший – соринка в глазу горизонта,
да предательский отблеск тревоги.
ты стоишь, огорошен – стирается линия фронта,
но врастают бинты в онемевшие руки и ноги.

что нам дымка над Обью – всего лишь седеющий ветер,
потускневшее эхо в опале, сиротская гордость
здесь к любому снадобью такой сладкой дури навертит,
что выходишь на шепот, на голос. недаром попали

в наши вещие песни – слова, из которых начало
молчаливые реки возьмут, не нашедшие моря.
до весны – хоть ты тресни, а смотришь – опять укачало:
не попасть нам, не целясь, в страну для не ищущих горя.

И ЗВЕНЯТ

слышишь, сердце стучит,
разбиваясь о колотый наст?
брось – молчи, не молчи,
наши пленные выдадут нас.

страх дожить до весны
пусть отпустит тебя, наконец,
в безымянные сны
королевства стеклянных сердец.

бог даётся с трудом
тем, кто песни поёт в нищете.
ты войдёшь в чей-то дом
и вернёшься на чьём-то щите.

дзинь – и жизнь истекла.
а попробуй-ка, врежь ей
замки,
если дом – из стекла.
берегись, береги казанки.

раз уж сеть – божий дар,
так молись, забывая про стиль.
ты чего ожидал,
ведь никто никого не простил.

мы бежим на ловца –
видишь, некому нас извинять.
вот и бьются сердца
и звенят, и звенят, и звенят.

А НЕ ТЫ ЛИ

зачем нам туда где стихия с утробным рёвом
останемся в городе страшном огромном клёвом

где снова и снова стеклянного дома житель
стучит в небеса – дружите со мной кружите
качает в потёмках хлипкую занавеску
пейзаж перед тем как очень похож на врезку

сомкнулись края открытого перелома
у левой ~~ключицы~~ парадной чужого дома

да всё не в порядке пока ещё не с мотором
ведь я только текст сухой эпилог в котором
вмещаешься от инфанта и до инфаркта
нет смысла кричать что мне не хватило фарта

вот разве что страха
сладко смотреться в пропасть
ведь что-нибудь подведет не мотор так лопасть

ты зря егоз*и*шь недолго уже осталось
лишь г*о*спода занозишь накопив на старость
покорности власти лести хмельного люда
прощён только самый дальний любивший люто

но кто сказал – рядом
рядом кто
а не ты ли?
встречаются взглядом ближние понят*ы*е

ОН БЫЛ ПОСЛЕДНИМ

Пишу тебе из будущей зимы –
теперь уж год, как ты не слышишь ветра,
твои рассветы глубже на два метра,
надеюсь, не темней. Молчит об этом
усталый некто из зеркальной тьмы –
похоже, что не знает…
Брат мой, где ты?..

А здесь – всё то же, стынет время «ч»
в пустынных парках, снегом не спасённых,
но сталкеры теперь уже вне зоны
и вне игры, и город полусонный
укачивает звёзды на плече,
а звёзды – холодны. И непреклонны.

Трамвайных рельсов меньше с каждым днём,
пути – короче, время – безмятежней,
в том смысле что, меняя гнев на нежность,
запуталось и претендует реже
на точный ход незагнанным конём.
И днём с огнём ты не найдёшь подснежник

в окрестных недорубленных лесах,
а жаль, хотя давно – никто не ищет.
Плодятся тени, заполняя ниши –
не амбразуры. Каждый первый – лишний,
и с каждым снегом тише голоса
ушедших без причины.
Тише, тише…

Блаженны те, кто твёрдо верит – нас-то
минует посвист зыбкой тишины.
Некрепко спят, объевшись белены,
адепты веры в полумеры, тьмы
шаги всё тише. Под окном тюрьмы
хрустят осколки звёздного балласта.

Шаги всё ближе…
Нет надёжней наста,
чем ветром опрокинутые сны.

СТРУЖКА

эти тени под глазами эти медленные руки
нам не сдать зиме экзамен
нас не взяли на поруки

и не в жилу божья помощь
мало в детстве нас пороли
позывные и пароли растеряли не упомнишь

скоро сказка станет басней
вечный вечер смотрит волком
с каждым выдохом опасней на снегу хрустящем колком

наши горы наши горки
мы застряли в средней школе
не пойму о чём ты что ли этот кофе слишком горький

обнимающим друг дружку
выжить бы не до блаженства
здесь мороз снимает стружку ради жести ради жеста

ветер бьётся взвыл и замер
как в предчувствии разлуки
эти тени под глазами эти медленные руки

побелеет дом наш дачный
память снега всё острее
круг вращается наждачный всё быстрее и быстрее

ЗНАЧИТ – ЖИВЫ

Ещё бывает больно, и возможно
от боли мы когда-нибудь ослепнем,
покинем позолоченные склепы
и наугад пойдём по бездорожью.

и будет серый предрассветный пепел
казаться снегом путникам незрячим.
без примесей и смесей, наудачу,
на ощупь – мы его покрасим белым.

научимся не верить предсказаньям,
любить не то, что есть, а то, что любим,
и верить в Бога, потому что – люди,
и верить в то, что только что сказали.

Поводырям не доверяясь лживым,
мы выбираем путь, уже – не цели,
не цепи, не дворцы, не карусели…
Ещё бывает больно. Значит – живы.

ВЯЧЕСЛАВ КАРИЖИНСКИЙ

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА РАЯ

ЭФИЛИО

В поиске истины
больше намного страха,
чем любопытства.

Слеплены боги
с царей и детей
неумелыми богомазами,
выдающими аналогию
за изобретение.

Наркоманская ломка жизни
не даёт нам понять,
что любое благо –
тень несчастья,
любое блаженство
порождено нуждой и лишением.

Люди те же машины,
обременённые болью,
застрявшие в паутине лжи,
в царстве возвышающего обмана,
страусы, зарывшие головы в песок,
стоящие зябкими ногами
во тьме низких истин.

Молекула ДНК.
Существование.
Нет другого врага.

И ошибка выжившего в том,
что он хочет излечить жизнь от зла,
не понимая, что жизнь и есть зло.
Всякий раз преодолевая невзгоды,
он лишь повышает планки
и ставки нового зла.

Святым может быть
лишь то, чего нет.
Как нет отчаянного
племени Хайты,
как нет Бога,
как нет Ницше,

как не будет и нас самих
однажды…

БУКВЫ НА ЭКРАНЕ

В тумане пьяном – от вина ль, от слёз? –
плывут цветные тени
чёрно-белых грёз:
миров обманчивых больные очертанья
и пройденных дорог плетенья.
Забытых лиц немые изваянья,
как автострад ночные метеоры,
врываясь в окна опустевших комнат,
пронзают нежилой души просторы,
холодные и тёмные просторы,
да шепчут, угасая, полусонно
людей, давно ушедших, имена,
и в каждом имени – вина.
…и режет мне глаза туман вины негласной.

Печальная красотка записная
вдруг проплывёт бездушным манекеном
по улочке и дом свой променяет
на карамельный блеск чужих витрин.
Так очевиден выбор, что не зная,
мы делаем – дурманом, что по венам
ушедших и грядущих поколений
течёт, судьбой нещадной нас гоняет
по виражам напраслин и кручин
до белой пены, белого каленья.
Плывёт по улочкам полуночного ада
забытый в детстве сломанный журавлик,
растоптанный ботфортами кораблик
из Александровского сада…
…так беспощаден выбор, что не нами…

И множатся безлюдных комнат стаи,
а журавлей убитых косяки
плывут в закатном небе, не дыша,
крылами хладными как будто бы верстая
кровавой летописи том, и медяки
ложатся не спеша
наместо солнца и луны.
Мы все – лгуны,
предатели и воры –
опустошая годы и пространства,
несём с собою злые разговоры
и сказки о добре и постоянстве,
да только ржавчина затворов,
дрожащих на ветру, печальным стоном,
цепей дверных скрипением и звоном
припоминает наши имена
в ненастный час,
а наши времена
пустых притонов
скошенные двери,
как будто бы ещё во что-то веря,
поныне сторожат.
Во что ты веришь, даже не дыша? –
как призрак-пёс, что годы ждал кого-то,
встречая, провожая самолёты,
окаменел, но продолжал бежать…

Что мне сказать тебе, ушедший друг?
Глотай мои слова, как дым кальяна,
как терпкое, глумливое вино.
Смотри немое, чёрно-белое кино,
разбей свой шар хрустальный,
в котором лишь пейзажи новых вьюг.
Пусть старый сон не новизной разлук –
зальёт нас тёплым, матовым сияньем,
где мы, подобные античным изваяньям,
под небом мраморным лежим вдвоём безгласно,
на дне ладьи широкой и неспешно
плывём в туман беспамятной реки,
всевидящими взорами пронзая
по-зимнему неласковое солнце
периодом полураспада рая,
и цветом, точно ядовитый стронций.
И больше нет ни страха, ни соблазна,
лишь тёплое касание руки,
лишь грёзы чистые нетрепетно-немы.
…так, будто это вовсе и не мы…

…и режет мне глаза туман вины негласной –
хотелось бы красиво умереть,
но красоту, что набралась в ладонях,
как нищий милостыню, я не удержу…
Пусть больше нет ни страха, ни соблазна,
но тягостно сквозь память лет смотреть:
на старом фото пожелтевшем – молодой я,
на фоне выцветших дорог, где лён и джут
кладбищенских оград столетних.
А старость, старость – вот она! – в усталых сплетнях,
невидимо, но верно бьёт под дых,
глядит чужими лицами родных.
Изрезанные пикселями вереницы лиц
проглочены таймкодами вэб-камер –
отсутствия жестокий блиц
меж тем, кто был, и кто навеки замер,
окаменел и продолжал бежать
туда, где дни нетрепетно-немы,
…так беспощаден выбор, что не нами…
…так, будто это вовсе и не мы…

Никто, ничто нас больше не спасёт.
Увидел варвар, победил – и всё…
И всё!
А коды наших судеб
давно все расшифрованы
и рассекречены,
и распечатаны
рулонами –
гнилую рыбу и прокисшее вино
небрежно ими обернув,
пропойца-нищий медленно идёт
домой…

В тумане пьяном – от вина ль, от слёз? –
плывут цветные тени
чёрно-белых грёз:

миров обманчивых больные очертанья
и пройденных дорог плетенья…
А дальше – чёрный непролазный лес.
Окинув взором пустоту небес
и не найдя спасительной там силы,
пусть безымянной, непостижной силы,
которой я готов был уступить,
пожертвовав безверьем, я погиб…
А ты, мой друг, пока в беду не влип,
пока есть за кого дышать и жить,
забудь наш прошлый и напрасный век,
ненужных слов больные излиянья.

Ведь говорил с тобой не человек –
Не я, а только буквы на экране…

СИЛЬНЕЕ МЕНЯ

В мире, где щедростью платят за скучный досуг,
за продолжение старой иллюзии дружбы,
я позабыл, кто мне истинно враг или друг.
Все они временны, все они где-то снаружи
дома ли, сердца, – не любят, – плати, ни плати.
Видимо, даже двуличие знает пределы,
но до развилки нам будет ещё по пути
с песней и басней об общем и значимом деле.
Ложью наполнены каждое слово и взгляд –
так выживают, так любят и так кабалят.
В мире войны, где на каждой тропе западня,
должен быть кто-то храбрей и сильней меня.
Как им живётся без той безусловной любви,
той – материнской и отчей, как телу без боли,
ночью ли мёртвой с портретом своим визави,
днём ли пустым в одинокой, холодной юдоли?
Я не привык к одинокости этой, увы,
и не сдружился с толпой криворотых паяцев,
но научился красиво глаголить, как вы,
больше терпеть и удачнее вас притворяться.
Святы лишь золото, злоба, коварство и страх.
Песни иные погибли на вольных ветрах.
Чтобы не сгинуть, терпя это день изо дня,
мне нужен кто-то добрей и сильней меня.
Коли не помнят, – подавно не смогут забыть,
голову пряча, как водится, под одеяло.
Если не любят, желая любимыми быть,
значит, и вовсе меж ними любви не бывало.
Мне говорят: «Не надейся на чудо в миру,
стань чудом сам – и услышишь дыхание рая».
Только в зерцале увидев себя поутру,
я понимаю – чудес на земле не бывает.
Будни войны, где на каждой тропе западня,
претерпевает, нетронутой душу храня,
кто-то храбрее,
кто-то добрее,
кто-то намного сильнее и лучше меня…

НЕЗАМЕНИМЫЕ

Вымрут поклонники Цоя и Летова.
Полки наполнятся новыми книгами.
Круговорота бесславного этого
Не избежать, и забвенья веригами
Схвачены будут герои грядущие:
Блогеры, коучи, телеведущие.
Новая выйдет на площадь шпана –
Ныне и присно бессмертна она.

Помнят и Пушкина и Достоевского
Не потому, что их слог совершеннее,
А потому, что двора королевского
Им было дадено благословение.
Сделаны ставки – истории книжница
И бытием, и забвением пишется.
Важно назначить один силуэт,
А остальных – не бывало и нет.

Сколько страниц сожжено и затоптано.
Сколько святых не отмечено нимбами.
Носят на сердце клеймо «отработано»
Те, кто для нас были незаменимыми.
Все мы вторичны, и каждый – вселенная,
Оскюморонная, неполноценная.
Незаменима одна пустота:
Сцена пустая, пустые места.

НЕБО МЁРТВЫХ ДЕЛЬФИНОВ

Снова небо до срока свинцом налилось,
за холодным туманом зовущая бездна
чужих городов,
приютивших мои мечты
до того, как я разучился мечтать;
и стрелою летит через бездну
старый поезд, неся запоздалую весть
от меня тем, кого я так и не встретил,
никогда не узнал
и не спас.

Мудрость синих китов, уходящих за ночью,
холодна, непреклонна, как зимний рассвет,
и свинцовые дни на свинцовых подушках
проплывают по небу
силуэтами мёртвых дельфинов –
только горечь во рту поутру
говорит, что они были живы вчера,
что вчера миновало лет двадцать назад.

Первый снег проступил сединой до поры.
Я, как прежде, отчаян, мотив мой прекрасен,
как самоубийство,
как те незнакомцы в чужих городах.
И во снах наяву я, как прежде, смотрю
сквозь намокшие стёкла
на плывущие мимо ветви деревьев
под свинцовым заплаканным небом.

По ночам всё глазами брожу
по маршрутам былых каллиграфий
номеров, адресов в обветшалом блокноте,
срываю в ночи телефонную трубку,
заставая врасплох тишину.
Мне так хочется верить, что призрачный мир,
мной упущенный, был реальным.

Но погибель, как гневный софит
над сценой сорванного спектакля,
солнцем бьёт мне в глаза,
дистопической ржавой громадой
затеняет дома,
как решётка над головой,
застит небо, дробит на квадраты
мелодию лет,
и я забываю…

…забываю твой черты,
наши слёзы и поцелуи,
встречи в уютном кафе вечерами,
грустный голос Патрисии,
будто пророчивший «то будем мы»,
безумные книги и волшебство,
грустные аниме,
печальные песни юности
из девяностых и нулевых –
бегство от всех,
недолгая близость,
похмельное утро,
свинцовое небо,
полное спящих дельфинов,
новое расставание
навсегда.

Сон ли, виденье случайно
вдруг всколыхнёт
свинцовую пропасть забвенья,
как поезд, промчавшийся по степи,
ненадолго вздымает песчаные вихри;
и подняв телефонную трубку,
как станционный смотритель
заброшенного полустанка,
я промолчу: «Мой друг,
новостей больше нет,
в этом мире я больше не нужен».

Я скажу и забуду себя.

АЛЕКСАНДР ЩЕДРИНСКИЙ

САНТЕ
рассказ

Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши… (1 Ин. 1:9)

I.

Санте – это одна из тех тюрем, куда сбрасываются все самые мерзкие человеческие отходы Франции. Извращенцы, насильники, серийные убийцы – вы будете находить здесь этого добра столько, сколько сами пожелаете, и всё равно никогда не сможете провести окончательный учёт пороков человечества в этом каменном молчаливом кусочке южного Парижа.

Около двадцати лет тому назад мне по долгу службы доводилось ежедневно находиться рядом с такими людьми и узнавать про каждого из них то, что не знал ни один прокурор, ни один следователь и даже сокамерник. Каждый день через меня проходили все самые ужасные преступления, все самые отвратные их подробности, услышав о которых обычный человек не раздумывая насмерть вцепился бы в глотку своему собеседнику. А я был вынужден со смиренным спокойствием выслушивать рассказы или какого-то педофила, месяцами выслеживавшего школьниц начальных классов, а потом в заброшенном подвале до смерти измывавшегося над ними, или какого-то психа, кромсавшего на кусочки своих жертв, при этом оставляя себе на память прядь их волос, или кого-нибудь ещё из этого множества других подобных полулюдей, которых, окажись они на свободе, сразу при выходе из тюремного здания наверняка ждали или пуля, или нож. Но, к их счастью, они никогда бы отсюда не вышли. Государство, не способное озаботиться проблемами людей честных, довольно тщательно занималось вопросами особо опасных преступников, обеспечивая им не слишком длительное ожидание в промежуток между судом и гильотиной.

Так и проходили в то время мои дни – в компании смертников, которых я должен был выслушивать и, как заводной механизм, постоянно вторить слова первого послания Иоанна о всепрощении Господнем, в которые и сам-то не особо верил. Да, господа, я был тюремным священником, хотя, признаться честно, ощущал себя скорее адвокатом дьявола.

В один из тех далёких вечеров я находился в кабинете коменданта тюрьмы Клода Фуке. Это был невысокий плотный мужчина лет сорока пяти с игривыми, смеющимися, словно детскими глазами. Лет двадцать пять тому назад, в самом начале его комендантской карьеры, обманчивая безобидность не одному тюремщику стоила своего места, когда те, ошибочно делая вывод об этом человеке, как о туповатом бесхребетном сынке какого-то богатенького бюрократа, пытались всячески продемонстрировать ему своё пренебрежительно-ироничное отношение.

На самом же деле отец Фуке был простым фабричным работником. Хотя, стоит признаться, Клоду это не помешало получить неплохое образование, которое, вдобавок к природному интеллекту, делало его исключительно интересным собеседником. Поэтому, несмотря на то, что Клод принадлежал к кальвинистской церкви, мне, в целом, доставляло удовольствие появляться у него в кабинете.

В этот раз Фуке хотя и встретил меня, как всегда, искристо улыбаясь и похлопывая по плечу, что-то в его взгляде выдавало некий утаённый огонёк. Когда я вошёл, он, живо соскочив с письменного стола, на котором любил сидеть почему-то больше, чем в кресле, поприветствовал меня и, ещё более сузив свои и до того маленькие лукавые глазки, заговорил:

– Слышал, падре? Среди свежего мяса будет тебе на пару деньков родная душа.

– Ты о чём? – недоумевая, спросил я.

– Да о том, что припрут сюда какого-то орлеанского священника, изнасиловавшего, а потом зверски убившего девчонку из одной тамошней школы. – Фуке, улыбаясь, пристально посмотрел на меня, словно выжидая моей реакции. Судя по всему, то, что выразило моё лицо, его удовлетворило, и он продолжил: –

Говорят, что её к похоронам с трудом по частям собрали. А папаша… Тот, похоже, и вовсе свихнулся: на опознании стал кричать, что он антиквар, и требовать, чтобы ему срочно принесли его клей, поскольку девочку ещё можно спасти; что детали отрезаны довольно ровно и их будет легко сложить воедино, как мозаику… – Фуке снова бросил на меня резкий лукавый взгляд – в его глазах читалось явное желание, чтобы я что-то сказал.

– Как я понимаю, суд уже завершился? – сдержанно ответил я, пытаясь не ввязываться с ним в его игры (несмотря на то, что Клод был хорошим малым, и, как я сказал, меня не особо тревожили его религиозные взгляды, но, тем не менее, в разговорах со мной ему нравилось упоминать какие-то моменты, словно бы указывающие разницу между «ними» и «нами» – и, естественно, не в «нашу» пользу. Клод был расстроен моим ответом, и потому, поняв, что очередная попытка не удалась, ответил уже с толикой скуки:

– Да, ещё позавчера. Этого попа приговорили к трём смертным казням. Эх, чудак же Пьер. Вечно со своими бестолковыми садистскими решениями. Прямо вижу, с какой извращённой радостью он зачитывал «…к трём смертным казням».

– А его что, судили в Париже?

– Ну так естественно! Это же дело… что-то вроде особо зверского. Особо зверскому попу – особо зверский Пьер, – Фуке бесшумно усмехнулся.

– А родители присутствовали?

– Ну, мать умерла года два назад от туберкулёза. А отец… Это был сущий ад. Во время процесса он всё кричал сидящим в зале, что они сволочи – нарочно зря теряют время на суд, чтобы только не принести ему клей. В конце концов, когда оглашали приговор, он обвинил всех в пособничестве убийству и кинулся на Пьера. Пристав надел на него наручники, но это не особо помогло – он всё не унимался, пытаясь зубами отдирать засохший клей от стула и приговаривая что вроде: «Ничего, моя маленькая, ничего… Они не хотят принести мне мой клей – что ж, мы возьмём их. Ничего-ничего, я его расплавлю и помогу тебе. И у меня снова будет доченька. И у нас снова всё будет хорошо, правда?». Говорят, зрелище было просто ужасающим. Женщины в зале, наблюдавшие всё это, рыдали в три ручья, а мужчины сидели, склонив головы, в полном молчании. Когда же зал стал расходиться, папаша снова сорвался: обозвал всех бездушными тварями; метался, требовал, умолял, чтобы, если им так сложно принести то, что он просит, так пусть хотя бы помогут отдирать клей от стульев. Он ещё долго распинался, пока, наконец, не было принято решение вызвать санитаров и отправить его в Бисетр. – Клод замолчал на несколько секунд. – Да, вот такая вот предыстория.

– Ну а что с этим священником? Он что-либо говорил?

– Наотрез отказался отвечать на все вопросы. Говорил лишь, что никого не убивал и всё твердил про какую-то страшную тайну.

– То есть как это, не убивал? Его что, взяли не на месте преступления?

– То-то и оно, что нет. Просто когда в жандармерию просочилась какая-то информация от свидетелей (какая точно – не знаю), они очень быстро вышли на этого священника и при обыске нашли у него под рясой воротничок убитой девочки… В общем, вполне наша клиентура.

Мы перебросились с Фуке ещё несколькими фразами – о последних событиях во Франции, в частности, о процессе Бастьена-Тири[1] и циничных словах де Голля о том, что государству нужны такие мученики, после чего я отправился в свою келью.

Честно – меня ничуть не поразила эта история. И дело не только в том, что в виду моей деятельности меня сложно удивить вообще чем-либо подобным: чего скрывать – вам наверняка известно и о случаях педофилии, и о гомосексуализме среди католических священников. Я бы не удивился, если бы мне даже сказали, что какой-то благочестивый падре не смог устоять перед «аппетитными формами» родной сестры… Да и само убийство в этом плане у меня также не вызвало никакого удивления. Всё логично: преступник изнасиловал девочку, после чего решил просто замести следы. А что касается настолько жестокого способа, то, пожалуй, для такой экстравагантной личности, как священник-педофил-убийца, расчленёнка также выглядела вполне закономерно.

Так что я не могу сказать, что был поражен – обыкновенные будни этой выгребной ямы порока.

Единственное, что меня заинтересовало во всём этом, так это слова этого священника о какой-то тайне. Нет, я, конечно, понимал, что это мог быть бред сумасшедшего маньяка или, несмотря на совершённое, попытка уйти на казнь красиво – в качестве агнца Божьего. Но даже принимая во внимание все эти вполне вероятные предположения, я словил себя на мысли, что в первый раз за множество лет сам хотел зайти к кому-либо в камеру. А потому с нетерпением ждал следующего дня.

II.

Стояло дождливое осеннее утро. Я едва проснулся, когда из своей специально оборудованной кельи услышал звук открывающихся ворот. Я подошёл к окну и увидел, что, как и обещал Фуке, прибыл автобус с новой партией заключённых.

Если вам когда-то доводилось жить либо в южном, либо в центральном Париже, вы наверняка не раз видели этот словно небрежно вытесанный кусок ржавчины на колёсах: качающийся из стороны в сторону как старая повозка, с облупившейся зелёной краской, из-за которой первая буква названия была безвозвратно утеряна, и вместо привычного «Здоровья» образовалось что-то философично неясное, словно предостерегающее каждого, кому попадётся на глаза эта надпись[2]. Возможно, по той причине, что довольно мало людей знало латынь, возможно, по какой-то другой, но, тем не менее, трава у подъезда к тюрьме всегда оставалась утрамбованной, а камеры никогда не чувствовали недостатка в посетителях.

Я ещё немного постоял у окна, сонно хлопая глазами, затем быстро умылся, побрился, одел рясу и направился к центральному въезду.

Там, как и следовало ожидать, выстроилась толпа заключённых, которые располагались вдоль тюремной уличной сетки, отделявшей новоприбывших от обыденных постояльцев. Они шли, подталкиваемые дубинками надзирателей, а кроме того, друг другом, отчего на лице некоторых выражались то внутренняя агрессия, то боль. Первое испытывали те, кто до сих пор не могли смириться, что их, таких важных птиц, взяли за задницу и лишили свободы. Второе же испытывало подавляющее большинство, поскольку состояло из самых обыденных представителей человеческого рода.

Я стоял и прикидывал: кто же из этих отборных отходов представляет собой то, о ком мне рассказывал Клод. Возможно, этот лысоватый толстый коротышка в очках, который уже изрядно успел вспотеть за относительно недолгий период прохождения заключённых? А может, этот здоровый негр с золотыми зубами, у которого вряд ли будут особые проблемы здесь, среди остальных, ввиду своего массивного вида – если такого мамонта ты в итоге и завалишь, то перед этим однозначно не оберёшься хлопот со здоровьем, а потому вполне можно было предположить, что никто не захочет искать проблем на свою голову.

Однако сколько бы я ни перебирал варианты в голове, кто именно представляет священника-садиста, признаюсь честно – тогда я догадаться об этом так и не смог. В итоге Жеан Сорбель, прибывший в Санте в октябре 1963 года, совсем не бросался в глаза как потенциальный убийца. Впервые увидел я его многим позже, когда пришлось делать свой тюремный обход с очередным внушением Иоаннова прощения.

III.

Сам обход происходил довольно обыденно – я ходил в компании двух надзирателей из камеры в камеру, зачитывал им строки из Библии, выслушивал, если нужно было, говорил что-нибудь подбадривающее сам, если нужно было, и наконец проваливал дальше. Естественно, тому мусору, который здесь оказывался, было по большому счёту плевать, что я говорю, настолько же, насколько и мне. Единственное, о чём я думал и за чем наблюдал, – это чтобы какой-то очередной уродец не вцепился мне в шею. Пускай рядом были полицейские, однако меня не грела возможность даже на какие-то секунды оказаться в лапах ублюдка, пока мои спасители его скрутят и дадут дубинкой по почке.

Словом, этот день был такой же, каким бывает обычно день приезда заключённых. Вообще у священника немного работы. Самые основные два момента – это, собственно, сам приезд новой партии этих товарищей, а также ночь перед казнью. Тогда, признаюсь, с некоторых однозначно спадали все маски, когда они ощущали безостановочное дыхание смерти у своего лица. Если бы была их воля, они бы мечтали, чтобы я проводил в их камере всю ночь, чтобы они могли прижаться ко мне, как к мамочке, которая всю ночь будет их утешать и что-то толковать о спасении и вечной жизни. Однако у священника не было возможности уделять время кому-то одному. Здесь ты, равно как и врачи-психиатры в психбольнице, принадлежишь всем сразу и в то же время никому – ты лишь проносишься, как бабочка, по камерам и отправляешься дальше.

Так вот в этот раз, когда преступников лишь привезли, они, как часто и бывает, ещё были полны бравады, агрессивности и всяких пошлых насмешек. Так, один спросил меня, давно ли я дрочил маленьким мальчикам, а другой говорил, что наверняка засаживал моей мамаше и называл меня «сынок». В конце концов, когда из года в год и из месяца в месяц видишь одно и то же, это перестаёт тебя сколько-нибудь трогать, и ты смотришь на всё лишь с изрядной толикой скуки. Я, как и положено, прочитал им библейские стихи, спросил, желают ли они исповедаться – те не захотели. А потому из каждой камеры я забирал Библию, свои остальные принадлежности и уходил дальше. Да, из каждой. Так было, пока я не дошёл до камеры номер 14. Там я впервые и познакомился с ним.

IV.

– Благословит вас Господь, – заходя, сказал я по привычке как бы в стену.

– «Благословен будь Господь, скала моя, обучающий мои руки войне и мои пальцы – битве», – неожиданно услышал я ответ, отчего мою утреннюю сонливость как рукой сняло. Сначала я подумал, что мне послышалось. Я спросил: «Что?». Он повторил.

– Я вижу, вы разбираетесь в Писании. Стоит полагать, вы тот самый священник, – с некоторой ухмылкой осведомился я и лишь как бы сейчас заметил человека, который передо мной сидел. К моему удивлению, это не был ни какой-то потный толстяк, ни старик с трясущимися артритовыми руками. Это был… мальчик. По-другому я назвать его не мог. На вид года 21-го, ювенильного телосложения, со впалыми щеками и крайне утомлёнными глазами. Как понял я позже, подобный взгляд был совершенно не следствием усталости либо недоедания, а некоторого духовного томления, если можно так сказать.

– Да, я священник, – без энтузиазма ответил он мне. Однако, к сожалению, само по себе это ничего не значит. Особенно здесь.

– Вправду? – продолжал ухмыляться я. – Почему же? Мы с вами тут коллеги, фактически родственные души. Почему бы не считать вас кем-то особенным?

– Простите, падре, но мне не до шуток. Я знаю, что меня ждёт. И я знаю, что я принял на себя. А потому делайте то, что хотели, и уходите.

– И вы совсем не хотите поговорить?

– Нет.

– Ну что ж, ладно. Перейдём к процедуре. Хотите ли вы в чём-то мне исповедаться?

И тут он на несколько мгновений задумался. Потом встал с койки, и движение оказалось каким-то резким – таким, что надзиратели дёрнулись в его сторону. Но он тут же остановился, после чего те поняли, что это была ложная тревога. Он постоял ещё несколько секунд и стал маленькими шажками расхаживать вдоль столь же маленькой камеры:

– Я не знаю, падре, заняли ли вы свой пост по призванию, по настоянию родственников либо по желанию поправить финансовое положение, – сказал он, после чего сглотнул слюну. – Я не знаю, клялись ли вы не нарушать заповедей и если клялись, то верили ли сами в свои клятвы. Я не знаю этого так же, как не знаю, помните ли вы 1-е послание Иоанна и сможете ли зачитать его наизусть без Евангелия. Но я знаю, что такое круглосуточные молитвы, я знаю, что такое голодные обмороки во время поста, я знаю, каково это – с трудом стоять на ногах при чтении литургии, когда в это время твоё сердце переполняется чем-то таким, что способно заставить тебя припасть к ногам Спасителя и рыдать до последней оставшейся слезы. – Он снова запнулся. Однако протолкнув ком в горле, продолжил: – Это сильнее любой клятвы. Поверьте, я знаю. Я никогда не давал клятв, и сейчас не стану. Но я не убивал, падре. Я знаю, что дни мои сочтены и что через несколько дней я отправлюсь на гильотину. Вот и всё, пожалуй, из того, что я знаю, и что может иметь для вас интерес в этих стенах. Мне не в чем вам исповедоваться, кроме как, возможно, лишь в том, что здесь у меня останется крайне мало времени для молитвы и в том, что я знаю страшную тайну, которую никому не смогу открыть. Простите, больше мне не в чем каяться. Ни перед вами, ни перед Богом.

Теперь, в свою очередь, настала моя пора задуматься. Когда-то секунды моего размышления прошли, я сказал:

– Вы уверены?

– Да, я уверен. Уходите.

Я собрал свои вещи и вышел.

V.

Что же! Что я мог сказать после этого знакомства? Увидел ли я что-то особенное в этом человеке – не лишь в контексте чего-то преступного, но и в целом отрицательного либо положительного? Пожалуй, нет. Он мне представился самым обычным молодым человеком, имеющим некоторые психические отклонения ввиду своей рьяной веры. Но… не был ли я сам таким в его годы? Все эти посты, молитвы, литургии, слёзы покаяния… Всё это было знакомо мне не понаслышке. Весь мир тогда казался светлее, а чувства представлялись намного острее, осуждая и протестуя против любой несправедливости в этом мире. Да, всё это было. Но разве достаточно всего этого, чтобы назвать человека убийцей?

Я лёг на кровать и стал прокручивать все детали этой встречи – его глаза, его спокойный охрипший от холода голос, его хождение взад-вперёд по камере. Я лежал и думал, что это был один из самых обычных молодых священников, которых я видел. Но… Остальные священники обычно не имели особо бредовых мыслей, а этот, как и на процессе, продолжал твердить про какую-то тайну. Но ведь в криминальном деле всё было чётко определено. Однако что есть само правосудие в нашей стране? Так, раздираемый дилеммой по типу «Быть или не быть?», я и уснул, бормоча себе под нос что-то невнятное.

VI.

Когда следующим утром я проснулся, в голове у меня в первую очередь всплыл вчерашний разговор с привезённым священником. Я решил сразу отправиться в кабинет Клода, чтобы разузнать что-нибудь ещё по этому поводу.

Когда я зашёл, сложилось впечатление, что он меня уже ждал или, во всяком случае, предполагал, что я заинтересуюсь этим делом более подробно, нежели в первый раз.

– Ну что, узы Господа нашего Иисуса Христа взяли верх? – ухмыльнулся он. Мне не понравилось, что в данном случае он победил, опередив меня на ход вперёд, но я решил проглотить эту деталь, поскольку мой интерес был значительно выше этого междусобойчика.

– Да-да, – сказал я, хорошо. Ты был прав. Расскажи о нём что-нибудь, о чём не сказал вчера.

– Нууу… – протянул Клод. – Если ты просишь…

– Клод, я прошу тебя, прекрати.

– Ладно-ладно, не злись. А что говорить? Парень совсем молодой. Ему двадцать один год, родом из западной Франции, родился в семье крестьян. Когда ему было тринадцать, отец умер, а мать переехала с ним в Париж, где открыла свою лавку по домашней выпечке. В шестнадцать лет поступил в семинарию, которую окончил с отличием. Сразу после окончания был направлен служить в церковь. Собственно, до сегодняшнего дня он успел прослужить там всего полтора года… Вкратце как-то так…

– Стоп. И всё? Никаких особенностей, детских травм, проявлений неадекватности?

– Да нет… Но ты же знаешь этих молодых. Сегодня они тебе улыбаются, а завтра на революциях режут глотки своим братьям. – Он снова ухмыльнулся.

– Нет, ты не понимаешь… Он священник. Более того… Я разговаривал с ним вчера… Он не похож на того, кто идёт туда за деньгами, статусом или чем-то таким. Он этот… идейный, словом.

Клод снова ухмыльнулся:

– Я так и знал! Что, почуял-таки родную душу? Сам-то таким же был – молодым, горячим. Это сейчас обрюзг, глазки потухли, а работа твоя вызывает у тебя только скуку и раздражение. Я ведь помню, когда ты впервые попал к нам, как ты горел тем, чтобы действительно спасать эти больные души.

– Не в этом дело. Точнее… в этом тоже… Но… Я общался со многими священниками. Понимаешь, я их насквозь вижу. Можно долго говорить о морали и всём таком. Но есть такие люди, для которых выше морали стоит Закон Божий, и они никогда через него не преступят. Так вот этот… А как, кстати, его зовут?..

Клод наклонился к столу, начал рыться в каких-то бумагах, потом извлёк оттуда печатный листок:

– Жеан… Жеан Сорбель. Ты смотри – почти как Жанна Д'арк. – Он снова рассмеялся.

– Ну ладно. Так вот, этот парень… Он верит букве Закона напрямую. Он ещё не научился подобно ватиканским чиновникам трактовать его и так и этак. Для него если написано «Не убий» – это означает «Не убий». Я видел это в его глазах. И дело даже не столько в его морали, повторюсь, сколько в его юношеском максимализме, который дословно следует Слову Бога.

– Да ладно. Что, никому крышу снести не может? У него же нашли вещь девочки! Он хранил её у себя под рясой. Ты понимаешь, что это значит? Он ходил с ней, молился с ней, принимал исповеди с ней. Он постоянно ходил с ней, как маньяк с трофеем.

– Кстати, а что за вещь-то?

– Отрезанный воротничок с платьица.

– Хм… Вот как…

– Ну так вот подумай сам. Девочка была изнасилована, а он взял себе кусочек воротника платья. Тебе не кажется, что это очень сексуальный мотив?

– Я не знаю… Просто я думаю, что это всё не то, чем кажется.

– Небось ты решил податься у нас в детективы? Или ты уже перестал верить квалификации Пьера?

– Нет, но…

– Послушай, друг. Это Франция. И здесь каждый выполняет свою функцию. Если ты священник – занимайся своим делом. Правосудие свершилось. Пьер выполнил своё дело. Процесс был сложный. Много деталей было изучено, они шерстили всё что могли – окружающую местность, расспрашивали людей. Неужели ты думаешь, что никому ничего не показалось сомнительным, а вот ты один, которому показалось, прав? Я не хочу тебя обижать, но здесь налицо, скажем так, профессиональная солидарность.

Ну вот, он снова уколол меня, негласно проведя линию между «нами» и «ними», где мы – это всегда коллективное зло, а они – индивидуальное добро.

– Ладно, я не хочу с тобой спорить. Пускай так. Но я хотел бы с ним ещё раз поговорить.

– Ты знаешь, что ты сможешь сделать это за день до казни, ранее не полагается.

– Неужели ты не можешь сделать для меня такую мелочь в память о том, что мы столько лет друг друга знаем?

– Именно в память об этом я этого не сделаю. Я не хочу, чтобы ты навредил хоть чему-то, а кроме того, самому себе. Поэтому мой ответ – нет, и это окончательно.

VII.

Я вышел из кабинета Клода злым. Не помню, когда в последний раз я был настолько зол, но в тот момент меня буквально трясло от негодования. Впервые за последнее время я решил пойти выпить.

Я спустился, предъявил охраннику пропуск и отправился в близлежащий бар. Я заказал себе стакан виски со льдом и снова задумался: «Допустим, ему снесло крышу… Ладно… Ладно… Но почему он носил этот чёртов воротник с собой? Почему не спрятал где-то дома? Почему не решил оставить место службы? Ведь было же очевидно, что опасно находиться на публичной должности в том месте, где произошло убийство…». Мысли неслись одна за другой, но чем больше шло времени, тем более они становились путаными. В итоге я решил, что есть вещи, которые сильнее нас, а потому дал бармену деньги и, ёжась от холода, вышел на улицу. Когда я подошёл к Санте, на часах уже было одиннадцать вечера. Я снова предъявил пропуск, вошёл, поднялся к себе и завалился мёртвым сном.

VIII.

Я до сих пор помню свой первый день казни и первого казнённого. Это был сорокалетний мужик, зарезавший свою жену и её любовника, когда застал их вместе. Когда его голова полетела по полу, я думал, что потеряю сознание, но устоял.

С тех пор утекло много воды. А потому каждое утро дня казни ничем для меня не отличалось от всех других. Я не испытывал ни какого-то подспудного червячка в животе, как было ранее, я не чувствовал паники, не чувствовал даже особого сочувствия.

Но в этот день что-то изменилось. И хотя у меня не было чувства страха или тревоги, но у меня была надежда. Не знаю, почему, но я до последнего надеялся, что произойдёт либо нечто, как было с Достоевским, когда перед казнью прискакал гонец и произнёс текст царя о помиловании; либо что, пока я здесь сижу, суд активно пересматривал дело и всё закончится хотя бы пожизненным сроком. О, Господи, где же ты ещё более ярко проявляешься, если не в нашей человеческой надежде – слепой, глупой и, тем не менее, такой светлой?!.

Однако этот день ещё особенно трепетным для меня был потому, что я имел, наконец, возможность снова поговорить с Жеаном. Да, теперь я называл его не «тот священник», а по имени. Это придавало какой-то близости к этому человеку, которую я стал испытывать за это время.

Я зашёл к нему в камеру:

– Как вы?

– Как обычно. В Евангелии ведь говорится – кто не вкусит Царствия Божьего на земле, не вкусит его и на Небе. Поскольку я уже давно своими мыслями живу с Богом, то этот день ничего не решает – я просто перейду к Нему навечно. Рано или поздно это должно было произойти, вам ли не знать.

– Да, но… Вы ведь могли пожить, спасти ещё столько душ. Неужели вам совсем не жаль, что этого не случится?

– Я считаю, что Промысел Божий перекрывает любую случайность. И если Богу угодно, чтобы сегодня меня на Земле не стало, то наверняка он сможет подобрать мне достойную замену на моей должности.

Этот парень был непрошибаемым. Я удивлялся, как в его возрасте ему удавалось сохранить такое спокойствие перед лицом смерти. Мне многое доводилось видеть – кто-то плакал, кто-то умолял, кто-то даже обделывался. Но такая ситуация, когда человек до конца оставался спокойным, признаюсь, была очень редка. Возможно, это потому, что лишь человек с чистой душой может понимать, что в смерти нет ничего страшного, а настоящие ублюдки боятся до самых ногтей, потому что знают, что их ждёт после смерти.

– И всё же, я хочу снова задать вопрос: не хотите ли вы в чём-то исповедоваться мне?

– Нет, не хочу. Вы можете уйти. Мне нужно побыть одному, помолиться.

– Хорошо, но… – уже на полпути я обернулся: – Знаете. Я верю вам. Верю, что вы невиновны. Но я хочу знать: что за тайна, которую вы скрыли от других? Расскажите мне, я очень хочу вам помочь. Мне кажется, что в этой тайне лежит ключ к вашей свободе. Поведайте мне – я ваш друг, поверьте.

Он посмотрел на меня и впервые за всё время улыбнулся:

– Падре, неужели вы думаете, что дело в том, кому я расскажу тайну? Для меня все люди равны. Я никого не боюсь, никого не осуждаю. И если я не рассказал эту тайну другим, то не потому, что они в чём-то хуже вас, но лишь потому, что эта тайна – тайна моей чести. Возможно, когда-то вы узнаете, в чём было дело. Но вы не узнаете этого от меня. Пожалуйста, оставьте меня.

– Очень жаль… Но, впрочем, как скажете. Благослови вас Господь.

IX.

Его вывели на плаху в ровно в 13:00. Он шёл, спокойно озираясь по сторонам, а со спины его зачем-то подталкивал конвойный. В этом совсем не было необходимости, поскольку было видно, что парень не медлит, а спокойным шагом идёт к ожидаемому.

Когда его подвели к гильотине, пристав зачитал приговор и спросил, есть ли у виновного последнее слово.

– «И к злодеям причтён был»[3], – сказал он спокойно, но довольно громко, чтобы можно было расслышать всем присутствующим.

Пристав спросил:

– Это всё?

– Да, это всё.

– Тогда именем Президента Франции вы приговариваетесь к трём смертным казням. Требуется привести приговор к исполнению немедленно.

Лезвие гильотины, до этого висевшее вверху дамокловым мечом наконец глухо рухнуло, и птицы взметнулись вверх.

X.

После описанных событий прошло две недели. Рано утром во вторник Клод срочно вызвал меня к себе в кабинет. Я, не понимая, в чём дело, по-быстрому оделся и, не успев побриться, отправился к нему. Зайдя в кабинет, я увидел, что на нём нет лица и он бледный расхаживает из стороны в сторону.

– Прости меня, Антуан… Я… я не знал.

– Да в чём дело? – изумился я?

– На, возьми, – и он протянул мне бумагу. Это была информация из местного отдела полиции. В ней среди прочего утверждалось, что Жеан Сорбель – невиновен.

– Что? – глухим голосом спросил я, оседая на стул.

– Прочти…

XI.

В сводке значилось, что вчера, в понедельник, в отделение полиции пришёл неадекватный молодой человек в рясе. Он сказал, что его зовут Кристиан Монье. Он сказал, что не хотел приходить, но «они» заставили его. Когда его спросили, кто «они», Кристиан ответил, что люди, живущие в его голове. Они заставили его прийти и рассказать всю правду, иначе обещали выбросить его из окна.

В итоге этот парень рассказал, что это он – убийца девочки, за которую казнили Жеана Сорбеля.

Он всё подробно рассказал.

Как оказалось, Кристиан Монье был психически больным молодым человеком, который пытался поступить в семинарию, однако получил отказ из-за своего фанатизма. Комиссия испугалась, что он является социально опасным, но в соответствующие органы не заявила – решила просто избавиться от него, отказав в поступлении.

Однако молодой человек купил себе рясу, воображая себя священником, и каждый вечер выходил на улицу, благословляя людей.

В тот вечер, когда была изнасилована девочка, Кристиан услышал от «людей в голове», что ему срочно нужно спасти юное создание от греха, что если она успеет вырасти, она очень много нагрешит и не сможет попасть на небо к Отцу.

Он увидел эту девочку, изнасиловал её, считая, что проводит очистительный ритуал, а после убил, таким образом отправив душу прямо на Небеса. Чтобы усилить спасение девочки, он отрезал у неё кусочек воротника, пришёл в церковь, где служил Жеан и обо всём рассказал. Кроме того, он дал ему воротничок, заклиная того молиться «о юном невинно убиенном дитяти».

С тех пор Жеан всегда носил этот воротничок у себя, непрестанно молясь о погибшей.

В это же время нашёлся свидетель, который сообщил, что видел в вечер убийства девочки священника, ходящего по улицам и благословляющего людей.

С этим Жеана и настигла полиция.

XII.

Я не стал говорить Клоду ни слова, а просто вышел с бумагой, как был. Я попросил у охранника сигарету и закурил.

«Вот оно как бывает – дело двух недель. Какие-то две недели. Выходит, цена человеческой жизни – две недели. Что ж, время порой более платёжеспособно, нежели сами деньги».

XIII.

Суд, рассматривавший дело Кристиана, признал его невменяемым, несмотря на активное сопротивление всех присутствующих. В итоге было принято решение отправить его в Бисетр.

У Папы Римского поднимали вопрос о том, чтобы причислить Жеана Сорбеля к лику святых, однако этот вопрос, утонув в бюрократии, так и остался нерешённым, а сам Папа сказал, что смерть какого-то случайного священника ещё не повод делать его святым.

В итоге единственное, что осталось в память о Жеане, – это табличка с его именем на воротах храма, где он служил, а также – в списке казней за 1963 год.

XIV.

Судьба же Кристиана оказалась довольно трагичной. Буквально спустя неделю после того, как его привезли в Бисетр, его тело нашли в подсобке с отрезанной и заново приклеенной головой. Создавалось впечатление, что работа была выполнена воистину антикварная. Во всяком случае, так говорили те, кто это видел. Убийца так и не был найден, потому что, на удивление, оказалось, что никто ничего слышал и ни о чём не знает в ту ночь, когда это произошло.

Это стало очередной тайной, которую старушка-Франция унесла с собой в могилу.

А *Сante* до сих пор продолжает встречать своих «посетителей», от которых и доныне нет отбоя. А загадочное «ante», изображённое на ржавом автобусе, так и продолжает вводить в глубокую задумчивость диванных любителей латыни.

---

[1] Жан-Мари Бастьен-Тири (1927-1963) – французский военный инженер, приговорённый к смертной казни за попытку покушения на Шарля де Голля и расстрелянный 11 марта 1963 г.

[2] ante *(лат.)* – прежде чем.

[3] Ис. 53:12.

ВИКТОРИЯ КОЛТУНОВА

В ВЫБОРЕ ТЕЛА
рассказ

По мокрому прибрежному песку медленно передвигались женские ноги. Белесоватая пена морской волны облизывала их и откатывалась назад. Это были ноги пожилой женщины, с косточками, венами. У колен полоскалась ткань низа платья из яркого красного шёлка. На талии платье было стянуто тонким кожаным ремешком, а выше оно обтягивало тело, выдавая слегка обвисшую грудь. Женщина была красива. Несмотря на старость, морщины, металлически поблескивающую седину длинных волос, слегка опухшие суставы пальцев рук. Тонкие черты её лица были соразмерны, глаза живо смотрели на свет с любопытством только входящего в мир человека.

ПЕРВАЯ

Она остановилась перед молодой парой, отдыхавшей в шезлонгах. Внимательно осмотрела девушку.

«Талия узкая, ноги длинные. Хотя могли бы и быть чуточку полнее. Грудь очень хороша. И пожалуй, это лучшее из лиц, что я видела сегодня. Да, лицо просто замечательное. Она мне подходит».

Женщина сделала глубокий вдох, выпрямилась и подняла к слепящему солнцу руки. Постояла так несколько секунд, затем слегка поднялась в воздух и бросилась всем телом на сидящую в шезлонге девушку. Та вздрогнула и издала еле слышный звук, словно пискнула мышь.

Её спутник удивлённо смотрел перед собой: только что он видел красивую женщину почтенного возраста, бредущую по кромке воды, и вдруг она исчезла. Наваждение, что ли? Он перевёл глаза на свою подругу. Та была бледна как мел.

За завтраком они наметили кучу дел на сегодня. На работе он должен подойти к шефу и попросить прибавку жалованья. Шеф точно даст, потому что недавно очень хвалил его работу. Новая компьютерная программа позволяла существенно сократить сроки производства деталей и дать внушительную прибыль. С работы он уйдёт на два часа раньше, якобы на консультацию в смежный НИИ, а на самом деле, чтобы сходить с ней в кафе, а потом провести приятный длинный вечер дома.

– Ты забыл про Торговый центр, – сказала она и рассмеялась. – Я даже не знаю, куда меня больше тянет, в кафе с тобой или в Торговый центр с его консультантами женского платья.

– Я буду твоим лучшим консультантом по женскому платью, – серьёзно сказал он.

В ожидании его с работы она занялась уборкой дома, которую всегда ненавидела, но сейчас исполняла с удовольствием. Много раз подходила к большому зеркалу в спальне, рассматривала себя, смеялась от радости. Ей нравились её длинные ноги, тонкая талия и лицо. Дивное лицо. Она была довольна.

В кафе она заказала ликёр Бейлис и Мохито. Есть не хотела ничего.

– Странно, ты раньше вообще не пила ликёры, просто не выносила. Ты всегда заказывала красное вино, креветки, а на десерт шоколадное мороженое с орехами, кофе-глясе. А сейчас…

– Я стала старше, милый, у меня появились другие предпочтения.

– Насколько старше, на полтора дня? – рассмеялся он.

– На 54 года, – сказала она и тоже рассмеялась.

В Торговым центре они ходили по стеклянным галереям, опоясывающим магазин, заглядывая в каждую витрину. Он старался запомнить звучные имена Роберто Кавалли, Том Форд, Вивьен Вествуд. Она рассказывала ему, чем они отличаются друг от друга, ему это было странно, ранее она не проявляла такой осведомленности в модных брендах, да и вообще была равнодушна к моде. Больше интересовалась компьютерными играми, гаджетами, автомобилями. Могла запросто отремонтировать двигатель их поношенной Тойоты и часами говорить о своей мечте – Додже. В галерее они купили флакон «Мон Герлен»

от Герлен. Потом ещё «Поэму» Ланком. Пробник. Он начинал подсчитывать в уме траты и остатки денег на карте. Потом зашли в магазин готового платья и она выбрала себе несколько. Он просил показаться во время примерки, она ответила, что покажет дома. Он удивился такой авторитарности, на неё это было не похоже.

Дома они поужинали, и он попросил показать ему платья на ней, ему было интересно, на что пошли такие деньги.

Она с удовольствием побежала в спальню, было слышно, как движется по полу мебель. Наверное, отодвигает кресло перед зеркалом, чтобы увидеть себя во весь рост. Она вышла в красном, шёлковом, оно было стянуто на талии поясом, красиво подчеркивало грудь. Низ его полоскался чуть ниже колена.

– Я хотела именно такое, красное, шёлковое, летящее, даже странно, что именно такое оказалось в магазине, – сказала она.

– А два других? Покажешь?

Она подняла в руке ворох синей и зелёной лёгкой ткани, но внезапно швырнула его на пол и бросилась обратно в спальню. Оттуда послышались рыдания.

Он застыл в растерянности. Такой чудесный вечер, он столько накупил ей красивых вещей, в чём дело? Ранее у неё не было таких дурных припадков. Он пытался открыть дверь в спальню, она была заперта. Он постоял какое-то время в недоумении. Подёргал дверь, пожал плечами и ушёл в кухню сварить себе кофе. Его любимая всегда казалась ему невозмутимым, спокойным, даже холодноватым человеком. На его памяти она никогда не плакала… хотя был один раз, когда они опоздали на самолёт, и пришлось перенести отлёт на два дня, пропавшие из путёвки.

Он отрезал себе к кофе кусочек булочки, намазал маслом.

В кухню вошла она. Заплаканная.

Оперлась спиной о буфет. Подбородок её вздрагивал. Он вопросительно смотрел на неё, не расспрашивая, чтоб не потакать истерикам.

– Зачем мы это сделали? Мы убили её! – сказала она.

– Кого?

– Твою маму. Она могла бы ещё жить и жить!

– Что ты несёшь? – он нервно посмотрел на неё. – У неё был рак, она была обречена!

– У неё был шанс! Операция, её брали к себе израильские врачи, отделение, специализированное именно на этом виде рака. Почему ты не дал ей этот шанс?

– Но ты же сама сказала, не надо этого делать, операция только продлит её мучения! Сама же первая сказала, не говори ей, что ты получил премию, что у тебя есть деньги, ты, ты это сказала, а не я!

– Но кто я ей? Чужой человек, а ты сын, ты обязан был настоять, ты ударить меня должен был за такие слова, избить, а не слушать!!! Мне легче было бы сейчас, если б ты тогда меня избил, но настоял на своём! Почему ты меня послушал, почему?

– Оставь, дело в прошлом, мы ничего не изменим, не рви мне сердце. Ты думаешь, мне было легко?

Она замолчала, глядя в пол. У неё снова потекли слёзы.

– Я не могу… не могу… её лицо, глаза, когда мы уходили… ты знаешь, ведь она поняла… она всё понимала… как мне жить теперь?

Он подошёл к ней, взял её руки в свои, стал целовать её пальцы.

– Нам надо не думать об этом. Всё ушло, всё в прошлом, ничего не вернуть… ничего не исправить… надо просто жить дальше.

– Не исправить… как больно именно это осознавать. Что тогда ещё можно было что-то сделать, спасти её, а сейчас нельзя, вот эта мысль и жжёт… Мы поменяли её на проклятую кучу денег, будь они неладны, а что мы получили взамен? Деньги ушли, незаметно растаяли, а ведь она понимала, что мы просто продали её за стоимость лечения… Сколько стоило то лечение, за ту сумму мы её и продали. И она знала, но промолчала. Предпочла оставить деньги тебе, своему сыну, и ты их взял.

Да, она была права, он знал это. Несколько лет они поддерживали негласный договор – не говорить на тему причины смерти его матери. Оба понимали, что поступили подло, уговорив себя, что лечение всё равно не поможет, что незачем «выкидывать» на него такие деньги, лучше их потратить на самих себя, которым ещё жить и жить. Ну, насколько бы они продлили её жизнь? На пару лет? А ведь они сами ещё так молоды. И она понимала, мама, всё понимала, он видел по её глазам, по интонациям голоса. И жалела его. Не возразила.

Вот тот последний раз, когда он видел её… он стоял в дверях узенькой палаты на два человека, на правой койке никого не было, а на левой сидела мама. В дешёвом байковом халатике в мелкий цветочек, которые она всегда носила. Она смотрела на него и улыбалась. Смотрела с прощальной улыбкой, в ней были и любовь, и сожаление, и грусть, и такое понимание… и жертвенность…

Худенькая такая, а на ногах войлочные тапочки… Она улыбалась, чтобы поддержать его, давала знать, что не сердится, прощает, отпускает на волю…

На ней были совсем сношенные тапочки…

Но ведь не его была эта злая идея, она первая произнесла вслух: «Операция ей не поможет, только продлит её мучения». Вроде бы она сама печётся о матери, а ведь оба понимали, что это фальшь, им просто жалко денег. А теперь она кричит, обвиняет его в преступлении, словно бы он один виноват, это нечестно. Прошло пять лет, никто не поднимал эту тему, что это стало с ней? Прошлое не вернуть, ошибки не исправить, значит не стоит и вспоминать, а тем более терзать друг друга.

Вчера она бросила ему странную фразу: «Это тебе не исправить твоё прошлое, а не мне… я-то моё могу».

– Что? – удивился он.

Она повернулась и резко ушла в спальню. Когда он вошёл спустя десять минут, она уже спала или делала вид, что спала.

Ещё одна неделя протекла в молчаливом напряжении. Она исполняла всю нужную работу по дому, на тему смерти матери более не говорила, но он видел, что она страдает. Это было заметно по её замкнутости, погружённости в себя, по тому, как она иногда застывала, глядя в одну точку. Сжимала щёки ладонями, что-то шепча. Об их близости не было и речи.

Однажды утром он проснулся и увидел её стоявшей у двери в любимом красном платье.

Она взялась за дверную ручку, он приподнялся на локтях:

– Ты уходишь так рано? Куда?

– Всё. Я больше не могу.

Он рванулся задержать её, но тут услышал сбоку от себя чьё-то тихое сопение. Оглянулся. Его подруга лежала рядом с ним в постели, в своей обычной позе, на боку, положив ладони под щеку, на её лице, спокойном, умиротворённом, появился обычный румянец, который он не наблюдал уже много дней.

Изумленный, он перёвел взгляд на дверь.

У двери никого не было.

ВТОРАЯ

Тренер девушек, занимающихся прыжками в воду, был доволен своими воспитанницами. Особенно той, что сейчас поднималась на вышку для прыжка. На соревнованиях он всегда делал ставку именно на неё. Ей двадцать восемь лет, но это не критический возраст для карьеры в прыжках, не художественная гимнастика, небось. Ещё можно будет с ней поездить по миру на чемпионаты. Уникальные способности, артистичность, интеллект, сильное, гибкое, безупречное тело.

А это что за новость? Тренеру вдруг показалось, что вслед за спортсменкой наверх взбирается старая женщина в красном платье. Издали не было чётко видно её лица, но длинные седые волосы, схваченные на затылке в пучок, дряблость оголенных рук выдавали возраст. Как это может быть? Кто её пустил в зал? И зачем такой старой женщине лезть на вышку? Он же отвечает за безопасность в бассейне! Тренер рванулся к вышке, но когда подбежал, поднял голову вверх, там никого не было!

Тренер застыл в недоумении.

Она вернулась с тренировки в шесть вечера, поела и включила на кухне телевизор. Шла какая-то тупая развлекательная передача, ситком, примитивные ситуации и дебильный смех за кадром. Но ей хотелось именно что-то такое, чтобы не напрягаться, а под сопровождение цветных картинок на экране и равномерного шума посидеть, подумать, решить, наконец, что делать. Деньги на свою квартиру она начала собирать давно, уже можно брать ипотеку, и внести сразу пятьдесят процентов, но отца жалко. Даже не так жалко, как не хочется скандала, который он затеет. Начнет кричать, жаловаться. Конечно, ему удобно жить с ней, и деньги на хозяйство она в дом приносит, еду готовит. И ещё одна деталь их отношений, о которой и вспоминать не хочется.

Но всё-таки и жалко тоже. Он ведь один останется, больше у него нет никого.

Сколько у неё было возможностей выйти замуж, он всех из дому выгонял. Давно ей пора уже сделать свой выбор, кто он ей такой, в конце концов. Отец, да, но его миссия давно кончилась. Даже не начавшись, прибавила она и мысленно фыркнула.

Во входных дверях провернулся ключ, она встала и ушла в свою комнату. Слышала, как отец снимает обувь в передней, швыряет на пол.

«Почему бы аккуратно не поставить» – с раздражением подумала она.

Он подёргал дверь в её комнату. Закрыто. Ушёл в кухню, вскоре там засвистел чайник.

Она стала просматривать новости в своём телефоне, но в дверь снова поскреблись, потом постучали. Она открыла дверь и вышла в коридор.

– А что мне есть, там на плите нет ничего, – сказал он.

Она пошла в кухню и молча стала разогревать обед.

Он сел за стол, следил за ней угрюмо.

– Опять суп и каша с котлетами. Нет чтобы меню разнообразить.

– У меня нет времени на разнообразия. И я не обязана.

– Обязана. Ты мне дочь.

– За дочерью в ванную не подглядывают. И задницу с сиськами не обсуждают.

– Когда это я обсуждал, а? Это с кем мне такое обсуждать?

– Да ни с кем. Самому с собой. Подглядывал в щёлку двери и себе говорил, задница у неё красивая, а сиськи никуда не годятся, я побольше люблю. Надо было тебе кипятком в лицо плеснуть, так тут как раз горячая вода идти перестала. В следующий раз поймаю на таком, глаза выколю, понял?

Она швырнула со злостью сковороду на плиту.

– Ты потише ори, перед соседями стыдно.

– А вдрызг пьяным приходить не стыдно? За дочерью подглядывать не стыдно? Думаешь, я не понимаю, почему ты никому ухаживать за мной не даёшь? Выставляешь отсюда всех. Ты запомни, хорошо, запомни, я тебя лучше убью и в тюрьму сяду, чем ты это получишь, понял? Убью, отсижу и выйду, а тебя не будет, навсегда не будет, так что лучше не рискуй!

Он тяжело задышал, набычился, глаза налились кровью.

– Слышала бы тебя твоя мама, как ты всё врёшь, – начал он.

– Слава Богу, моя мамочка меня не слышит. Слава Богу, она умерла много лет назад. И не слышит ни меня, ни тебя. Да и я её, слава Богу, не слышу. Это её вечное: убирайся отсюда, ты нам не нужна, отравила бы тебя, сучка мелкая, да закона боюсь.

– А я? Я-то здесь при чём? Это она от тебя избавиться хотела, а не я.

– Неправда! Оба хотели! В тот Новый год, когда я уронила блюдо с холодцом на пол, вы выскочили оба из-за стола, избили меня и вышвырнули за дверь. На лестницу, а потом выкинули мне туда шапку, сапоги и пальто. За час до Нового года! Вы подумали, куда я пойду? В четырнадцать лет! Я пошла к тренеру, пешком через весь город, потому что у меня не было денег на трамвай, а его не оказалось дома. И я провела новогоднюю ночь в сквере на скамейке. Меня могли изнасиловать и убить, и вы это понимали, знали, что я где-то на улице, ночью, где полно пьяных. Вы понимали это, и были согласны, лишь бы не вашими руками. Чтобы в тюрьму не сесть! И я правильно всё поняла, я это знаю!

– Какая у тебя злая память, ты ничего хорошего не помнишь, только плохое, – пробурчал он и принялся громко хлебать суп.

– А мне хорошего помнить нечего, не было ничего. А в восемь лет, когда у меня было воспаление лёгких, я лежала одна в маленькой комнате, а вы ко мне не заходили даже, не кормили, не давали лекарств, ведь вы тогда тоже надеялись, что я умру, и не надо будет меня терпеть в доме, тратиться на школьную форму и тетрадки, на сменную обувь. Как она вас раздражала, эта сменная обувь, лишняя трата, как вы честили из-за неё учителей! Вот тогда я, маленькая, поняла, что если я хочу выжить, мне надо пойти на спорт, я буду сильнее, у меня будут подруги, будет тренер, я выживу!

Он доел суп и принялся за котлеты, выгребая их ложкой из каши, отламывая ложкой по куску.

– Возьми вилку, – сказала она резко. – Ты ешь, как свинья!

– Не командуй мной, мала ещё поучать, – пробурчал он.

– Мне двадцать восемь лет, я взрослый человек, и более состоявшийся, чем ты, так что имею право поучать.

– Именно, что двадцать восемь тебе, двадцать лет прошло, как ты воспалением болела, а всё забыть не можешь, – он вытер рот бумажной салфеткой, которую она всунула ему в руку.

Она отрицательно качнула головой, вытерла полотенечком стол и отвернулась к окну.

– Я не это забыть не могу, не то, что вы меня убить хотели, это я вам простила давно и зла не держу, – сказала она горько. – Я того простить не могу, что вас у меня никогда не было. Не было у меня мамы и папы, и не будет уже. Мне девяносто восемь исполнится, а я и тогда захочу вас иметь. И перед смертью захочу. Я люблю вас, обоих люблю, а вас у меня не было. Я люблю пустое место, мираж, семью-призрак, люблю своё желание иметь вас, а вас нет. И даже воспоминаний о маме и папе нет, есть воспоминания о людях, желавших мне смерти. Как мне это вынести, как тянуть дальше по жизни этот груз… как любить пустое место, которое не отвечает мне на мою любовь…

Он мало понял из того, что она сказала, но у него вдруг защемило сердце. И дочка, присевшая на подоконник, свесившая на грудь голову, впервые показалась ему родной.

А ещё ему вдруг показалось, что рядом с ней он видит старую красивую женщину в красном платье, которая нежно гладит её по голове и уходит, бесшумно, мягко ступая, уходит к дверям, глядя на его дочь с болью, нежностью и любовью…

ТРЕТЬЯ

Сияла сцена, сияла рампа, сияли лица организаторов Международного конкурса красоты. Такое событие в городе!

Девушки в купальниках, одна другой краше, выстроились на сцене, перебирая длинными ногами на высоких каблуках, волнующе покачивали изящными бёдрами, левая рука упирается в бок, как учили на подготовке. Улыбаются, делают вид, что рады успехам друг друга, показательно обнимаются. Всюду блеск, лоск и красота.

В зале роскошно одетая публика переживает за своих, любуется молодостью, здоровьем, выставленным на показ, на конкурс. Кто победит?

Девушки были смуглые, были белокожие, блондинки, брюнетки, чуть повыше, чуть пониже, но все были ослепительно красивы. Ведущий, затянутый в чёрный фрак, бегал по сцене с блокнотом, куда заглядывал, чтобы задать конкурсантке очередной вопрос. В публике спорили, известны ли заранее конкурсанткам вопросы или действительно девушки соревнуются на звание Мисс Республика по-честному. Все сходились на том, что первое место получит претендентка номер 13. Уж очень хороша. Что тело, что лицо, и на каверзные вопросы ведущего отвечает без запинки, ослепительно улыбаясь. Она стояла в шеренге крайней справа.

Неожиданно зрителю, что сидел в первом ряду на месте двадцатом, показалось, что правее конкурсантки он заметил старую женщину в ярком красном платье. Она тоже улыбалась идеально белыми искусственными зубами, контрастировавшими с её увядшей кожей и радостно смотрела в зал. Женщина была, безусловно, красива даже в своей старости, но её нахождение на сцене было совершенно неуместно.

Зритель повернулся к своему соседу:

– Вы видите? Вон там справа? Кто эта седая старуха в красном?

Тот посмотрел на него с недоумением. И вправду, справа ничего не было! Но точно то же увидел зритель, сидевший в пятом ряду на месте пятнадцатом, и зритель, сидевший в двенадцатом ряду на месте двадцать втором. И тоже решили, что им что-то «показалось».

Грянул гром оваций. Ведущий надел на голову девушке номер 13 блестящую корону, усеянную камнями Сваровски, две вице-мисс поцеловали её. Она смеялась от счастья, придерживая корону двумя руками, так как та всё время сползала на лоб. Зал рукоплескал.

Уже на второй день после победы ей предложили контракт на демонстрацию нижнего белья «Victoria's Secret». И серию рекламных снимков нового крема для лица Ланком. За один выход на подиум – 1000 долларов, один снимок – 5000 долларов. На неё полился золотой дождь.

Пригласили поработать ведущей в паре со знаменитым актёром на кинофестиваль в Марокко. В самолёте во время полета она думала, что это сон, что вот она проснётся и всё закончится. Но в Марокко её встретили у трапа, отвезли в отель. Вручили тетрадь с текстами на английском языке. Английский она знала достаточно хорошо. Отрепетировали с соведущим. Для него английский был родным. Он поправлял ей произношение, гладил по руке и напрашивался на вечернее продолжение работы. Она согласилась для начала на ресторан.

Десять дней фестиваля пролетели, как летний сон. Американский актёр посоветовал её кандидатуру на переводчицу. Это дало ей дополнительные деньги и возможность посетить с кинозвёздами интересные места. Марокканский базар, где она купила себе парочку золотых браслетов и огромные ажурные серьги, которые так облагораживали её лицо, хоть оно и без того было необычайно красивым. Экскурсию в шатёр бедуинов в пустыне. Там они провели ночь на толстых цветных коврах, любуясь небом с густой сетью хрустальных звёзд. Восточная сказка, куда она попала, потерев волшебную лампу Аладдина. Разве это с ней происходит? Со скромной красивой девочкой, не претендовавшей более, чем на Мисс Медицинское училище? «Была Мисс Медицинское училище, потом Мисс Города, теперь Мисс Республика, благодарю, благодарю тебя, Боже!»…

Из Марокко она полетела в Лондон на показы Fashion Week «Victoria's Secret», получила приглашение на следующую Fashion Week в Нью-Йорк. Завела счёт в солидном банке. С показов в Нью-Йорке вместо оплаты взяла ту одежду, которую демонстрировала. У неё ещё никогда не было таких дорогих и красивых вещей.

Сказка, у которой не было горизонта, не виделось конца, а одно счастливое событие тянуло за собой другое, словно судьбу её кто-то вязал из тончайшей шерсти невидимым крючком.

Домой она вернулась спустя два месяца непрерывных показов, хождений по подиуму, рекламных съемок, заключения долгосрочных контрактов. Она уже поняла, что нельзя соглашаться на первую предложенную сумму, какой бы большой она ни казалась. Научилась говорить «нет» и оговаривать для себя лучшие условия и лучший номер в отеле. Требовать перерыва между съёмками, тем более, что за последние два месяца она чертовски устала.

Надо найти себе агента для продвижения и передать ему полномочия по заключению договоров. Платить ему десять процентов от договора, он будет стараться. Чем выше цена договора, тем больше он получит. Или запросит двадцать процентов? Надо узнать, сколько принято платить агенту.

Она сидела в кресле номера-люкс. Сбросила туфли с зудящих ног. Скрестила ноги, ощутив под стопами мягкий, глубокий ворс китайского ковра. Вот такой она купит себе в спальню.

Как она устала. Может, прилечь?

Вчера утром болела голова и тошнило. Наверное, переработалась.

Она взяла ручное зеркало и взглянула в него. Что-то неуловимое появилось в её лице. Что-то новое. Овал, он стал не таким чётким, как прежде. Она вскочила с кресла и побежала в другую комнату. Открыла ящик письменного стола и стала рыться в своих фото. Вот две фотографии в одном ракурсе с перерывом в два месяца. На более поздней овал лица намного круглее, особенно внизу. Словно бы валик тонкого пока ещё жира добавился к нижней челюсти. Она застыла, глядя на фото и чувствуя, как подкашиваются ноги.

Год назад она упала на катке на спину и ударилась затылком. Подлетели другие катающиеся, подняли её, успокоили. Ну, упала на лед, не беда. Всё ж целое. Было не больно, но испортилось настроение, предчувствие чего-то неотвратимого и тоскливого накатило на неё.

В суете дел происшествие забылось. Но стала побаливать голова. Иногда кружилась. Давление в норме. Исследовали черепное, тоже в норме. Она решила сбегать на кафедру психиатрии, к профессору, чьи лекции она обожала, а он уважал её за интерес к ним. Профессор сам отвел её в лабораторию, через пятнадцать минут был готов рентгеновский снимок. Затылочная часть. Что-то там не понравилось научному светилу. Он попросил её лечь на кушетку и простучал надпочечники. Внимательно осмотрел руки и бёдра. «Что там может быть, на руках и бедрах» – думала она.

– Вам нужно сделать МРТ и показаться нейрохирургу, – сказал он. Рентген грубое исследование, вам нужно МРТ. И не отнеситесь к своему здоровью легкомысленно, милая девушка.

– А что там может быть, вы что-то заметили? – спросила она, волнуясь.

– Там может быть что угодно, вплоть до объёмного процесса. Не нравится мне ваш снимок. МРТ покажет.

Но на МРТ у неё тогда не было денег. Потом происшествие забылось. Потом началась её головокружительная карьера. А сейчас всё всплыло в памяти. Как профессор отошёл к окну и говорил тихонько с рентгенологом. Она краем уха услышала – синдром Иценко-Кушинга. И вот сейчас её догнали эти слова. Догнали и ударили по затылку снова, как тогда на катке. Обрушились на неё, как падает на голову незамеченный на карнизе огромный пласт слежавшегося снега.

Её лицо округлилось. Оно стало лунообразным. Теперь она чётко видела это в зеркале. Вскоре лицо станет багровым. Начнут выпадать волосы – они уже давно выпадают, она приписывала это утомлению и вредному лаку для волос. На руках и бёдрах появятся стрии, багровые полосы. На груди жёсткие волосы по мужскому типу. По мужскому типу вытянется лобок. Всё тело примет мужеподобные очертания, руки и ноги исхудают, а туловище приобретёт форму круглой бочки. Ягодицы повиснут двумя косыми складками. Месячные прекратятся. Атрофируются груди. Она будет лечиться, не для того, чтобы вылечиться, а чтобы медленнее становилось хуже. Чтоб хоть только задержать. Чтобы болезнь уродовала её хоть насколько это возможно медленнее. О будущих детях…

…нет, это невозможно, это не могло произойти с ней, почему, за что?

Ошибка? Нет! Вот уже на бедре наметились эти жуткие полосы, наверху, на располневшей части, а нижние части ног похудели. Да, она заметила эти изменения неделю назад, но прятала голову в песок, трусливая, как страус!

Нет худших заболеваний, нежели те, что уродуют человека внешне, ибо нет для нас ничего дороже, чем собственный облик, тот, что мы видим каждый день в зеркале, – он становится нашим вторым «Я», самым близким другом. Единственным настоящим верным другом, но он же и покидает нас постепенно, неуклонно, с каждым днём приближающейся старости. Глядя в зеркало, мы теряем себя, единственного, с кем можно было поговорить обо всём, ничего не утаив. «Мой верный молодой друг, ты уходишь, а вместе с тобой моя жизнь, карьера и счастье». Уважение и почёт других людей, потому что, и это горькая

правда, человека оценивают по внешности, что бы там ни говорили моралисты. Красивому прощают порок, с некрасивого взыскивают вдвое. Такова тяга человека к физическому совершенству, предпосылки естественного отбора.

Страшный неумолимый синдром Иценко-Кушинга не остановить, не умолить. Он уродует человека, его жизнь, его страсти, нивелирует его половую принадлежность, приводит к смерти, сначала общественной, потом физической.

Она, пока ещё красавица, Мисс Республика, четко прозревшая сейчас своё будущее, бросилась лицом на кровать, рыдала, кусала подушку, кусала свои пальцы и выла в бессильном отчаянии.

Рядом с её постелью, в кресле, старая женщина в красном платье закрыла руками лицо, раскачиваясь от сердечной боли, от жгучего сочувствия к этой девочке, которой ничем не могла помочь, не могла спасти и которую сейчас вынуждена будет оставить…

НА ХОЛМАХ

Вечерело. Лёгкий ветерок бережно нёс в своих ладонях ароматы луговых трав и цветов, выискивая их в лощинах и поднимая вверх, к вершине холма. По дороге ветер прижимал к земле серебристые кусты, с которых осыпались розовые лепестки, почти прозрачные на солнце, размахивал тонкими веточками молодняка, прораставшего между старыми деревьями то тут, то там. На вершине холма, на сером округлом валуне сидела женщина в красном, кожаный поясок она сбросила, он валялся тут же, и ничто не мешало ветру играть со складками её шелкового платья. Она держала в руках пучок полыни, погрузив лицо в её горькую свежую плоть.

– Первый раз в жизни ты не опоздала на свидание. Даже пришла немного раньше, – раздался за её спиной хрипловатый мужской голос.

Женщина обернулась, радостно улыбнувшись.

– Наконец мы снова вместе, любимый. Но, я вижу, у тебя тоже не получилось? Скольких ты перепробовал?

– Пятерых.

– А я шесть. Я так боялась, что у тебя получится, ты придёшь сюда молодой и полный жизни, а я приду старухой, и ты бросишь меня.

– Я боялся того же самого. Что в молодое тело вселишься ты, а я остаюсь стариком. И потеряю тебя. И знаешь, я рад, что мы остались прежними, пусть в своём возрасте, но мы снова на равных.

– Смешно это слышать. Я бы не бросила тебя, даже если б вошла в тело семнадцатилетней. Но я оказалась слабой. Не смогла вынести тот груз прошлого, что был у моих девушек. Тело ничего не значит, если в прошлом остались обиды, горе, шрамы на сердце. У них это было у всех. И избавиться от этого невозможно, забыть невозможно… Время ничего не лечит, это ложь. Прошлое всегда за спиной, как горб, как колебание воздуха, сквозь который мы проходим. Одна из них сказала: «Я и в девяносто восемь лет буду помнить». И, соединившись с ней в её теле, это помнила и я. И так же страдала. Я оказалась слабой, ведь у меня есть и свой груз. Двойной груз я не смогла вынести.

– А ведь такая была роскошная задумка, уникальная. Нам дали шанс вселиться в молодые тела, потом снова встретиться здесь и начать новую жизнь, ещё раз прожить столько же лет в счастливом браке. Мы не справились…

– Мы доживём столько, сколько осталось. Я люблю тебя! Старый мой муж, мой любимый старый муж!

– Дай мне руку, я помогу тебе спуститься, знаешь, вниз всегда тяжелее идти, чем наверх, хотя это кажется нонсенсом. Странно, да? Но это так.

Он взял её за руку, помог подняться с валуна и осторожно повёл по тропинке с холма.

Она глядела под ноги, чтоб не оступиться, и они медленно пошли вниз, к подножью горы, где уже почти совсем стемнело, два красивых старика, любящие друг друга.

МАРИНА МАТВЕЕВА

НЕБОСКРЁБ ИЗ ЕДИНОЙ СТУПЕНЬКИ

***

Чёрная, тонкая, нежная лошадь…
Грива – что небо под грозным крестом,
взор – многозначно-расплывчатый роршах,
тело – бывало, видать, под кнутом…

Ну-те дрожать!.. Коль тебе непривычны
ласки – ударю! – видать, знакомей…
Я, бишь, не князь – не боюсь волховичьих
чар: из глазниц выползающих змей.

Реминисценция… Времени стремя…

Выйдем же, милая, в поле вдвоЁм!

…медленномедленномедленно сщемит
небо меж тучами бледный проём,
и – по тебе: по глазам непроглядным,
по волосам дожделивей дождя, –
покатом, рокотом, роскатом жадным
лето пропляшет!.. а чуть погодя,
выложившись, как цыганка для графа,
бубен отбросит и сядет к ногам…

Милая! Затхлых сартреющих кафок,
видишь ли, пыль разгребать – тоже нам,
но не сейчас – перебить чёрных кошек
всех подчистую – не хватит колов.

…рыжая женщина – чёрная лошадь…

Милая, где загулял наш Брюллов?

***

Внутренние тихие теракты…
Золотистый плюшевый табак.
По моей по карме едет трактор.
А на нём – большой бесцветный флаг.

Тот, который был живого цвета,
стал постыдным для моих друзей.
Тот, который… А иного нет и
быть не собирается. Музей

разевает двери для экскурсий
в пряжу изметавшихся структур.
На губных тарелках племя мурси
носит пепел от палёных кур.

В глинистых косичках женщин хамер
скачут солнца дикие лучи.
Я об этом. Ничего, где камень
на груди устойчиво молчит.

Не о том, как ни к селу влюбилась
в собственную старую жену,
что из прошлой жизни приблудилась
в мегаравнодушную страну.

Не о той стране – как три вселенных,
необъятной, и такой иной,
где грызёт огонь своё полено,
будто мыш запасливый – зерно.

Не о той любви, что туже нимба,
вымолчу слепому фонарю.
У меня сестрёнка в трибе химба.
Я ей завтра бусы подарю.

***

Пизанской башни вздыбленная рысь…
Неправильные тени Иванова…
А белка, превратившаяся в мысль,
Мир одарила поговоркой новой,

Известной студиозусам с тех лет,
Когда незнанье притворяться знаньем
Училось только на Руси… Ответ
Всегда не верен. Истина – за гранью.

…Когда бы мелосец века спустя
увидел лёгкость совершенства, груза
лишённую, – ни локтя, ни перста
для Афродиты бы не взял у Музы.

А наш фотограф Вася? Вечно пьян,
Но в кривизне своих портретов – гений.
Судьба сама решает, где изъян
Добавить к завершению творений.

***

Ты – под замком молчанья. Душна
твоя неволя.
Великомученик, не нужно
стыдиться боли.

Решил ты: это – не для воя
кликушей дикой.
Великомученик, не стоит
бояться крика.

Но… расплодилась по сознанью
змея-крольчиха…
Великомученик, ты знаешь,
мне тоже тихо.

Хоть тишина любых истерик
вольнее слуху,
великомученик, ты веришь,
мне тоже глухо…

***

Есть любовная апологетика,
небоскрёб из единой ступеньки.

Ей потребна – твоя энергетика,
а не тело, не чувства, не деньги.

Чтобы пользоваться энергетикой,
узнаются привычки и имя,
а объект потребленья (для этики)
именуется словом «любимый».

Ты не смейся над ней, терпеливицей,
выносящей твои сволочизмы.
Приглядись к ней поближе: приливится
огневою волною харизма

в рысьем взоре, готовом к распотрошью,
в жадных рук загребущем сирокко…
Ей бы – дротик осиновый – под душу!
Да серебреник – в каждое око…

Что ей ласки твои? Что букетики?
«Шоб було!» – остальное – хоть в воду!
Ты теряешь свою энергетику,
а она – обретает свободу.

***

А я летала.

Истинно, когда
принять за воздух воду, а за крыльев
движения – гребки. И чтоб вода
была прозрачней воздуха…Чтоб были
баллоны как приросшие к спине,
точнее, вырастающие, словно
всё те же крылья… птичьи? рыбьи?..

Нет,
похоже, виснет слишком много слов на
естественнейшем действии – лечу!
От жадности земного притяженья
лечусь. От гулких сталетонных «чуд»,
которым только и дано движенье

по воздуху, по страху перед «Бац!
И – всмятку!» – это и назвать полётом
позорно… Или жалкий ветропляс,
где тело под куском раздутой плёнки
на человека не похоже – кто б
посмел сравнить парашютиста с птицей?

Падения всемирного потоп…

Нам воздух – не летать: мы в нём топиться
ещё не разучились. Видит Бог,
в нём толком даже и ходить не можем:
всё утомляемся и болью ног
страдаем, жаром и ознобом кожи…

А я летала.

Не велел дышать
в воде нам Бог, чем приказал поверить,
что истинно летает – лишь душа.

А телу всё равно пора на берег.

***

Болезни – это, право, не беда.
Они – лекарство. Помнишь ту ангину,
с чьей помощью протухшая вода
любви с тебя сошла наполовину?

А то – не видишь и в глазу бельма,
когда саднят сердечные мозоли.
Не всё ль равно, куда сходить с ума,
когда уже сошёл в чужую волю.

Когда шизолюбвия обнесла
своим налётом действия и строфы,
не всё ль равно, куда сходить с осла:
на вайи или сразу на Голгофу.

Не лучше бы проехать дальше? Кон
ещё не сыгран, и король твой матом
не послан… И не так ты высоко,
чтобы сходить с чего-то и куда-то.

Попробуй лучше НА… На гору влезь,
Ну, пусть хотя бы на вершину славы.
Она летальна – звёздная болезнь,
зато хоть полетаешь на халяву.

НА РАВНЫХ

Я антилегендный человек.
Обо мне ни притчи не напишут…
Обо мне и завтра не услышат,
что уж там через какой-то век…

Незавидна даже чистота –
не видна к ней грязная дорога.
Каждый в нас всем адом ищет Бога –
а находит… хоспади, Христа…

Потому что ближе всех лежит.
Потому что вкусен и разжёван.
Как приснoблаженная донцова,
в воздухе штампует тиражи.

Не возьму того, что хочет ВСЕ –
этот зверь уж слишком неразборчив:
всё, что в рот положат. «Богоборчеств»
клейма на миру – во всей красе.

Потому – чтобы не быть в толпе.
Для того – чтоб не тонуть в болоте.
Чтобы в притче-басне-анекдоте –
вкрученном – не изменить себе.

…Ты ль не на поверхности морской
ходишь, только чтоб не быть в глубинах?
Не в твоей ли благости едины –
равноценны! – грузчик и Толстой?

Ты спасаешь всех. И перегной
расцветёт под благодатным Словом.
Мне бы тоже стать твоим уловом…
Но зачем ты говоришь со мной

так, как будто скорбна головой
я, в глухом селе живу при этом.
О, Другой! Ты говоришь с поэтом!
Сам язык для коего – живой.

Твой язык, как и твои пути,
неисповедим и – беззаконен.
У тебя и кони на иконе
встанут, если тем дано спасти.

Я больна душой. Но не умом.
Скажешь, суета – значенье формы?
Боже, где мой Логос чистых формул
мира – без блаженных аксиом?

Го-во-ри… Я слышу! Я жива.
Истина!.. перерезает душу.
Я твою же заповедь нарушу,
если принесу твои слова

столь тобой возлюбленной толпе,
милой ВСЕ – безглавому болоту, –
пошатну твою над ней работу,
этим помешаю я тебе.

Пусть на малость, на несчастный миг…
Но у мига – сила ста Вселенных.
Ад наш здесь: измение – мгновенно.
Жизни – в смерть, безмолвия – во крик,

пустоты – в уже не пустоту,
цельности – в уже без некой части.
От Причастия – к дее-причастью
тоже миг. И я его учту.

Подошью в архив, и – на крови –
штамп: «Перед прочтеньем застрелиться».
А потом попробую молиться
о безглавой вере и любви…

Да, ты Бог. Но не интеллигент.
Плач предпочитаешь разговору.
Так перетопи во щенье свору
обо мне не созданных легенд,

чтобы твой блаженный идиот,
что гвождён лишь каяться да биться,
не посмел ни мига усомниться,
ни на точку не сместился от…

***

Давай скорей, дари свои цветы,
пока ещё земны мои минуты.

Пока ещё не знаю чистоты
прыжка над нераскрытым парашютом,
и крика, что взрывает облака
и заставляет ангелов метаться,
и мысли: «Их покой – в моих руках», –
и мне решать: быть с ними ли, остаться
среди ходячих или, удивив
и тех и тех, зависнуть в межрешенье…

Дари цветы и громче о любви
шепчи, моё земное притяженье.

НИКОЛАЙ СТОЛИЦЫН

КОЛОКОЛЬНЯ – ДЛЯ НЕГО – ВЫСОКА

«ТИТАНИК»

1

Я взрезаю – холодную чёрную воду,
И вода – подо мною – настолько черна…
Мне б – в порту отстояться…
В такую погоду…
И спасательным кругом – застыла Луна.

2

Но работают – слаженно, чётко – машины,
И доволен, доволен седой капитан,
И я чувствую, мы с капитаном – едины…
«ТЫ ЗАЧЁМ ОТКЛОНИЛСЯ ОТ КУРСА?!
БОЛВАН,

3

ОСТОРОЖНЕЙ…».
Реву и взываю – с надсадой…
Я боюсь – не холодной и чёрной воды,
Но ведёт он – меня – с непонятной бравадой,
С непонятной отвагой – на белые льды.

4

Я во сне – их – увидел…
Когда возвышался,
Безымянный – пока что, я – на стапелях…
И с пробоиной в брюхе – на дно погружался,
Задыхался, ревел, содрогался – в волнах.

5

Неужели не слышится – в рёве машины:
«КАПИТАН, ОСТОРОЖНО…»
Ну, что за болван…
Я же чувствовал, мы с капитаном – едины…
Улыбаясь, бородкой тряхнет капитан,

6

Что не видит…
Не чувствует…
Изнемогая –
От желания – собственным курсом пойти,
И последние силы – теряя, теряя,
Понимаю, что все…
Ну, почти…
Ну, почти?!

7

И взрезаю – холодную чёрную воду,
И рычу – безнадёжному белому льду:
«Я ПЛЮЮ…
НА ЛУНУ…
НА ПЛОХУЮ ПОГОДУ…
НА ТЕБЯ…
И ИДУ…
ПОНИМАЕШЬ, ИДУ?!».

ЛЮБОВНИЦЕ СМЕРТИ

Распахнуты – застывшие глаза,
Заполненные только небесами…
Когда бы ты смотрела на меня,
Лишь на меня – подобными глазами…

Но ты…
Но ты смотрела – на неё,
И небеса – торжественно сияли…
Тяжёлую – острейшую – косу
И саван…
Ты увидела едва ли.

Доверилась – глухому шепотку…
В глазницы, переполненные тьмою,
Ты загляделась, глупая…
Зачем…
А смерть, она – смеялась над тобою.

И льнула, льнула, вечную любовь
И вечное блаженство обещая…
Она…
Она любила – не тебя,
Ты – для неё, увы, – очередная

Живая…
Только тем – и хороша…
Была…
Тебя убило – расставанье,
А смерть – уже милуется – с другой,
Озвучивая то же обещанье…

А ласка ледяная – коротка…
И на губах – застывшая улыбка…
Увы, влюблённой смерти доверять –
Нелепая…
Последняя ошибка.

А, впрочем, я – тебя – и не виню,
И над тобой – холодною – склоняюсь,
И с нежностью, бессмысленной теперь,
Тебя касаюсь…
Даже – не касаюсь.

ШОТЛАНДИЯ

1

«Шотландия…»
И жженье,
Смертельное раненье…
Мишеля потихоньку
Окликнут – небеса:

«Тоскуешь, умирая?
Бессмыслица какая…» –
И звёздами заглянут –
В застывшие глаза.

2

Немыслимые…
Муки…
Разбрасывая руки,
Немедленно отдаться,
Предаться – высоте.

И вовсе не руками,
Но чёрными крылами
Мишель взмахнул, ударил,
О, чёрный – в черноте…

3

А звёзды – ближе…
Бли-иже…
Холодные…
«Гляди же,
Ведь ты – преобразился,
Лети же – к небесам,

Лети-и-и…».
И завозился,
Подпрыгнуть – изловчился,
Не слишком доверяя –
Беспомощным крылам…

4

Ни ярости, ни боли…
«О, я – не умер, что ли?».
Немыслимо сверкают –
Простёртые крыла…

И не было – дуэли…
Лети – к заветной цели:
Шотландия Мишеля
Напрасно ли – ждала?

5

Лети – безмолвной тенью,
И каждому движенью
Отдайся – без оглядки,
И весь отдайся…
Ну?!

Мартышку забывая…
И кар-р-рканьем смущая
Мигающие звёзды
И бледную Луну.

6

А сердце – бьётся…
Бьётся…
Не кар-ркает, – смеётся
Огромный, чёрный, чёр-р-рный,
Немыслимо живой…

В глазах – застыли слёзы,
А может, звёзды…
Звёзды…
«Я скоро повстречаюсь,
Шотландия, с тобой».

7

Рождённый – чернотою,
Небесною, живою,
Как часть её, живая…
И ворон, и Мишель…

Два разные начала…
Шотландия кричала,
Звала – их…
Виновата ль
С Мартышкою дуэль?!

8

Шотландия…
О, Боже,
Заждавшаяся, всё же
Дождётся – их, конечно…

Распахнуты – глаза,
В которых – всё, что было,
Горело…
И остыло…
И громом отдалённым –
Смеются небеса…

«ТИТАНИК», 2

1

Я бы – спал, очарованный светлыми снами,
Но вверху, в черноте, покатилась Луна…
Я к Луне потянулся…
И дрогнул винтами…
И ещё…
И ещё…
Поднимаюсь со дна,

2

Из одной черноты – поднимаюсь – в другую,
И винты всё быстрее работают…
Ну?!
Сердце ржавое – бьётся…
Ликую…
Ликую…
Я томился на дне, привыкая ко дну.

3

И винтами взрезаю – холодную воду,
Как тогда…
Я – живой, и сомнения нет;
Я одно ощущаю – свободу, свободу…
Надо мною – Луны – ослепительный свет.

4

Я забыл пассажиров…
Забыл – капитана,
Доверяя Луне, доверяя винтам…
Кроме рваной пробоины, нету изъяна…
Поскорей бы, поднявшись, – рвануть по волнам.

5

Выше…
Выше…
Луна серебром окатила,
Маяком поднебесным – мигнула Луна…
Что за дивная, светлая, страшная сила
Поманила меня – подниматься со дна?

6

Вряд ли нужен Луне, светлоликой красотке,
Я, заржавленный, всеми забытый урод…
Наплевать…
Нап-ле-вать,
И рождается в глотке
Полный радости вопль: «О, СКОРЕЕ, ВПЕРЕД,

7

О, СКОРЕЕ…».
Холодную, чёрную воду
Разрываю, счастливый, и хочется мне,
Воспевая любовь, воспевая свободу,
На поверхности – ей просигналить, Луне.

КОЛОКОЛЬЧИК

Колокольня – для него – высока,
Упирается – она – в облака,

Да, но колокол…
Ему…
Старший брат…
А папаня – Колокольчику – рад,

И кивает, дескать, мы, звонари,
Помогаем – пробужденью зари,

И вдвоём…
Они-и…
Потя-анут – язык:
Близок, близок – пробуждения миг.

Рас-
-плес-
-калась в поднебесье – заря;
Улыбается – сынок звонаря,

Улыбается сынок – звонарю:
Вон – какую разбудили…
Зарю…

«Ну, конечно…
Колокольчик…
Родной…».
Всё-то небо окатило – зарёй.

ЕЛЕНА КОРО

УТРО БЕЛЫМ КОЛОКОЛОМ

СЛЕПАРЬ

По рельсам мартообрия звенел в апрель
и наг, и бог дорог.
Свистал в свирель мой Лель.
Бел латырь май, огнил алтарь.
Мой бог дорог зарил зарёй из ок,
и весел, и восторг он лил зарёю степь,
и пел, и пил светалище, рожденье для,
и на святилище прилёг мой тавр, бог дорог.
И встал Слепарь, из ок и зарью Я.

ПАМЯТИ МАРКА ШАГАЛА

А мир уходит из-под крыл,
летит, и облачным запястьем
ты прикасаешься и – счастлив,
честью солнцу мил.
Частицей радужки лучится
смешинка в солнечном обличье,
излучинками соучастья
ты миру личный сопричастник,
и мира бледная облатка
тобой расцвечена в свет счастья,
и тайнописью ходоки
по небу – иноки любви.

СКОРЫЙ ПОЕЗД 666

«Разлегшись на апрельсах…»
Вилли Мельников

Пустившись по апрельсам майорейдом на норд-ост,
мой призрак скифом мчался из таврид,
а поезд шёл уже не в Петербург,
в столицу скифоазии Москву.
Мой сон и дом, тринадцатый вагон,
парил, как подстаканник чаем, май,
всё шло от сумерек ко дню,
неисправикинг в руки мне штурвал,
и майорейдером мой призрак
по апрельсам шёл в Москву,
не в Петербург, Коро,
мы нынче в май.

АНГЕЛЫ ПИРОГОВКИ

Здесь над крестами плывут свои сны,
Их отголоски как молоточки в венозной крови.
На Пироговке спят вперемешку
Женщины, словно в насмешку
Сброшенные с небес, ангел здесь
Тихий, порой отлетает, ворон
Слетает на крест.
Ткачихи стежок за стежком плетут
Рубахи крестницам смерть посметь.
Но жизнь вжить, вживить как честь
Сестёр и врачей – сей удел здесь.

АКАФИСТ АНГЕЛОВ

А был ли мальчик, промельк льдистых уст,
Шепнувших имя Златоуст, как акаф*и*ст?
А был ли миг мостящих Стикс, как Крымский мост,
Миг длящих жизнь? Октябрьский свет
Прозрачно чист как миг, искрист как наст.

МЁБУИС ГОДА

Ты вчера ещё видел начало,
ускользающий хвост проплывал
и молчала макрель:
ты ей снился в апрель,
майский поезд тебя заворачивал
в Мебиус под крымским мостом
как икру в мокреца, в макрель,
ты ей снился однажды в июль,
но молчи как макрель,
или пой как Августа авгурам,
что не встретишь себя на рассвете,
и не выйдешь из савана дня,
бледный стрелочник тебя не отправит
на ци, и на выдохе для цикад
не пройдёт тщедушный фотограф,
и певчая птица не ца
пля в поля за ци не ухнет успеть цикаду,
лови не лови макрель,
не смотри ей в глаза,
там за макушкой лета,
приплывёт прилетит махаон
и в его глазах промолчит
твоей книгой немеющий в немь
философ
там за макушкой лета
не смотри в глаза Ка, двойнику.

ОСТРОВ МОЙ КРЫМ

С икон декабря ликами в знойном июне
Слетали безмолвные птицы белыми точками дня,
для в отражениях буквы длиннот февраля.
Ликами будд мартобрь воззвал к тишине, но нельзя.

Певчие образы нота за нотой таяли сентябрём,
и, иссякая в проталинах года, звали
к календам, спасаясь от ид и от нон.
Вспомни, декабрь, детей, ускользающих ангелов,
льдистых как сон.
Твой календарь не к ариям, к асам
прочтён и записан,
Августа, авгуром в августа днях как закон.
Выйди, Геката, на перекрёсток времён.
Аве, Геката, август тобой вознесён.
Длящийся Юлием март мантрами будд,
выжжен июлем, пыльных смерчей око для,
видишь, твой морок несётся чёрным
вечным монахом с икон декабря.
Стой и держи свой стяг,
неоконченный мира набросок,
остров мой Крым.

БЕЛЫЕ ГОРОДА И НЕБЕСНЫЕ ВЕСИ

Мой белый город облакитных высей,
Я тайный пешелёт летучих весей.
Небесных ходоков пополнив пеший лёт,
Спешит крылатый иноходец
По киммерийским волошковым
Небесам аллюром – в бег как в лёт.

***

Мой дом прохладный вертоград.
Я выхожу и кипарисы
Бегут бегут травою рысью,
Бросая кипами на листья
Не рис но котиков подряд.
Вот славный котофей,
Он феям мил, его чесать
Летят летят все дуновейно,
Он кельтским духам рыж и в масть.

МИР МАЛЫХ ЗВОНАРЕЙ

Из льдистых сумерек зарницы звонов
Сентябрьских малых звонарей.
Так тонок, призрачен, так долог миг,
Так близок мир поющих, звонок
Зарёю зрящих, озаряющих
Исходом неба в море,
Мир октябреющих хранителей поющих чаш.
Дары их звонов не для нас, для уходящих
Морем в небо кораблей.
Серебряные звоны октября
С рассветом небу отдаёт заря.
Зареет малых звонарей исход.
Груз 200. Порт.

***

Всё то, что не случилось, входит в сны.
Бомбёжки в темноте предельно ярки.
И ты, как имярек нахлынувшей войны,
Седеешь не на выдохе,
На вдохе, и начинаешь жить.
А утро белым колоколом неба,
Готовится звонарь.
И тишина предвестием напева,
Серебряным исходом льдист сентябрь.
Исходом мира в море, корабли
Готовы выбрать рулевых и плыть
На белоснежных парусах на грани с небом,
И небом машет птица как парусами облаков.
И осень октябрит седеющим исходом
Льдистых утр как снов.

СМОТРЯЩИЙ ВПЕРЁД

Из ризы, червлённой солнцем,
выскочил словно гений,
отправившись в путь небесный,
хитон сей бесшовный белый
царицей Еленой положен
сокровищем тихо в Трир,
смотрящий вперёд, в мир.

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

ЖИЗНЬ ПЕРЕУЧЕННОЙ ЛЕВШИ

КАТАСТРОФА

Когда он снимал штаны, из кармана выпадал и закатывался по кровать синий шарик с нанесёнными коричневой краской материками. Жена по утрам не забывала вернуть земной шар на место.

Он уже неделю не ночевал дома. Агентство «Новости» было прожорливо: ему годилось всё, что творилось в мире. Трагедии и катастрофы долетали и вязались в узел здесь, в этих кабинетах. Он же был энергичен и кудряв. Он был главным.

Иногда к нему с юга приезжала гостья. Она звонила жене – отметиться, что приехала. Он всегда был где-то около, когда она звонила его жене.

Так лучше, думала гостья. Лучше пусть она знает от меня, что я уже здесь…

В этот приезд позвонить было некуда: он получил новую квартиру, и телефон ещё не поставили. Значит, не исключены случайности, решила гостья. Но это не по моей вине.

Она наблюдала сумасшедшую жизнь: седые кудри разметаны по плечам, всё на бегу, всё сразу и без продыха.

– Мне не нравится твой застенчивый способ самоубийства, – пеняла ему гостья. – Слишком много форте. Ты же советский человек, штатовского темпа тебе не выдержать…

Три дня они свиданничали – из кабинета в кабинет, из агентства в представительство, оттуда в кафе – и вновь в агентство… Они только и могли молчать и смотреть. Не было ни сил, ни времени.

– Да, – отвечал он односложно, – конечно. Но, наверно, другого времени не будет… Это уже нормально.

У неё привычно твердело сердце от сострадания. Он вытеснил жизнь работой. Работа пожирала всё.

– Кудри некогда подстричь?

– Некогда, – сокрушался он.

– Ты похож на потасканного спаниеля…

Он невпопад спросил, куда она потом. А она показала фотографию мужа. Искоса взглянув, он заметил:

– Лицо стало ещё характернее. Где это он?

– На судне, у берегов Вьетнама.

– Оставь мне, – попросил неожиданно.

Когда спускались в тесной кабине лифта, не глядя друг на друга, он вдруг неловко и потому очень крепко обнял её. Целовал быстро, как всё теперь делал. Лифт остановился, и они освобождённо выскочили, чтобы тут же сесть в тесную машину и ехать дальше. Им везде было тесно вдвоём.

К полуночи вернулись в агентство и остановились в коридоре. Гостью знобило.

– Столичные дожди… Бр-р! – передёрнулась. – Промозглые. Наши лучше.

Он, разглядывая её в сумраке коридора, согласился:

– Да, – наши гораздо лучше. У нас уже бабье лето?

– Наверное, – сказала тихо, – мы обвенчаемся. Благослови нас.

– Нет! – он смотрел напряжённо. – Нет, – повторил ещё раз требовательно. – Ты же знаешь, я не вхож в церковь.

– Что же, самой решать? Опять самой…

Он молча глядел, всё так же напряжённо. Потом протянул свой свитер:

– Утепляйся.

И спросил:

– Ты как относишься к шарикам?

Она тут же протянула ладонь, и он, улыбаясь, опустил в неё земной шар.

Открылась дверь. И вошла жена.

Замер над ладонью взлетевший шарик. Шлепки компьютерных клавиш стали отчётливее. Кто-то прокричал его имя. Звали к телефону. Его убегающий взгляд скользнул к дверному проёму и сам он уже бежал на зов.

– Здравствуй! – сказала гостья жене.

Жена посмотрела на его свитер с размашистой надписью «Сан-Франциско» по груди гостьи и, с усилием отведя взгляд, пошла вслед за мужем. Гостья тоже пошла, автоматически подбрасывая шарик. Жена прислонилась к дверному косяку.

Он говорил в трубку:

– Я не могу сейчас к тебе приехать, я буду мебель домой перевозить…

– Какую мебель! – не выдержала жена. – Ты сейчас повезёшь домой меня. Я жена, а не мебель!

И, гневно обернувшись, перехватила взлетавший над ладонью гостьи земной шар, чтобы вернуть на место. Она сжала его побелевшими пальцами и сковырнула Японию.

ОНА УЖЕ ГЕНИАЛЬНА

Подъезжаем вдвоём с Зиной к дому, торопимся, таксист успокаивает – успеваем!

Видим, что из подъезда выносят гроб, возле него суетятся две женщины, обе недавно кремированные. В это время жизнь вернулась на круги своя.

Всё происходит очень медленно, выносят гроб, ставят на табуретки.

Подхожу близко, гроб красным атласом оббит, в нём лежит одна из только что стоявших рядом…

И вот одна из стоявших, вот она уже лежит, в красном атласе, мертво смотрит в небо белыми пуговичными глазами!

Говорю шепотом:

– Она живая, – она же, – кричу, – живая!

На меня смотрят эти двое, вышедшие из парадной, их похоронили недавно.

Мне что-то отвечают, всё происходит, как во сне или замедленной съёмке, и уже подтянулись люди, уже их много…

Сон.

А эти двое страшно смотрят на меня.

И Зина смотрит, и все пришедшие на похороны смотреть – смотрят на меня.

Зина говорит:

– Какой сюрр!

А я пытаюсь прощупать пульс на шее мёртвой, глаза её все так же широко отрыты и смотрят, ничего не выражая, в небо.

Пульс не прощупывается, и вдруг судорога проходит по телу и лицо искажается, и тело пытается приподняться, я обнимаю, глажу волосы и лицо, говорю:

– Мама, мамочка, – говорю, а мама кричит: – Уберите, уберите от меня эту девочку!

– Почему? – потеряно спрашиваю.

Меня оттягивают, схватив резко и грубо.

– Почему? – кричу я.

Мама отвечает затруднённо:

– Потому, потому что я уже гениальна, а тебе сюда нельзя. Уберите девочку от меня, – кричит мама, – ей нельзя сюда!

Зина всё так же растеряно повторяет:

– Какой сюрр, нет, вы видите, это же сюрр…

Кто-то Зине отвечает, что это ей снится, а Зина орёт басом, кивая на меня:

– Ей это тоже снится? А кому это ещё снится?..

ЖИЗНЬ ПЕРЕУЧЕННОЙ ЛЕВШИ

Сегодня ночью это произошло. Нас догнала любовь. Наша не осуществившаяся, пропавшая за накатившими не нашими событиями любовь.

Наверно, есть такое место, слой пространства и времени, в котором событие, начавшееся и тут же оборвавшееся по целому ряду неблагоприятных обстоятельств, – есть такое место, в котором событие не нарушает логики развития и – не обрывается. А происходит до конца.

В том условном месте, где я обнаружила нас ночью, спустя восемнадцать лет, начавшийся случай нашей любви развивался по законам живой жизни.

…Я ехала на велосипеде. Потом прислонила его к стене флигеля. Залезла на крышу. Здесь лежал альбом чьих-то семейных фотографий в плюшевой обложке. Бог весть, почему лежал. Бог весть, почему я залезла на крышу именно этого флигеля. Но когда я спрыгнула вниз, прижимая к животу альбом, велосипед уже оказался не важен. Потому что под деревом стоял ты и курил.

Я раскрыла альбом, и мы уставились на фотографию: ты был мальчик-мальчик, а я – почти взрослая девушка, коротко остриженная, худющая и счастливая.

Мы только что, два часа тому, – почти сию минуту, если считать назад, сразу за семейным альбомом, по моей психологической минуте, конечно, – расстались с тобой, отпраздновав в портовом ресторанчике сто дней нашего знакомства.

На полированную столешницу ты из подаренной мне чешской сумки высыпал «Метеориты» в разноцветной станиолевой упаковке. Свежие красивые конфеты с орешками. Ещё вытащил неизвестно откуда апельсин – огромный, в толстой пористой кожуре, с наклейкой ромбиком, замечательно смотревшейся на оранжевом фоне, – «Марокко».

И мы стали ждать.

– Чего ждём?

Но ты велел молчать и смотрел на часы.

– Официанта?

Ты покачал головой.

– Мы Время ждём, сейчас оно остановится, через две минуты – смотри…

Ресторанчик висел над морем – прозрачный, высоко поднятый в небо кубик.

В три стороны было море. Мы видели море. Мы висели в море – запаянные в голубой куб. А в центре на столе лежал оранжевый шар. Очень красиво!

Я прозевала две минуты. А ты – ты разломал всё объединивший центр, разломал, разделил пополам – и мы съели апельсин!

– Поздравляю! – сказал ты. – Поздравляю тебя, Ластонька моя, вот уже сто дней, как я тебя знаю.

Подошла официантка, или официант, я не запомнила. Коктейль, холодный от добавленного мятного ликера, был пьяным. Подействовал сразу.

Раздался звук, мы оба среагировали, звук, похожий на… – вот если бы кому-то пришло в голову сделать тонкую, длинную стеклянную иглу, нет, стальную, раскачать её… нет, сделать пилу! Раскачать пилу – до дрожи рождения звука, а потом резко пилу сломать… – и звук бы оборвался внезапно, с характерным тупым хрупом: сначала тонко, тонко, высоко, очень высоко, и – хрумк!

И мы поняли, *что* это сломалось. Это во времени произошёл сбой, и мы оказались обречены на несобытиё. Какое-то время нам ещё оставалось, вот это: тонко, тонко, высоко, очень высоко – до нелепого «хрумк».

Мы приняли нашу судьбу. Мы знали точно – сто счастливых дней у нас есть. Этого у нас никто не отберёт. Сколько ещё выпадет – узнаем.

И я схитрила. Я решила положить в память, как в карман, мгновение, ты понял, какое. И положила.

…А сегодня ночью колёсики времени сошлись так, как надо было, чтобы второй раз в жизни, спустя восемнадцать лет, раздался опять – но уже в обратном звучании – хрумк: очень высоко, высоко, тонко, тонко…

Это стоило мне кисти левой руки. И я не повторила своей хитрости. Зачем? Я уже знаю, чего стоят такие хитрости. Целый век совершенно другой, не нашей с тобой, жизни, и вот теперь ещё – утрата левой руки.

Кисть завернули в целлофан и сказали:

– До завтра положите в морозилку.

Я представила, как она там лежит, между полкило говядины для супа и бычками для кота. И не захотела.

Вот тут и появился ты. Не изменился только твой характер. Ты сказал:

– При чём здесь её холодильник. Какое завтра. Чушь. Сейчас. Сию же минуту.

И когда я открыла глаза, то уже была палата; забинтованная по локоть рука жутко болела.

Ты сидел рядом.

– Всего сутки прошли. Будем надеяться. Будем ждать. Вместе, – добавил ты как само собой разумеющееся.

Я поняла, что никто из моих ничего знать не может. А из его близких? И меня занимало, можно ли отсюда позвонить *туда*? И что *там* случилось со мной? И с ним. В наших отдельных жизнях.

Может быть, подумала я (так и подумала), может быть, одновременно, в тот миг, когда колёсики совпали и мне перекусило левую кисть (хорошо, что не шею), в моём славном городе Одессе и его славном городе Симферополе осиротели подросшие дети?

Я видела, что он не подумал. Никакой синхронности, надо же…

И я смутилась: то, что я делала, втихую и отстранённо, показалось неприличностью.

Так нельзя. Остаётся принять происходящее за реальность и оставаться в ней.

Я попробовала: как там с реальностью, данной мне в ощущениях? – И заплакала.

С ощущениями было всё в порядке. Левая рука ответила такой болью, что Сашенька наклонился и стукнулся лбом о край тумбочки – высокий, он вечно промахивался, цепляя углы.

– Ластонька, что?

Я ревела в голос. А он гладил по плечу, и оно зверски болело, левое плечо, может – ещё больше, чем кисть.

Я ревела, он озабоченно и ласково гладил меня:

– Наркоз отходит. Значит, скоро разрабатывать кисть, всё будет хорошо, маленькая моя…

А виски у него были седые!

И я опять отстранённо подумала, что… ведь на четыре года я старше, и это у меня…

Но нет! Это не у меня, это у его матери, *там, тогда*, – были уже подкрашены…

Наркоз действительно отходил, и я опять вернулась в реальность слёз, поглаживаний и ласкового прибарматывания:

– Разработаем руку, мячик теннисный купим, не плачь, усни, всё пройдет, спи, спи.

Как бы ни так, пройдёт! Куда оно станет проходить? Но всё тоньше, тоньше, тише становился Сашин голос, всё прозрачней его лицо, и рука моя, левая, туго перебинтованная, приживлялась там, под повязкой, прививалась ко мне, как яблоневый подвой на груше.

Цепляясь последним ощущением – болью – за ускользающую, истончающуюся реальность, плача и не соглашаясь с неизбежным, я засыпала под тихий ласковый голос:

– Спи, девочка, Ластонька моя, всё будет хорошо, любимая, спи.

МУЖСКАЯ ПРОЗА

У него было место 7«Г», а у меня – 7«В». Рейс Одесса-Париж.

…Он проходит мимо меня, будто мы и не сидели полдня рядом. Противный донельзя. Ногой толкает картонную коробку. В левой руке паспорт, в правой – зачехлённый ноутбук. Таможенник спрашивает, кивая на водку:

– Это что?

– Водка это.

– Посчитайте!

Посчитал.

– Нельзя, – удивлённо сказал француз. – Нельзя столько.

– Так не для одного же. Одесситы, – зычно закричал, – поднимите руки.

Двадцать рук поднялось на его голос.

– Видите, даже не хватает, – сказал.

…Так и шёл по зелёному коридору, толкая ногой свою коробку под понимающие ухмылки таможенников. Оценили.

…Он в машину загружался, когда я споткнулась. И круглая моя коленка обнажилась, и кровь побежала. И петельки капроновые побежали вдоль полной левой в английской «лодочке». Запихнул он свою коробку в салон машины и бросился ко мне. Клетчатым чистым платком промокнул ссадину.

– 3,14левин, – представился.

И я оказалась на заднем сидении машины рядом с водкой.

– Алкоголик?

– Почти, – ответил. – Писатель.

– Что пишете?

– Мужскую прозу, – оглянулся и застрял взглядом на раненой коленке.

– А зачем же…

– А поспорил, – заторопился он. – Сколько надо, столько и провёз, выиграв, как видите. И, кажется, вдвойне. А вы о чём спрашиваете? О прозе? О водке?

– О тебе!

Опять оглянулся не без интереса.

В общем, ящик водки он доставил по адресу. А меня – нет.

Четвёртые сутки я смотрю на Париж из окна его мансарды. А меня разыскивает мой 3,14касо. Я сообщила ему о приключении, но в студии, как договаривались, не появилась. Иногда мы с пИкасо переговариваемся. И всякий раз, звоня ему, я смотрю в расщелину улицы. Парижане кажутся приплюснутыми высотой. Они бегут под зонтами, словно грибница передвигается с места, торопливо шевеля шляпками, разноцветными, как сыроежки.

– Думаю, еще не завтра появлюсь, – сказала сегодня 3,14касо.

…3,14левин почти не спит. Задумчиво трет виски. Глядит в монитор, смаргивающий текст. Правая кисть пИлевина легонько подрагивает, шевеля мышкой. Бежит строка: «Куда идёшь-то, – крикнула Любочке задорная баба в оранжевой безрукавке, с ломом в руках стоявшая за воротами».

Любочка – это я.

Я сказала пИлевину, что иду, наконец-то, в студию. Уже пятые сутки иду. И вообще… Сидение начало раздражать.

За пять суток я похудела на пять килограмм: было от чего. Но мне уже стало скучно, скучно смотреть медленное шевеление строчек на марше. Скучно смотреть на шевеление грибницы внизу. На идущий дождь. И окно у него давно не мыто…

Тусклым голосом пИлевин сообщил, что ему пруха пошла. Хорошая проза. И проворчал:

– Не сбивай с ритма и сиди, сколько положено сроком.

Срок он сам определил.

Монитор высветил: «А если провод под током разорвать, что будет?».

Я закрыла пИлевину глаза поцелуем, и сообщила, что читать скучно.

– Меня или вообще?

– Читать так долго. Ты медленно пишешь.

На нас наступали шестые сутки.

В три утра позвонил пИкасо, и автоответчик оповестил (трубку мы не снимали), что какого чёрта, совесть нужно иметь, а если ты шлёндра, то это проявится в натуре, картина отобразит, и ты себя за локоть укусишь, потому что я выставлю её на вернисаже.

пИлевин прислушался, сбился с ритма, спросил:

– Портрет? В каких тонах?

– В цвете беж.

– И без? – спросил задумчиво.

Задышал потом, совсем как я перед звонком. Тут всё и кончилось. Он сразу зашевелил правой кистью, чем раздражил меня окончательно. Остывая, спросила:

– А экономический эффект какой ожидается? Этих твоих шевелений? – и хлопнула его по руке.

– Это обязательно надо? – раздражился пИлевин.

Но тут же опять пальцы его побежали по клавиатуре, а по экрану – строка: «…или расчёт экономического эффекта, или акт его отсутствия. Ещё нужен акт его использования».

– Как используют акт?

– Как повкуснее, сладкая моя, – рассердился вдруг.

И опять он сидит, уставившись в голубое мерцание, и правая кисть его вздрагивает.

Монотонно, дремотно стучит дождь в мансардное окно. Стекло цветными разводами размывает мерцающую на противоположной стороне уличного провала вывеску кафе «Катманду».

Мы периодически спускаемся туда перекусить, устав дышать часто, как лошади, загнанные прыгающим ритмом строк…

Вновь автоответчик сообщил голосом пИкасо, что неделя на исходе, что пора пИлевину роман закончить, и пора ему, 3,14касо, начистить пИлевину ряшку, и что он, пИкасо, ждать притомился. Не у одного пИлевина процесс, и если ты, со своим романистом, сейчас же в «Катманду» не окажешься…

То вести из Катманду взбудоражат три города как минимум, потому, сообщил автоответчик, что он, пИкасо, в «Катманду» уже есть, и разбил столик на равнобедренный треугольник, и – вы ведь меня слушаете? – ты, муза в квадрате, спускайтесь для поесть и поговорить, не нарываясь на повторное приглашение. Или я скажу вам, что будет дальше.

И мне уже не было скучно. Я возбуждённее поглаживала пИлевина за ухом, голос пИкасо заводил, и ухо пИлевина твердело под моей рукой. И когда я нежно прикусила его подзатылочную убегающую в ворот свитера складку, пальцы его быстрее забегали по клавишам: «Сколько раз тебе говорить – никогда не надо забегать вперед…».

– Сколько раз тебе говорить – никогда не надо забегать вперёд, – считала вслух автоответчику.

И переспросила пИлевина:

– Не ошибся, кому? пИкасо? Любочке?..

Дождь добарабанился до точки. Мы с пИлевиным вошли в «Катманду». 3,14касо приглашающе рукой помахал. На столике перед ним стояли фужеры с игристым красным, и нервно дымилась сигарета в пепельнице.

Присели не здороваясь. Три фужера звякнули.

пИлевин 3,14касо сказал:

– Finite…

– Finite, – подтверждающе отозвался пИкасо.

Оба заговорили, агрессивно перебивая друг друга, что:

– …доводить необходимо до напряжения невероятного…

– …тугая ткань жизни, пока слово не брызнет бисером…

– …пока краска не подсохнет, не свернётся струпом – ждать, ждать, чтобы сковырнуть лишнее, смыть к чёрту растворителем до чистого света, проявить прозрачность…

– …звук, потому что, в резонанс входя…

– …и тогда на грани деформации…

– …исправление искажения невозможно без горлового напряга… нахлынет горлом и всё, таки да…

Что-то подсказало счастливую мысль, что если я смогу, надо сбежать сейчас и сделать…

Получилось! Запыхавшись, взлетела по узкой лестнице под крышу, утонула взглядом в замершей на точке строке, и пальцы заторопились по клавиатуре: «Вдруг у Любочки возникла счастливая мысль, что-то подсказало ей, что если она сможет встать и выбежать в коридор, всё произойдёт… Наверное, похожие мысли пришли в голову и остальным».

Кисть моя дрогнула, как шесть суток вздрагивала кисть пИлевина, я дописала последний, завершающий абзац рассказа шестидневной выдержки. Неожиданно потемнело. В темноте я так и записала: «Неожиданно погас свет и, пока она на ощупь искала ручку, на неё сзади навалилось…».

В этот момент затрещал телефон, и голоса пИкасо с пИлевиным, переплетаясь, заорали с автоответчика:

– Горячее подают, спускайся, если ты там.

…В кафе меня не ждали. Три порции горячего покинуто дымились. Официант сказал:

– Приятного аппетита. Молодые люди заплатили.

Я съела все три порции, допила игристое красное из всех бокалов. И наступило хорошо.

…Спустя три года, поджидая Мсье в его кабинете, я дочитывала последний абзац рассказа «Вести из Катманду». Хозяин кабинета запаздывал.

«…А когда дверь, к которой Любочку прижала невидимая сила, все же раскрылась…».

Торопливо вошел Мсье, глянул на книгу с жёлтой стрелой на обложке, хмыкнув, заметил:

– пИлевин это некошерно!

Зазнобило – как теперь выкрутиться из этой странной истории?

– Это Москва… – начала я мысль…

– Это Лев! – прервал Мсье, и рассказал анекдот про зайца, позвонившего льву и ох…евшего от разобравшей храбрости в эпоху тотального разгула демократии.

Возле дивана – да по всему кабинету, стояли бутылки с разным и крепким, все слегка попробованные, оптимистически полные больше, чем наполовину. И пошла я, оттягиваясь, отогреваться.

…Он сидел за столом, что-то быстро набирая на компьютере, рука его, не вздрагивая, плотно накрывала мышку…

Совсем другая рука, надёжная. Не как у пИкасо, не как у пИлевина.

Мсье спросил не оглядываясь:

– Из пяти бутылок уже попробовала?

– Сосчитал?

– По булькам, – рассмеялся.

– А знаешь, – сказала я, – «Вести из Катманду» в том же виде, в каком возникали на мансарде. Представляешь, ничего не изменено.

– Не примазывайся, – ответил, – к постмодернизму. – Ты типичная модернистка, у тебя не получится мир переделать. Только довообразить реальность! И вообще, положи с прибором на эти ваши «Вести»…

Взял «Жёлтую стрелу» двумя пальцами, открыл окно – и пальцы разжал.

Так закончилось парижское путешествие в невыдуманный рассказ «Вести из Катманду», появлением моего портрета на вернисаже в галерее «La Maison Rouge» и моим возвращением к Мсье с этим портретом под мышкой. Закрутившийся роман пИкасо с пИлевиным обеспечил портрету успех, всё своё негаданное счастье вложил художник в мою улыбку. Написана я была безжалостно счастливой.

Мсье недолго разглядывал портрет.

– Убери с глаз долой, – сказал со странной интонацией.

– Куда?

– Маме подари, свинёнок.

Напрасно мсье это сказал. Разобидевшись, я повесила портрет прямо над его письменным столом. Чтобы отвлекать и мешать. И у меня это получилось.

За окном Александер-хаоса, расплескивая лужи, чувствовались машины, зонты, и казалось, что парижская грибница переползла сюда, поближе к набережной, почти под кинотеатр «Ударник». Я встала, подошла к окну, проверила.

Как ударило: так и есть! За окном Париж. Льёт дождь, на остановке стоит троллейбус. Напряглась и вспомнила вялую фразу пИлевина: «Троллейбус уже тронулся, и теперь надо прыгать прямо в лужу».

Надо… значит… Если по-мужски.

КСЕНЬКА И ПОЭТ

Погода стояла жаркая, сухая. Люди вешали на окна простыни и брызгали на них водой из пульверизатора. Белые флаги сдавшихся на милость природы москвичей взывали к прохладе. Каждый первый покупал вентилятор с большой лобастой головой. Хотели дождя. Выискивали в белёсом небе тучку. Рассказывали друг другу, как им млостно от зноя. И что в Москве летом жить нельзя. А надо в деревню, где коза с молоком и речка парная под боком.

Я жила в июльской Москве, была счастлива и не мешала мне настоянная на известке и асфальте пыльная духота. Просыпалась я от карканья ворон, треньканья синичек и чириканья воробьев. Ещё пахли розы из моего повторяющегося сна: много лет назад было утро в южном городе, когда, проснувшись, я обнаружила, что руки у тебя, спящего рядом, до локтей исцарапаны, а по всей комнате разбежались тазы, банки, вазы, чайник. И во всём были розы. Белые и красные, жёлтые и розовые, бархатные и чайные.

Твоё мне поздравление.

Я счастлива своим воспоминаниям о самом-самом дне моего рождения. И этого счастья мне хватило до сегодняшнего дня. А день не задался.

Пришёл Пиня, соседский пёс, и написал на тряпку под дверью. Пришли тараканы рыжие и всё на столе истоптали хрупкими, прозрачными лапками. Милиционер пришёл, спросил вид на жительство, но я не открыла ему, проводив взглядом через глазок.

В новостях говорили так и о том, что было понято: ты в Кремле в Белом Доме на загородной даче Клинтона в гостях у Пиночета пьёшь солёный чай с Чингисханом и говоришь о любви с Ким Ир Сеном.

Ты очень занят и мне не позвонишь.

Надо ли писать, что мне ненавистны Кремль, Белый дом, чужая дача, все эти путаники и диктаторы?

Нет, я ничего не хочу взрывать, у меня к ним глубоко личное, а не контрреволюция. Я перетерплю их – и дождусь, когда однажды вечером революция сдохнет сама собой.

Вечером ты позвонил в дверь. И внёс в комнату очень большой букет тёмно-бордовых роз. Я спросила: и никаких революций?

Ты подтвердил, и я поняла, что счастье – величина неизбывная. Мы сделали с тобой так, что от счастья у меня по щекам потекла тушь. Ты прижал меня к груди, промокнул чёрные слёзы грудью, как обычно, и мы поехали по остывающей от жара Москве праздновать очередной мой день рождения.

И всё бы хорошо, но рядом сидела Ксенька. Смотрела внимательно. На ней были мои строгая чёрная юбка и белая кружевная блузка. Тело у неё сбито и проворно. Руки хваткие, крепкие. Голос командный. Слова доходчивые. С ней надёжно. Если ей верить. А если допустить, что у неё своё дело на уме, то поймёшь, что сама ты шланг, шнурок, полная и круглая идиотка.

Но я Ксеньке верила – и не допускала. Поэтому она второй месяц жила со мной в московской жаровне, подставив плечо под мою житейскую корзину, оказавшуюся мне не по силам. И сегодня Ксенька наблюдала моё счастье.

В ресторане было хорошо. И вдруг всё оборвалось.

…Я сидела на ступеньках, стёртых и ленивых, и считала, сколько раз мимо меня прошли ноги. Ноги прошли девять раз. Была ночь. Пахло кошками. Метро не работало. Идти было некуда. Да я и не знала, где, в каком районе, находится эта лестница.

Ксенькин голос звучал в ушах. Говорила она: «Я не люблю его, но как хорошо-то мне с ним. Представляешь, – говорила Ксенька, – мы стоим под балконом, а ключей нет. И вот мы лезем на второй этаж. Ну, он – ладно, он полковник. А я-то – я. И вот лезу. И всё у нас класс.

А потом приходят дети, а мы пьём на кухне чай, а дети говорят, ну ты, мать, даёшь. Молодец наша мать, – говорят дети полковнику и друг другу».

Дети у Ксеньки молодожёны. Им всё в восторг. А Ксеньке не всё. Она говорит: «Вот всем он прекрасен, кроме того, что полковник. Я не могу примириться. Ладно бы, был войсковой какой, а то ведь из фирмы. Он, правда, разведчик вроде, а не говнист. Но поди разберись, когда из фирмы. Поэтому ничего у нас с ним не будет».

Я смотрю на неё сквозь мрак этого странного места, не понимая, как мы сюда попали: лестницы и всё такое, – и думаю, а чего не будет, когда и так всё есть? И через балкон, и всё класс, и чай с детьми. Это никуда уже не денется, уже будет жить в памяти. Молчала бы о фирме, если только это и жмёт.

А голос Ксеньки обороты набирает, разрастаясь в рассказ.

И, наконец-то, достаёт меня московская духота. Кошками, опять же, воняет. И место вместо ресторана чёрт знает какое.

Спрашиваю: «Ксенька, мы как с тобой здесь?».

Рукой махнула – неважно, мол.

Говорит Ксенька уже не мне, а кому-то, кто меня хорошо знает: «И вот мегера стоит, плачет, а фурия бегает и вопит. А моя Забота – прощается со своими».

Эта вырванная из контекста жизни фраза доконала меня. И тут ещё духота московская. Я разъярилась до взрыва.

Тут машина и приехала. Мы бы поехали к тебе. И всё было бы хорошо. Но рядом сидела Ксенька и наблюдала.

Поэтому отвезли нас не к тебе, а в Измайлово, в съёмную квартиру, где и стояла моя неподъёмная житейская корзина. А на столе, в трёхлитровом бутыле – твои тёмно-бордовые розы.

Спала я в эту ночь крепко. На рассвете закаркали вороны. Ксенька прошлепала на кухню делать зарядку. Она следит за своим телом. Она сморкается по утрам, как… ну, не знаю… как мужик, что ли, прочищая дыхание. А потом этими руками готовит завтрак.

Ладно, мало ли, кто и как приводит себя в порядок по утрам.

Ксенька не любит, когда ограничивают её свободу. Под свободой она понимает возможность жить и действовать по своим представлениям. У неё своеобразные представления и о жизни, и о возможностях свободы.

Состоит Ксенька из комплексов. Один не развязан до сих пор. Это узел из мужчины и собаки. И мужчин, и собак Ксенька боится. Они у неё похожи друг на друга – и морды, и лапы, и клыки есть, и хвостами виляют – вроде улыбаются, а потом укусят. Так вот, чтобы не кусали и чтобы не пугаться, Ксенька кусает первая.

Поэтому Ксеньке нужен психолог. Чтобы она пришла к психологу и сказала – вот у меня какая проблема: всех кусаю рано или поздно. И мужчин, и собак. Много визга и шерсти во рту. Помогите. А психолог поможет ей.

Но у Ксеньки не получается пойти к психологу.

Недавно пришёл в гости совсем пьяный поэт, очень похожий на большого мохнатого пса.

Ксенька ему уже говорила в прошлые разы, чтобы пьяным не приходил. Ни за что.

А он пришёл. Он пришёл, а её дома нет. Пока. Пока я одна дома. Поэт говорит, что я ему нужна, чтобы кофе сделать. А вообще – не нужна, потому что – «Ксенька где?».

Я кофе подаю и отвечаю, что шёл бы ты, дорогой, домой. Спать. А он хочет Ксеньку. Я ему беседу к кофе – про жену, про детей, – а он: «Ксению хочу. А Пенелопу не хочу». А детей не приплетай, – говорит, – всё равно эту шалаву дождусь.

Метро уже тю-тю, пятнадцать минут второго. Из дома-то в ночь не выставишь поэта. Поэт он хороший, когда в книжке. И когда трезв. А на нашей кухне он-то не в книжке. Это он в комнате в книжке, а на кухне – весь. Целиком. И пьян до безобразия. Но тихий. И говорит со мной о «чувствах к Ксении».

Я очень спать хочу, и дышать мне возле него трудно. Не знаю, как пахнет сивуха, но он, по-моему, пахнет хуже. Я терплю. И оба её поджидаем.

Наконец, является и тоже… не без того. Но у неё шофе поменьше.

Увидела Ксенька пьяного поэта и стала адский огонь на поэта изрыгать. Вот прямо стоит – и изрыгает. А он вокруг неё бегает, суетится: «Умойся, – говорит, – полегче станет». А она сквозь огонь ему: «Знать тебя не хочу, ты зачем здесь такой? Ты чего пришёл пьяный?». А он к ней руки тянет. Взял за плечи, она плечами как дёрнет: «Иди! – со злостью говорит, нескрываемой злостью, даже с омерзением. – Иди отсюда прочь!».

А он растерянно: « Ты меня гонишь? Всё кончено, значит? Подтверди».

Она как даст ему пощечину.

«Ну, – сказал, – я пошёл. Где тут у вас окно»?

И вышел – с третьего этажа. Не сразу вышел, посидел минутку поперёк узкого подоконника, в глазах успел трезвый ужас проявить, пока ждал, что его остановят. Останавливали. Но в ступор вошли от ужаса.

И полетел он всеми своими девяноста двумя килограммами в густоту ночи. А там – асфальт. А здесь – немая сцена: те же минус поэт. Очень хороший поэт, между прочим. Своё место в литературе уже нашёл, и останется.

Вот так Ксенька кусает своих собак.

Мы к психологу обратились, и к адвокату тоже – чтобы Ксенька могла дальше без ужаса от произошедшего жить.

Психолог и адвокат объяснили, что не виновата она. Он сам к ней пришёл. И ушёл, как и куда сам захотел. А выбор, через дверь или через окно, тоже сам сделал. Ксенька тут не при чём. Водка при чём и жизнь семейная.

Про семейную жизнь нам теперь многое понятно. И мне с Ксенькой, и жене поэта.

НЕ ПОМИНАЙТЕ ЛИХОМ

Нос большой. Кисти рук большие. Глаза огромные. Кожа светится. Химическая завивка. Тяжёлый шаг. Зовут Наталья Леонидовна. Мне сказали – идите, вас зовёт. Со всеми знакомится с двенадцати дня.

Было – половина четвёртого. Наталья Леонидовна действительно такая – и грузная, и светится. Сказала:

– Я ваш новый директор. Хотите поехать в Москву? Нужно кого-то одного послать на курсы переподготовки. Мне хочется – вас.

– Почему меня?

– Вы работаете неполный год, а публикаций больше, чем у других за тридцать лет. Вы же в отделе публикаций работаете?

– Да.

– А работать хотите?

– Нет, не хочу. Я в принципе не хочу работать. Но из всех моих работ эта – наиболее интересная. Только страшно.

– Что вам страшно?

– А нет ничего страшнее документов, они после жизни и вместо жизни. После – мне ещё понятно, а вот вместо…

– Да, – сказала Наталья Леонидовна, – я заметила, что тематический разброс у вас – ужасно и ещё более ужасно.

– У меня катастрофическое сознание.

– А я думала, карнавальное.

– А с чего это вы так думали?

– А с того профсоюзного собрания, на котором вы всем сообщили, что профсоюз – дело добровольное, и потому вы добровольно его покидаете, положили профбилет на стол и вышли без дальнейших объяснений. Мне рассказали, я и подумала: карнавал. Так поедете в Москву, в историко-архивный?

– Поеду.

– Ну, тогда идите, пока работайте.

Так мы познакомились.

У нас противные приморские декабри. Мряка, холодный бисер моросит, ветер с моря – кажется, в каждой дождинке песчинка, царапает лицо. В это время в Одессе тоскуют все.

…Мы с директрисой шли вдоль по Пушкинской, и Наталья Леонидовна говорила:

– Вы понимаете, я ничего не могу сделать, он очень хороший мальчик, но иногда ему кажется, что – самый плохой на свете. И чем больше я его уговариваю, что нет, хороший, тем больше он не любит себя и думает, что плохой.

Махнула рукой и вдруг:

– Послушайте, он вырос из пальто. Хорошее пальто, у вас ведь двое, вдруг кому-нибудь из ваших мальчишек пригодится. И посмотрите заодно на него внимательно.

– На пальто? – спрашиваю.

– Да нет же, на Сашу. Я уже знаю, вы увидите главное. Я вас очень прошу, скажите мне, что это за главное, что главное в нём.

Я, когда пальто забирала, смотрела, а Саша борщ ел. Бабушка его уговаривала показать маме дневник. Саша сказал, что ни за что не покажет, то, что в дневнике, маму огорчит. А я на него смотрела и видела – бездна.

И там, где дна нет, там и бабушка, и Наталья Леонидовна, и три птицы летят. Две всё выше поднимаются, а третья – в глубину.

Потом, недели через три, директор вызвала меня к себе в кабинет:

– Вы в Москву уезжаете через неделю, я вас очень прошу, когда вернётесь, не разговаривайте ни с кем до тех пор, пока у вас пара публикаций не выйдет. Просто молчите, пишите и публикуйте. А там я вам всё объясню. И так печально на меня посмотрела, что я всё поняла сразу.

– От вас требуют меня уволить?

– Догадались.

– Вы же спасаете, в Москву отправляя. Я успею, сдам разницу, привезу вам диплом, вам же дипломированные специалисты нужны? Думаете, поможет? Я сделаю…

– А успеете?

…Я вернулась через три месяца. Первое, о чём она спросила:

– Зоя Михайловна, ну, что вы скажете мне? Что Саша? Я знаю, я ведь видела. Поняли вы что-то. Что?..

Что же мне ей, про пропасть, про птиц рассказывать? Про то, что жизнь кончилась? И только кто-то один живым останется. Но жив ли он будет. Всё ведь кончилось. Всё. Пропасть. Бездна.

– Не говорите, не говорите мне ничего, – вдруг лицо руками закрыла.

Я рассказала ей, как интересно было учиться. Как потеряла в метро свой написанный диплом и написала новый, совсем другой. Как его защитила на «пятёрку» с рекомендацией к публикации, но не знают, как и где публиковать, потому что он и антигосударственный, и антисоветский, и антиленинский.

В «АиФ» взяли, и в «Огонёк» взяли… И молчание.

А диплом получила, вот – держите. Это аргумент для?..

– Ну, вот, так я и знала, – грустно сказала Наталья Леонидовна, – просто у вас не будет. Неужели обработали Бунинское стихотворение?

– Да, получилось.

– И «Окаянные дни» нашли? Сослались?

– Сослалась, нашла.

– Значит, специально написанный диплом в метро забыли, чтобы обратного пути не было?

– Вроде не нарочно.

– Нарочно, нарочно, – сказала Наталья Леонидовна, – я уже вас понимаю. У вас склонность к необратимым поступкам. Надо же, значит, успели экзамены все – и много досдавали?

– Много.

И я вдруг ей сказала фразу, которая повисла отдельно от нашего с ней разговора, как топор над головами:

– Мы и живём, Наталья Леонидовна, необратимо. И много проживаем, много больше, чем хотелось бы.

Она засуетилась, стала бумажки перебирать на столе. Когда нервничала, всегда покашливала. А тут прямо зашлась кашлем. Смотрит на меня исподлобья, спрашивает: что имеете в виду? А другие разве не так живут?

– Другие как-то иначе, – и я отвернулась.

– Когда вас вижу, – сказала Наталья Леонидовна, – боюсь чего-то. Нет, не вас, но боюсь очень. Такое ощущение, что возле вас сильный ветер.

– Наталья Леонидовна, в Приморске всегда два ветра сталкиваются, степной и морской. Возле меня какой?

– Ваш ветер не пахнет морем. Пахнет солнечной пылью.

– И моя мама тоже так говорит…

– Знаете, как это страшно – запах солнечной пыли? Мне кажется, так пахнет смерть. Потому что запах сухой земли, по ветру развеянной: пыль, пыль – и большой ветер. Вы что-то знаете о смерти? Чьей?

…А я опять увидела: одна птица – в бездну, а две – в глубину неба, синего-синего. Посмотрела на директора, она плакать начала.

– Что, спрашиваю, что – с Сашей что-то?

– Нет, – отвечает, – с вами. Всё равно уберут вас из архива, не дадут работать.

А я о другом в этот момент думала. О страшном.

Ну, в общем, в архиве мне работать не дали. Пролили на чугунную винтовую лестницу подсолнечное масло. Что было делать? Аннушка уже масло пролила! – вспомнила я Берлиоза…

Вымыла лестницу с порошком. И подала заявление об увольнении.

Спустя время позвонила мне секретарь, рыжая Танька. Сказала голосом тусклым и кашляющим, как Наталья Леонидовна кашляла:

– Зой, а у нас похороны. Приходи. Он их топором зарубил.

– Кто, – спрашиваю, – кто их зарубил топором?

А Таня удивленно:

– Ты не о том спрашиваешь.

– Я знаю, – говорю, – я знаю. Наташу и маму её, да? Не говори мне ничего, я всё знаю.

– Откуда? Так ты придёшь?

– Нет. А Саша где?

– Сашу забрали.

– В больницу?

– В больницу. Тюремную.

– Ну, всё, всё, не выйдет оттуда. Квартира у них хорошая.

– Да, – говорит Таня, – все об этом говорят. Хорошая квартира.

В эту ночь я не спала. Сидела на кухне, курила. А потом взяла Сашино зимнее пальто, в котором мой сын теперь ходил, и ножницы…

Я его распарывала, распарывала, до утра. А утром выбросила в мусорный бак. И подумала: никто его носить не будет. А сыну утром в школу идти.

– Мама, – говорит, – мама, где моё пальто?

– Висит на месте… – соврала.

Всей семьей искали пальто. Так и не нашли. Удивились. В этот же день купили новое.

Так я никому ничего не объяснила: ни почему на похороны не пошла, ни куда пальто делось.

На сороковой день влетел в комнату голубь. Он бился о стекло книжного шкафа в том месте, где стоял путеводитель по архиву. Не смогла поймать голубя. Испугалась его повредить. Я просто ушла из дому, оставив балконную дверь открытой. А когда вечером вернулась, все притихшие были…

– Что случилось?

Сын сказал:

– Мама, у нас голубь о шкаф разбился.

– И?

– Не пугайся, – сказал сын, – мы с Игорьком похоронили. Ты не рассердишься – в коробке из-под твоих новых туфель? Он, наверное, перепутал стекло шкафа с оконным стеклом. Бился, бился, бился об него.

С тех пор я ни разу не открывала путеводитель по историческому архиву. Я вообще эту книгу не трогаю. Не смотрю на то место, где она стоит. И даже не знаю, есть ли она теперь на полке…

Мне кажется, если открыть путеводитель, стрелки часов пойдут в обратную сторону, время отступит вспять. Я боюсь, что всё повторится. Я только не знаю, где и когда. Но обязательно повторится.

Прошло много лет. Саша не выйдет в общий мир людей. Он теперь пожизненно – при тюремной больнице. Выучился на священника и вжился в работу. Построил часовню. Мне сказали, очень человечный батюшка, имя у него теперь – отец Леонид.

Отец Леонид недавно прислал письмо, мне передали. Написал: «Каюсь каждый день. Не поминайте лихом, Зоя Михайловна. о. Леонид». Потом зачеркнул и написал: «Саша».

АЛЕКСАНДР КАЦУРА

СУДЬЯ И СМЕРТЬ
рассказ

Жить – значит чувствовать опасность и нищету нашего духа, обусловленного плотью, и предчувствовать полноту существования.
Агустин Басаве

Ввели подсудимого. Кузовков сразу не понравился судье Ходыреву. Худой, нервный, весь какой-то перекрученный. Огромный кадык на длинной плохо выбритой шее. Глазки маленькие, испуганные, хитрые. Но это сейчас они испуганные. Павел Евграфович знал, какими пустыми и безжалостными бывают эти глаза в момент насилия, в момент убийства.

На следствии Кузовков был изобличён полностью. Под давлением улик признался во всём. Суд должен был быть быстрым, суровым и справедливым. Хмуро молчали сидевшие в зале люди. На второй скамейке слева сидели родственники Маши Кротовой – мать, братья, две тётки, кто-то ещё. Коротко и глухо говорили свидетели. Грозную речь произнёс прокурор. Среди вещдоков особенно выделялся гипсовый слепок следа на дороге: чётко было доказано, что это след от колеса трактора Кузовкова. Всё совпадало – и день, и час, и ответвление лесной дороги. «Здорово иногда работают эти архаровцы, – думал судья, – сколько хозяйств проверили, да ведь нашли же…».

Неожиданно плавное течение суда было нарушено. Кузовков отказался от своих показаний. Плачущим, почти рыдающим голосом он стал говорить, что признался лишь после мучительных избиений. К тому же следователь якобы сказал ему, безжалостно глядя в глаза: всё, брат, улики против тебя; не признаешься – точно кокнут, не сомневайся; если же чистосердечное – дадут лет восемь-девять, за хорошее поведение отпустят через шесть, вернёшься красавцем. А опыт какой получишь! Девки таких опытных да пострадавших знаешь как любят! А так… Рассуди сам.

Павел Евграфович считал себя человеком добрым, даже либералом. Уж по крайней мере не судья Никольский. Этот готов был рубить головы за украденный мешок комбикорма. А Ешонкина, знакомая судья из Подмосковья? Марь-Пална, кажется. Она такое мнение выдвигала: как же не побить! Ежели следователь как следует не побьёт, то кто ж сознается? Нет! Павел Евграфович не таков. В одном только случае становился он непреклонен: когда речь шла об убийстве или изнасиловании молодых женщин, а особенно – детей. В его голове тогда грозно и даже с каким-то звоном раздавался шепот: око за око…

Кузовков говорил много, путано, шмыгал носом. Павел Евграфович оглянулся на старшего следователя Луковцева. Тот, широкоплечий и грузный, сидел в своём неизменном джемпере, поверх которого на все пуговицы застегнут мешковатый пиджак с орденской планкой. Он давно затаил ироническую усмешку в углах рта. А сейчас позволил себе довольно громко хмыкнуть. Владимир Андреевич Луковцев был опытным следователем, с огромным авторитетом. На его счету раскрытий – не счесть. Не верить ему оснований не было.

И всё же Павел Евграфович решил уточнить.

– Вот вы, Кузовков, жалуетесь, что вас били…

– Ещё как, гражданин судья. В кабинете два раза. Я, считайте, сознание терял. А в камере – так каждую ночь. Подсаживали ко мне таких соседей… безжалостных… – Он шмыгнул носом и криво, жалко улыбнулся.

– Допустим. Где следы избиений?

– Да вот они, везде, – подсудимый задвигал своими мосластыми рычагами.

– В деле нет соответствующих справок от врача, – сказал судья. – А кто же вам поверит на слово? – Он почему-то пригляделся к ушам Кузовкова. Крупные, некрасивые, с приросшими мочками. «Смотри-ка, точно по Ломброзо – преступный тип».

– И вы, сильный молодой мужчина, из-за каких-то там избиений повесили на себя убийство? – с ноткой презрения спросил Павел Евграфович.

– Дак он же сказал, что иначе расстреляют. – Кузовков, сдерживая прорывающийся страх, уставился на Луковцева.

Тот снова хмыкнул.

– Ну хорошо, – сказал Ходырев. – Объясните тогда суду ещё раз, где вы были в тот день с шестнадцати двадцати до семнадцати?

И Кузовков снова начал путаться. По одной версии он лежал пьяным. И его, естественно, никто не видел, поскольку пьяным он не любит показываться на глаза и прячется где-нибудь в дальнем сарае на сеновале. По другой версии, он только ещё ехал на своём тракторе в Мартьяново за водкой. Но была у него и третья версия. Будто бы он ехал в лес заготовить слеги для строительства забора, которые ему заказал... А вот кто заказал, он вспомнить не мог.

«Изворачивается, сволочь», – подумал Павел Евграфович. Он вдруг явственно увидел растерзанное тело Маши Кротовой, и его затопило какой-то клокочущей яростью. Внешне он остался спокоен. И при выработке решения легко сломил робкое сопротивление одного из заседателей. Он и сам понимал, в следственном деле были и проколы, и пробелы. Да разве ж без них бывает?

Когда в зале объявили приговор – к высшей мере – люди одобрительно загудели. Родственники обняли измученную Машину мать. Кузовков невидяще оглядел зал и вяло махнул рукой.

Через полгода в деле осуждённого тракториста появилась последняя запись: «Приговор в отношении Кузовкова Андрея Трофимовича приведён в исполнение. Прокурор Российской Федерации, государственный советник юстиции I класса такой-то…». А ещё через восемь месяцев в Суховеркове поймали серийного убийцу Шлыгова, на счету которого только раскрытых оказалось двадцать три смерти. Маньяк Шлыгов особенно не таился и подробно, в деталях, рассказал, как в числе прочих он изнасиловал и убил двадцатидвухлетнюю продавщицу Марию Кротову. Даже объяснил, куда дел сорванные с шеи девушки грошовые бусы. К тому времени следователя Луковцева уже два месяца как проводили на заслуженный отдых. Проводы вышли торжественные, присутствовало почти все городское начальство.

Время летело быстро. Как-то ранней тёплой осенью Павел Евграфович, желая хоть ненадолго спрятаться от судороги перемен, три недели провёл в Геленджике, в санатории для почётных юристов. У него был странный сосед по комнате. Человек милый, вежливый, но чрезвычайно неразговорчивый. Три или четыре раза судья пытался разговорить соседа, но ничего не вышло. Тот всякий раз закручивал какую-то невразумительную фразу и замолкал, надолго погружаясь в чтение. После этого пропадало желание поговорить и у Павла Евграфовича. И он принимался за газеты, перемежая политические новости кроссвордами. Сосед уехал на два дня раньше, оставив на тумбочке книгу. Целые сутки Павел Евграфович не обращал на неё внимание. А потом взял-таки в руки. А взявши, даже крякнул. Книга называлась «Человек и смерть». Имя автора – Хосе Рамирес – ничего не сказало судье Ходыреву. Из предисловия он узнал, что автор – мексиканский философ из Автономного Университета Нового Леона, человек весьма почтенного возраста, последователь Канта и Ортеги-и-Гассета. Кто такой Ортега-и-Гассет, Ходырев не знал, однако книгу не закрыл.

Проглядев оглавление, Павел Евграфович обратил внимание на короткие, хлёсткие названия глав: «Что такое смерть?», «Одиночество и путь человека», «Смерть и творчество», «Что такое убийство?», «Почему убивать дурно?», «Можно ли оправдать самоубийство?», «Убийство и польза»… Ух ты! Да, такую книгу открыв, не очень-то быстро закроешь.

Поначалу язык книги показался Ходыреву на редкость мутным. Одолев с горем пополам примерно страниц сорок, он вздрогнул и начал читать лихорадочно.

Дело в том, что мексиканец после зубодробительного, малопонятного вступления неожиданно обратился к жизненным примерам. «Прежде чем углубиться в дальнейший анализ, позвольте мне рассказать небольшую историю» – так объяснил он смену ритма и начал вдруг рассказывать простыми живыми словами историю некоего судьи из города Сьюдад-Хуареса, который осудил на смерть худого нервного человека, и не просто худого, а с приросшими мочками. Странная деталь. Ходырев насторожился. Что уж там говорить, конечно, этот несчастный оказался невиновен. Выяснилось это уже после того, как беднягу расстреляли на заднем дворе глинобитной мексиканской тюрьмы. Философ пытался ответить на вопрос, является ли судебная ошибка самым настоящим убийством, преступлением, которое нельзя оправдать? Когда Павел Евграфович наткнулся на имя Чезаре Ломброзо (а именно это имя почему-то твердил про себя мексиканский судья во время процесса), его, судью Ходырева, бросило в жар. Несколько минут он даже не видел букв. Но потом пересилил себя и стал читать дальше. Но чтение пошло медленней, и заканчивал книгу он уже в поезде. Никогда прежде Ходыреву таких книг читать не приходилось. Он вообще не мог припомнить, чтобы в философских текстах рассуждали о смерти. Смерть всегда казалась ему чем-то понятным, неизбежным, печальным, а то и – мрачным, кровавым и грязным. Этого убили, эту задушили, засунув в рот платок, тот сам загнулся от плеврита-гайморита. Увы, сплошь и рядом. При чём здесь философия?

Что помнил о ней судья Ходырев? Со студенческих лет у него остались смутные воспоминания о каких-то скучных законах и нудных категориях. Учебники толковали о каких-то безличных и надличных мирах. Познаваемое, непознаваемое… Возможное, действительное… Основной вопрос… Противоречия… Роль труда… При чём здесь смерть какого-то конкретного Ивана Ивановича на койке областной больницы? И при чём здесь сам Иван Иванович? Его ежедневная круговерть. Его нужды. Голод. Страх. Чувство вины. Понятно, чем тут заняться юристам. А философы? Павел Евграфович трудов их не читал, не считал возможным тратить на это время. Он вдруг вспомнил, что его одно время привлекало, хотя и немного смущало, выражение «категорический императив», рождающее смутные ассоциации с военным категорическим приказом. Императив – да, это очень верно. Если не приказывать, если строго не спрашивать, то как же быстро они все разболтаются. И так разгильдяев и пьяниц полно. Расхитителей и хулиганов. Лодырей и воров. *Они все.* Так он воспринимал людей. С кем строить народное хозяйство? С кем крепить страну? Эх!

«Мы уверены, – писал мексиканский автор в предисловии, – что прежде истины о человеке существует человек как таковой. Мы никогда не поймём значения человеческого существования, изучая его извне – и только извне. Для того чтобы иметь представление о человеке, я обязан заглянуть глубоко внутрь себя, увидеть новую землю и новое небо, должен проживать себя в подлинном опыте, как создание, которое, ощущая свою изначальную недостаточность, конечность и болезненную разорванность, стремится, однако, к спасению, к целостности существования. В этом стремлении я преодолеваю самого себя, я перехожу в иное, высшее состояние. Говорить о личности – значит говорить о самообладании – бытии для себя. Но что означает бытие для другого? Возможно ли не быть для себя? И что тогда означает смерть?

Философия человека не может избежать темы смерти. Потому что и вам, и мне необходимо знать, почему мы умираем и для чего живём, раз нам суждено умереть.

В этом вещном мире мой дух бессилен без моего тела, потому что он не является чистым духом, но лишь воплощённым духом. Мир, который меня окружает, известен мне посредством моих глаз, ушей, нервов. Тело образует меня – если не всего, то видимую часть. Оно делает меня грубо телесным и связывает с вещным миром. Я не могу, даже если бы захотел, превратиться в животное или бесплотного ангела. Вот почему уничтожение тела создаёт проблемы духу. Разрешимы ли эти проблемы? На этом ли пути мелькнет луч бессмертия?

В хрупком сосуде, каковым является человек, существует как движение вниз – к Ничто, так и подъём вверх – к Абсолютному. Мы, люди, – не более как мистическая амальгама пустоты и вечности. При анализе жизни и смерти всегда необходимо помнить о том, что человек, хотя и представляет собой Ничто (составляющая печали), всегда поддерживается Кем-то (составляющая надежды). Ошибки и даже страшные просчёты случаются, когда мы путаем относительное и абсолютное. Когда мы не готовы воздать Абсолютному в полной мере».

Сосед в купе оказался полной противоположностью предыдущего. Весёлый, кашляющий, громыхающий человек ел, пил и говорил непрерывно. И очень обижался, когда Павел Евграфович отвечал односложно и замолкал надолго. Книгу приходилось читать урывками.

«Обращая взгляд в глубину себя, человек осознает свою свободу. Я есть свобода. Я должен сделать себя. Я могу быть тем, чем должен быть. И становится пронзительно ясно – свобода не принадлежит мне, это я принадлежу свободе. Если мысль о земных утехах печалит нас и даже унижает, то это потому лишь, что она нередко проходит по касательной по отношению к подлинной природе нашего свободного существа. Свобода открывает нам доступ в царство духа. С её помощью мы спасаем себя от падения и провала, потому что свобода предназначена для спасения и, тем самым, – для помещения моего Я в область нетленного. Вот почему моя свобода не может быть никому передана. Вот почему во весь рост встаёт трагедия смерти. Моя смерть – это только моя смерть. Никто иной не может и не волен умереть моей смертью. И никому уже не воспользоваться моей упорхнувшей свободой. Впрочем, остаётся тайна творческого влияния ушедших на земные дела.

Смерть присуща жизни. Она знаменует её конец и формирует её траекторию.

Смерть всегда присутствует в качестве неумолимой и уничтожающей угрозы. Она есть неустранимый риск, поглощающее одиночество транса, разрыв, диссонанс, давящая пытка Ничто.

В смерти наше существо приближается к своим размерам: мы умираем – либо с любовью, тёплой причастностью к другими и в единении с Богом, либо – с гневом, исключая других и отступая от самих себя. В этом смысле жизнь – это приготовление к смерти. Выбор между упомянутыми крайностями в окончательный миг – это наш выбор. Тут Господь оставляет нам свободу».

Когда от сложного теоретического текста автор – каждый раз резко и неожиданно – «Прежде чем углубиться, позвольте мне рассказать…» – переходил к насыщенным жизнью, а то даже и преступлениями, примерам, Павел Евграфович оживлялся.

Скажем, подробно и живо обсуждалось отношение общественности к самоубийству – в мексиканском и американском обществе, с одной стороны, и в японском – с другой. Если, допустим, японский бизнесмен, уличённый в финансовой нечистоплотности, делал харакири, это считалось достойным для него выходом. В Америке же самоубийство проворовавшегося бизнесмена этически расценивалось не выше, чем побег от полицейского. В православии же самоубийство считалось двойным грехом – покушением на жизнь как на дар Божий и страшным грехом неверия.

По ходу дела автор не без юмора прошёлся по поводу существующего в Мексике национального Дня Смерти. Оказалось, что этот почти весёлый праздник корнями уходит в языческое индейское прошлое страны, в те времена, когда смерть встречали радостно – как ступень к новой и, возможно, лучшей жизни. В Мексике в этот день принято дарить друг другу пирожные в виде черепов, на лбу которых белой глазурью весело пишется имя того, кому этот череп преподносится. Павел Евграфович вообразил свой собственный череп на подносе – из зефира, шоколада и крема – и усмехнулся.

В другом месте разбирался случай некоей Доры, которая отравила собственного больного дядюшку – то ли из-за сочувствия к его страданиям, то ли из-за наследства в пятьсот тысяч песо. До этого дядюшка взял с неё слово, что деньги будут пожертвованы художественной галерее. А племянница будто бы решила отдать их в детский приют. Философ одновременно пытался решить вопросы эвтаназии, верности данному обещанию, проблемы воздаяния, возмездия… Там не всё было ясно, и Ходырев с интересом прикидывал различные варианты следствия и суда.

Рассматривались и совсем неприятные случаи, скажем, убийства молодыми матерями своих детей. Вставали жуткие картины, невероятные по выдумке и жестокости детали, но Ходырев знал всю эту изнанку жизни и читал спокойно, с ровным интересом.

Но порой его бросало в дрожь.

В одном из отступлений вновь появился судья из Сьюдад-Хуареса. Но уже в новой драме. Он должен был судить бандита, убившего своего напарника. *Убийцу вводят в зал. Судья смотрит и бледнеет…*

– Дорогой сосед, не откажетесь от рюмки коньяку? Настоящий. Друзья из Молдавии прислали.

– Да, да, – механически отвечал Павел Евграфович и, морщась, выпивал полстакана тёплого коньяка неизвестного разлива.

«Возможность сказать *нет* просьбам тела, тирании прошлого и мирским соблазнам представляет собой высшую доблесть, которой может быть отмечена человеческая свобода. Я могу восстать против моего прошлого, против ошибок и вины, обращая их в истину и добродетель. Чудесная алхимия! Признаваясь себе и рассказывая о моей прошлой вине, я могу освободить себя от поражения и направить свою жизнь в новое русло. Я ли убил, меня ли убивали? Я сеял смерть? Смерть сеяла меня? Насколько я вправе распоряжаться своей жизнью? Насколько я вправе выбирать свою смерть? И главный вопрос – насколько я вправе распоряжаться жизнью чужой?

Путь мой, несмотря на моё прошлое, всегда может быть изменен. Без свободы не было бы возможности воссоздать себя заново, а без возможности возрождения вообще не стоило бы жить эту жизнь. И уничтожать эту смерть. Ибо всякое возрождение отодвигает смерть, а в предельном случае – упраздняет её. Стало быть, жизнь и смерть не всегда находятся в неразрывной сцепке».

– Да, жуткие наступили времена. В магазине коньяк покупать опасно.

– Опасно, – отзывался Павел Евграфович, не поднимая глаз от книги.

«Сейчас все твердят о действии. Демагоги, эти подвижники самоотчуждения, безвозвратно сгубившие не одну цивилизацию, преследуют людей за простую привычку мыслить. Нас тянут в новую стадность, не давая пребывать *наедине с собой*. Сея то страхи, то пошлое ликование, людей вытаскивают *из самих себя*. Человек – это единственное животное, которому удалось уйти в себя. Выходя из себя, он возвращается к зоологическому существованию. И тогда – человеческая жизнь ничего не стоит, как жизнь барана или быка. Исчезает свобода духа. Из-за кулис, глумливо ухмыляясь и даже виляя бёдрами, вытанцовывают ложь, воровство, насилие и убийство. Как только человек действия выходит на историческую сцену, главной оперной арией звучит фраза „Кошелёк или жизнь!“. Тем, кто интересуется, сколь гибельны хищения и коррупция для любой великой культуры, советую присмотреться к печальному концу имперского Рима – и Первого, и Второго, и Третьего…».

– А этого Гайдара с Чубайсом лично бы придушил. Вот этими руками. – Сосед протягивал над растерзанной закусью крепкие, загорелые, поросшие светлым выгоревшим волосом клешни.

– Да, да, это очень верно, – бормотал Павел Евграфович.

– Что верно?

– Придушить. Именно так, коллега.

«Жить – значит быть вынужденным что-то делать. Но так же и быть вынужденным о чём-то мыслить. Последнее – удел человеческого бытия. Если ты не мыслишь – тебя нет. И ты можешь пребывать лишь в качестве угрозы для чужой жизни и чужой мысли.

Жить – значит понимать опасность и видеть нищету нашего духа, сдавленного плотью, и предчувствовать полноту существования. *И именно здесь находится дно интегральной метафизики существования: печаль и надежда неразделимы*».

– А президент, говорят, еле выполз из самолёта и начал ссать прямо на шасси. Охрана стоит и смотрит. Журналисты какие-то. Представляете?

– Да, да – говорил Павел Евграфович.

– Что да-да? – обижался сосед, раздирая зубами копчёную курицу. – Вы только посмотрите, где живём. Что за люди? Кто правит страной?

«Существует множество различных способов умереть. Но всё это виды человеческой смерти. В то время как для животных смерть является естественным событием, микроскопическим звеном в жизни биосферы, для людей смерть – это проблема. Странная и сложная драма.

Телесная смерть не может затронуть дух. Моя личность в её собственной сущности не призвана к смерти, но лишь к вечному совершенствованию.

Человеческая жизнь – награждённая смертью – является этической самоконструкцией. Мы не можем жить, по крайней мере, по-человечески, чтобы не руководить каким-либо образом, нашей жизнью. Когда мы творим – а жить означает творить – мы это делаем для что-то. Создаём жизнь. Когда мы не-творим, мы жизнь уничтожаем. Не-творчество есть грех. Иудин грех.

Мы обязаны сделать свою жизнь творческой и целостной, используя для этого наше собственное призвание. Человеческая жизнь имеет структуру призвания: призыв, ответ и миссию. Призвание нельзя унаследовать или выдумать – его можно только открыть. Пока мы не совершим это открытие, мы в долгу перед самими собой. Перед своей жизнью. И перед своей смертью».

– А этот разъ[…]ай, сволочь и крикун! Пролез в Думу и делает бабки. Да ещё какие!

– Несомненно, – отвечал Павел Евграфович.

«Если бы мы изначально были целостностью, наша жизнь не была бы опасной. А дух нищим. Возможно, исчезло бы давление смерти, иссушающее давление Небытия. Но так как мы представляем собой одиночество и беспомощность, которые только в проекте могут стать целостностью, наша жизнь находится в неизбывной опасности. Жизнь оказывается непрерывной тревогой, постоянным охранным действием. Мы не можем избежать опасности разочарования, провала. Наша жизненная позиция, наш разум и наша будущая судьба никогда не могут быть гарантированы.

Ибо прежде всего мы – не-целостность. Человек живёт в надежде стать чем-то большим. В противном случае дух замедляется или отвлекается. А в отвлечении от бытия не будет ни мира, ни удовлетворённости. Будут опустошение и грех. Кто-то послал нас в дорогу. Но, имея довременное Ничто, мы в любой момент можем отправиться путешествовать в новое Ничто: к вине. К преступлению. К предательству. К убийству. Бессмысленно, даже с внутривременной точки зрения, рассматривать дорогу как таковую, считая, что она никуда не ведёт. Всегда ведёт куда-то…

Надо искать полноту, но не отвергать неполноту, ибо неполнота – всего лишь ступень. Неполнота страшна, если она отрицает полноту.

Мы всегда живём надеждой. Желаемое будущее может исполниться. Существует, однако, в этой надежде уверенное ожидание, которое опирается на Кого-то. Мы не доверяем вещам, не доверяем людям. Но невозможно основать жизнь на безнадёжности. Только надежда – фактически авантюрная, ещё ничем не оплаченная – проникает сквозь времена и основывает жизнь. И отодвигает в глубокую тень смерть. Печаль, в которую мы помещаем то, что угрожает нам, никогда не может полностью исчезнуть, однако, мы всегда стараемся направить себя в сторону надежды. Как и мужество, надежда должна быть определённых размеров. Её избыток приводит к самодовольству, её недостаток – к отчаянию. В то время как самодовольство – это ничем не оплаченная преждевременность цельности, отчаяние – это преждевременное ожидание падения, провала, приговора».

От слова «приговор» Ходырев вздрогнул.

«Почти весь мир – в отчуждении и тревоге. Нами утрачивается главное качество – способность самостоятельно думать, погружаться в себя, быть верным себе. Человеку как воздух необходимо достигать согласия с самим собой. Но самоотчуждение заволакивает взор густой пеленой, ослепляет, душит, заставляя действовать слепо, бездумно, подчиняясь чужому компасу.

Сейчас повсюду толкуют о правах, общественном мнении, о хорошей и плохой политике, о пацифизме, экологизме, терроризме, о жестоких и безумных убийцах, о серийных маньяках, о смертной казни, о воздаянии, о высшей справедливости… В мутной толкотне этих слов подкрадывается новая и незнакомая война. Человека с человеком и человека с природой. В том числе и со *своей природой*. Схватка будет ожесточённой. Отыщется ли народ, у которого хватит гениального хладнокровия свести к минимуму возможный ущерб? Защитить остров жизни от надвигающегося океана смерти? Есть, есть такие знаки – белые барашки на начальной, невысокой волне – свидетельство надвигающегося урагана. Оглянемся вокруг…».

«Оглянемся…» – негромко сказал Ходырев.

– А что, дорогой сосед, не соснуть ли часок?
– Соснуть. Обязательно.
– А с другой стороны, уже вечер скоро. Хватим ещё по рюмашке и тогда уж заляжем.
– Да нет, спать, спать… Очень правильная мысль.

«Всеобщее призвание человека к вечному спасению неотделимо от конкретной сущности каждого человека. Я являюсь самим собой в великой функции производителя собственного спасения. Моё призвание к вечному спасению формирует главную часть моей метафизической реальности. Отдельные и конкретные способности не могут быть вне орбиты всеобщего призвания человеческого существа. Призыв к истинному добру – единственное, что может спасти человека – оправдывает все остальные блага, которыми они являются в той лишь мере, в какой участвуют в высшей Доброте. Мы, без сомнения, являемся проектом спасения, который должен реализоваться. С одной стороны, мы реализуем себя как самих себя. С другой – нам помогают Свыше реализовать себя, преодолевая собственные границы. Готовы ли мы принять эту помощь? Готовы ли шагнуть за барьеры? Перелиться через границы обуженного бытия? Постижение миссии, которую каждый из нас должен выполнить в расширяющемся поле, чтобы спастись, действительно является подлинной мудростью.

Со своей стороны, я хотел бы опробовать новый путь приближения к Богу. Моё стремление к целостности, органически взаимосвязанной с моим онтологическим одиночеством, с моей радикальной недостаточностью, взрывающейся подобно контрапункту в музыке, требует Пребывающую и Бесконечную Целостность – как знак, как символ, как цель. Если существует наше стремление к целостности – а это необоримая правда – то всегда существовала Целостность предвечная. Если бы её не было, то чего бы стоили наши конкретные жизненные стремления? Без опоры на Бога, изначальной и окончательной, моё конкретное стремление к целостности бытия – свидетельство высокого предназначения человека – не нашло бы решения».

– Где это мы едем? Хутор Михайловский, что ли?
– Какая разница? Дальше Москвы не увезут.
– Ну, кого как. Мне потом ещё на Екатеринбург.
– Да и мне в Тверь. А потом в свою районную дыру.
– Небось, хорошо у вас там? Тихо?

«В космической философии смерти – нет. В ритмах космической эволюции смерть сливается с новым рождением».

– Тихо.
– А со снабжением как?
– Угу.
– Что угу? – сосед собрался обидеться.
– Да всё так же.
– Ну уж? – не поверил сосед. – Это раньше было снабжение. Теперича рынок, как известно. Свободный! – Он иронически свистнул. – Знаем-с. Всё есть. Были бы тугрики.

«Иногда говорят, что самоубийство может быть благородным или даже праведным. В частности, ссылаются на мученическую и героическую смерть Сократа. Мудрец в собственные руки принял чашу со смертельной цикутой. Но разве он сделал это не по решению афинского суда?».

– Да нет, всё-таки надо залечь. Или ещё по маленькой?
– Нет, спасибо.
– Не компанейский ты человек.

«В нас сидит древний инстинкт убийства. Чем цивилизованней человек, тем глубже инстинкт этот запрятан. Тем мучительней подает он знаки, смутные, царапающие… И тем изворотливее человек ищет выход для этого чувства, придумывая для себя бездну внешне разумных оснований. Именно это чувство движет благородными революционерами и справедливыми судьями. Убить – чтобы улучшить жизнь. То есть лепить жизнь – смертью. Слово «справедливый» я не могу произнести здесь без горькой усмешки. Сколь часто, в порыве оправдать институт смертной казни, распаляет себя человек ужасными сценами преступлений некоего ворвавшегося в его воображение героя, чтобы затем страстно (или даже сладострастно?) крикнуть – распни его! Но распинают-то не вымышленных, а реальных людей из костей, мяса и нервов».

Ходырев поёжился, потом отвернулся от книги и долго смотрел на монотонно бегущий темнеющий пейзаж за окном. Сосед шумно крутился на своём диване. Ходырев тоже прилёг. Включил лампочку над головой.

«Одна из максим Канта призывает нас быть готовыми наказать убийц. Что ж, быть может. Впрочем, одно дело – обнажить меч против разбойника на дороге. Совсем иное – навалиться всей мощью государства на уже обезвреженного, связанного, одинокого. Не есть ли это тупая месть машины? Не связывает ли каждый, участвующий в этом государственном заговоре против одного поверженного, свою душу с дьявольским началом? И где тут Христос? Его сподвижники носили меч, это правда. Но не для того, чтобы приканчивать кого-то на заднем дворе.

Вам приходилось читать эти гневные, мстительные, призывающие к государственному убийству статьи, видеть эти телевизионные дебаты о смертной казни – быть ей или нет? Когда румяные молодые люди, равно как и гневные старушки, с несравненным азартом кричат: ату их! Казнить негодяев! Смерть им!

Господи, кого казнить? Кому смерть? О ком это они? Оказывается, о тех преступниках, которые стоят в их воспалённом воображении. Им видятся ужасные сцены убийств, растерзанные трупы замученных, истерзанных детей. И им невдомек, что картины эти – прежде всего язвы их собственного сознания. Чего-то, запрятанного в самые глубины. Ведь это со своим бессознательным – чёрным и страшным – сводят они счёты. Но как горят их щеки! Как светятся праведным гневом глаза! Смерти требуют они!!

Как легко играть на этих инстинктах».

Прервав мерный храп, сосед застонал. Отчётливым и печальным стоном. Приснилось что-то, подумал Ходырев.

«Слишком много вокруг людей и вещей, звуков и запахов. Но чем больше возможностей и соблазнов, тем более растерян человек.

Ещё Античность великолепно понимала трагическую ограниченность человека: что бы он ни делал, какое бы геройство и величие духа ни проявлял, он не мог противостоять неотвратимому року. Человеческий замысел всегда кончался сокрушительной катастрофой. Гуманистическому мировоззрению удалось прикрыть это понимание оптимистическим флёром. Но мировые войны, кровавые диктатуры, технологические и экологические тупики сорвали этот занавес. Великая культура оказалась в кризисе, потому что Бог умер, то есть, исчез из поля зрения людей и из их душ, а человек, новый бог, развенчал себя сам.

Чувствуя непрочность и пустоту существования, в стремлении разрешить ситуацию, человек забивается в угол, на периферию жизни, надеясь там зацепиться, укрепить свой отмеренный мирок. Но это мнимое решение, всего лишь бессознательная попытка уйти от тотального отчаяния, которое чаще всего выступает в форме раздражения и ожесточения. В стремлении отрицать собственную жизнь ожесточение это поначалу направлено вовне и склонно уничтожать чужие жизни. Но неизбежен, неизбежен поворот стрелы в сердечное сплетение собственного бытия».

Дак-дык, дак-дык, дак-дык – стучали колеса.

«А теперь, внимание, читатель! У тебя есть возможность увидеть, ощутить собственный рубеж. Ведь в книге описана и твоя смерть…

…*Судья из Сьюдад-Хуареса смотрит и бледнеет. В зал вводят его собственного сына*».

Павел Евграфович покрылся испариной. «Петька!» – хрипло прошептал он.

Поезд медленно подъехал к перрону. Пассажиры зашевелились. Шумный сосед неожиданно быстро собрал свои монатки и тихо исчез, на прощание лишь подмигнув.

Выходя из купе, Павел Евграфович даже боялся оглянуться на книгу. Она осталась сиротливо лежать на столике. Не довелось ей достаться по наследству шумному соседу. Ждёт кого-то другого.

До Твери он доехал электричкой. Оглядел залитую уходящим солнцем площадь. В другой раз ему подали бы машину. Но он не стал никому звонить и сел в междугородный автобус. Через полтора часа был на месте. К дому подошёл с тяжелым чувством. Дверь открыла сестра Алевтина.

– Ты? А Лиза где?

– Ты разве не получил телеграмму?

– Нет.

– Я посылала. Только не волнуйся, Паша. В больнице она. Инсульт. Но не сильный. Уже выкарабкалась. А я за домом присматриваю.

– Ты мне скажи, Петя жив?

– Ой, ты что? Конечно.

– Где он?

Сеструха дёрнулась, рот её перекосился.

– Посадили его, Пашенька, – сказала шепотом, – он человека убил.

Ближе к ночи позвонил Карельских, бывший зампред исполкома. Сейчас он председательствовал в акционерном обществе, занимавшимся мукомольным делом.

– Не тушуйся, Павел, – сказал он ровным баритоном, – мы его вытащим. Там понимаешь как? Местные брехуны уже раструбили, что это бандитские разборки. Понял, в кого метят? Ты понял, Паша? Мерзавцы! А на деле-то парень стрелял, защищая свою жизнь. Это можно точно показать. Короче, этой версии и будем держаться. Сейчас с делом знакомится Пивник. Ты ведь знаешь его. Работает без осечек.

Положив трубку, Павел Евграфович долго смотрел на почерневшее за окном небо. «Нет, это слишком, – подумал он, – это уже чересчур. Как круто замешана эта жизнь. Но не мы ли накидали семян?».

«Истинно отчаявшийся человек, до поры не сознающий своего отчаяния, замечает вдруг, что серой и даже чёрной становится вся жизнь, и нет в ней уже места, где бы человек чувствовал себя уверенно».

Утром он был в больнице. Его жена слабо улыбнулась перекошенным лицом и сказала:

– Вот, Пашенька, жизнь была. А вот и смерть подошла.

– Молчи, мать, – сказал Ходырев. – Про жизнь и смерть я теперь сам всё знаю.

«Без любви и милосердия жизнь не была бы достойна того, чтобы её прожить. Милосердие раздвигает границы неба. Из-за сизого облака пробивается луч. Любовь придаёт крылатую вольность судьбе человека, приводит пустоту и нищету к цельности и свету. Милосердие затягивает раны небытия. Стремление отдать себя, распространиться и наслаждаться этим распространением – вот смысл и назначение любви. Только тот, кто способен переливаться через край, может собрать себя. Ни я, ни кто-либо другой уже не нужны. Мы посланы существовать благодаря любовной воле Кого-то. В этом смысле мы оказываемся производными бытия, которое делает нас любящими и которое является Подлинной Любовью. С высшей её точкой нас связывает приход в этот мир.

Но есть ещё и низшая точка – точка ухода.

Нет любви – нет и бытия. Нет силы прощения – нет бытия. Речь не идёт о приговоре, но о договоре. О силе доброго и свободного слова. Любовь и милосердие – два живых чувства, благодатных и устремлённых от человека к Богу и от Бога к Человеку.

Мы наслаждаемся бытием, потому что наша жизнь не лишена смысла. Без этого наслаждения бытием наша жизнь оцепенеет».

Павел Евграфович Ходырев в домашних шароварах и старенькой кофте стоял на балконе, опираясь на перильца, и задумчиво смотрел вниз, в восьмиэтажную глубину. Двор был пуст. По нему медленно и как-то боком шёл тракторист Кузовков. Сверху он не казался таким уж худым и нескладным. Нет. Обыкновенный человек идёт и что-то бормочет. Павел Евграфович прислушался. «А хули сделаешь, – рассуждал тракторист, – коли жисть такая грёбаная? А смерть ещё больше п[…]анутая. А они все на тебя… А хули?». Павел Евграфович поморщился. Сам он крепко мог послать по матушке, в соответствующей обстановке, конечно, но не любил, когда это прилюдно делали другие

Тракторист поднял голову, посмотрел глазами, в которых не было ненависти. «Природа шепчет мне с любовью свои заветные слова…» – пропел он неожиданно высоким голосом. Потом опустил взор, взял круто направо и стал удаляться, странно накренившись. – «Россия, Россия, твои бескрайние поля…» – донеслось из-за грязно-белого куба электроподстанции. «Россия – родина моя…». А у парня есть слух, подумал Павел Евграфович. Вернее сказать, *был* слух.

Вслед за трактористом за здание подстанции потянулась целая процессия. Ходырев сообразил – это ведь все те, кого осудил он за немалый свой жизненный срок в стенах народного суда. Теперь это называют – *обвинительный уклон*. Легко им нынче судить. Шаткие фигуры из длинной серой процессии шли лёгкой походкой и пропадали за белым кубиком неслышно. «Не судите, да не судимы будете». Павел Евграфович никогда не заглядывал в Евангелие. А Ветхий Завет видел лишь раз в жизни, и то издали – много лет назад пухлая книга в чёрном глухом коленкоре лежала на столе среди прочих вещдоков. Судили группу сектантов.

Внизу проходил философ Хосе Рамирес. Он приветственно махнул судье рукой. Павел Евграфович сразу его узнал.

– Прохлаждаетесь, друг мой? – спросил мексиканец. Лёгкий ветерок приподнял серебряно-чёрные волосы над его смуглым печёным лицом.

– Какое там! – сердито ответил Павел Евграфович. – Я думаю. Напряжённо думаю.

– О чём? – изумился Хосе. Его жёлто-карие глаза горели.

– Да вот, о жизни и смерти. О смертной казни. О грехе.

– О, друг мой! Как это своевременно! Я давно хотел поговорить с вами об этом. О жизни. О грехе. И о смерти. О последней особенно.

– И я хотел.

– Так за чем дело стало?

– А как это сделать?

– Спускайтесь сюда.

– Прямо сейчас?

– Другого случая, боюсь, не будет.

– По лестнице? – с осторожным ужасом спросил Ходырев.

– Ну, уж нет, дорогой сеньор, – усмехнулся Хосе. – По лестнице вам не успеть. Я ведь здесь ненадолго.

– А как же, если не по лестнице?

– Да вы знаете не хуже меня, – пророкотал со смехом мексиканец. – Вы ведь уже на две трети свесились. Осталось чуть-чуть.

– Но ведь самоубийство – это двойной грех – перед жизнью и перед верой, – защищался Ходырев.

– Если в полном сознании, тогда грех. А если в трагический момент болезни, то кто ж осудит? А у вас вон какие глаза. Так что спускайтесь.

– И мы поговорим?

– Не сомневайтесь.

– Правда? – с последней надеждой спросил судья.

ГРИГОР АПОЯН

САМ С СОБОЙ
рассказ-диалог

– Григор, я хочу задать тебе несколько вопросов.
– Задавай, я не боюсь.
– В этом может быть что-то страшное?
– Самое страшное. Ты часто получал искренние ответы на свои вопросы?
– Почти никогда.
– В этом всё дело. Люди боятся правды. Потому они придумали искусство. Это не я сказал.
– Разве искусство не есть отражение правды?
– О, нет. Искусство есть только искусство и больше ничего. Это сказал всё тот же мудрый человек.
– Значит, оно ничего не стоит?
– Наоборот, оно стоит очень дорого. Именно потому, что оберегает нас от правды. Оно создаёт идеалы.
– Значит, оно близко к правде?
– Настолько, насколько близок человек к идеалу.
– Значит, далеко?
– Это не такой простой вопрос. Видишь ли, каждый человек считает себя идеальным, пусть это далеко не так, и он сам прекрасно знает, что это совсем не так. Но он не может ничего с собой поделать, да и не имеет права думать по-другому: если он откажется от этой мысли, он будет вынужден добровольно отдаться на заклание окружающей его стае человеков. Это противоречие, этот разрыв сознания и формирует истинное отношение человека к идеалу, его реальную готовность работать над собой, совершенствоваться.
– И это продуктивно? Он продвигается хотя бы чуть-чуть к заявленному идеалу?
– Вряд ли здесь можно говорить о каком-то прогрессе.
– Зачем тогда человеку идеалы?
– Видишь ли, у человека много свободного времени. И это его проклятье – у него появляется возможность думать. Не о том, как добыть дичь или вырастить хлеб, а просто думать – о том, что такое жизнь и что такое смерть, можно ли быть действительно свободным и что такое, наконец, правда. Это ужасные вопросы. Именно потому нищий всегда счастливее богача – он озабочен лишь очень простыми, необременительными проблемами. Богачу нужны идеалы – для чего жить, чего добиваться. Это и есть искусство.
– Разве это не называется – философия?
– В сущности, философия есть часть искусства. С той же степенью уверенности можно сказать, что философия есть философия и больше ничего. И выполняет она абсолютно идентичную функцию. Просто философия есть высшее искусство, доступное немногим.
– И эта же функция – не дать человеку умереть от правды?
– Да, хотя философия вроде по своему назначению ищет правду. Но опять же только для того, чтобы не дать человеку умереть от неё. Точнее, поисками правды она уводит человека от самой правды. А единственное название правды – смерть. Смерть – абсолютная истина. И мудрец, когда говорил, что искусство дано человеку, чтобы он не умер от правды, под «правдой», конечно, подразумевал все трудности жизни и прежде всего самую ужасную её трудность – смерть. Но я бы всё-таки сказал, что искусство дано человеку, чтобы он не умер от несвободы.
– У вас не останется разногласий с мудрецом, если принять, что правда и есть несвобода.
– Точно. Людям кажется, что правда как раз и есть символ свободы, но они просто путают возможность говорить правду с самой сутью правды. А суть её – действительно несвобода, рамки. Именно она, правда, жестко и безоговорочно очерчивает наши пределы, показывает нам наши возможности и нашу суть.
– И где в итоге оказывается искусство?
– Искусство – это единственная сфера человеческой деятельности, где не существует никаких императивов. Художник всегда свободен, как вольная птица. В этом вся прелесть и единственный признак искусства; оно даёт возможность художнику творить красоту, как он её понимает.

– А что считать достижением в искусстве?

– Эту самую красоту.

– Ей можно дать определение?

– Нет. Не может быть никаких всеобщих критериев.

– ?

– Я могу сказать так: Бог, идея Бога – это высшее искусство, ибо есть, если вдуматься, самый отчаянный уход человека от правды. Всё остальное – производные от этой главной идеи.

– Уход от правды – это уход от себя?

– В любом деле и, в особенности, в искусстве, успеха, настоящего успеха может достичь только тот, кто способен хотя бы на время отрешиться от собственной персоны – от собственных проблем и забот, а самое главное – от собственных амбиций.

– Но ведь искусство – всегда восторг, пусть это даже горючие слёзы?

– Для зрителя, слушателя – да; для творца изначально это тяжкий труд души, но и восторг беспримерный, конечно. Надо отметить, что чем дальше, тем больше искусство оборачивается вовнутрь личности; творец пытается понять и уловить тонкости своей собственной души, а не широких народных масс. Поэтому отзвук на его страдания (а искусство – это всегда страдание) будет обнаруживаться всё в меньшем количестве реципиентов, в пределе – он останется единственным потребителем собственного искусства. И это – слияние с богом, то есть с самим собой.

– Но творец нуждается в аудитории.

– Да, конечно. Не стоит тут говорить о важной, но банальной проблеме куска хлеба, его можно добыть и другим путём; прежде всего творец нуждается, остро нуждается в верификации своих страданий, по сути, в определённом сочувствии. Пока нуждается.

– Неужели ты на самом деле думаешь, что когда-нибудь творец останется единственным потребителем своего искусства?

– Если честно, не уверен. Но всё, вроде, к тому идёт. Слезу своим искусством может вышибить только тот, кто сам плачет, когда творит. И именно эти его слёзы – самый драгоценный дар, выпадающий на долю человека, творца. Всё остальное вторично.

– Но ведь далеко не все люди – творцы. Как же будет решаться вопрос окормления всех остальных?

– Я же говорю об очень далёкой перспективе, когда *человек* не сможет не быть творцом.

– Это не утопия?

– Да, наверное. Ты не замечал, когда мы говорим не о технике, науке, космосе и т.д., а о *человеке*, мы больше концентрируемся на надеждах, ожиданиях, мечтах несбыточных.

– Это хорошо, или плохо?

– Чаще плохо, потому что некрасивые люди используют эту чистоту во зло, но это и хорошо, ибо таким образом сохраняется вера в светлое будущее и поощряются шаги к нему.

– А что *для тебя* конкретно есть символ красоты?

– Мысль. Она беспредельна. Она всегда стремится к совершенству.

– Это должно порождать страдание, ведь совершенство недостижимо.

– Да, я страдаю, как ты.

– Это помеха счастью?

– Может быть, единственный путь к нему.

– Ты бы рискнул дать определение понятию «счастье»?

– Наверное, единственно возможное определение счастья – это ощущение не принуждаемой принадлежности. Оно переходит в свою противоположность, *не*-счастье, как только принадлежность воспринимается, как принуждение. Потому семейное счастье редко бывает долговечным.

– Какое счастье может быть долговечным?

– В принципе оно единственно достижимо в ощущении безусловной принадлежности самому себе, своим идеалам. Самодостаточность человека определяет его душевное равновесие. Это не означает, однако, что он обязан отрешиться от суетного мира.

– Ты не отрешился от суетного мира?

– Нет, конечно. Это бы означало отрешиться от любви. Есть ряд общностей, к которым я себя вполне добровольно отношу. С определёнными оговорками, конечно.

– Эти общности создают проблемы?

– У нас нет проблем – мы никому не сделали зла.

– Но, наверняка, вам хотят сделать зло.

– Это их проблемы.

– Они могут его сделать на самом деле.

– Мне будет их жаль.

– Ты будешь мстить?

– Зачем мне их проблемы? Я хочу умереть спокойным.

– А если они сделают тебе больно?

– Нам было очень больно, когда мы рождались. И будет больно, пока живём. Жизнь – это терпение.

– От чего же ты защищаешься, если боль уже сидит в тебе столь глубоко?

– От своей совести. Она беспощадна.

– А как же они?

– Здесь я бессилен. Я могу только казать им пример.

– Ты думаешь, они когда-нибудь поймут?

– Я не могу сделать ничего сверх того. Моя месть не утешит мою боль и не очистит их совесть.

– Как долго это будет продолжаться?

– Очень долго. Может быть, всегда.

– Ты хочешь сказать, что вы безупречны?

– О нет! Я слишком далеко ушёл от животного, чтобы безоговорочно во всех ситуациях прощать и поддерживать своих. Даже их малые изъяны больно режут мне глаза, а чужим я, как раз, могу простить и большие прегрешения.

– Ты можешь быть счастлив?

– Я говорил только о спокойствии.

– Хорошо. Ты можешь быть спокоен?

– Ты ранишь меня в самое сердце. Задавай эти вопросы себе.

– *Ты* – мудрец.

– Я никогда не говорил о себе такое. Видишь, и ты поставил меня в тупик.

– А мудрец – это кто?

– Я думаю, мудрец – тот, кто в состоянии воспринимать жизнь такой, какая она есть. В принципе, это очень сложная наука. Примирение со вселенской несправедливостью.

– Значит, мудрец – тот, кто отказывается от борьбы?

– Борьба многообразна. Некоторым кажется, что борется только тот, кто с копьём наперевес идёт против ветряных мельниц. Находить способы умиротворения – гораздо более сложная и благородная задача. Это и есть борьба мудрости. Успеха в этой борьбе можно достичь только при умении, способности понимать чужую боль, даже если это кусок кирпича.

– Так может говорить только тот, кто сам ведёт подобную борьбу.

– Мои возможности очень скромны, но я стараюсь.

– Получается, что ты всё-таки мудрец?

– Будет правильнее сказать, что я стремлюсь к мудрости. Обрати внимание – почти бессознательно. И вряд ли я когда-нибудь доберусь до её самых низших ступеней. Мудрость, очевидно, выражается прежде всего в том, что больше слушаешь и размышляешь, меньше – говоришь. Идеал мудреца – абсолютный молчун. Я, как видишь, не могу удержать свою речь.

– Многие называют тебя учителем.

– Я не позволяю этого.

– Почему? Ты ведь на самом деле учишь людей.

– Да, многие испрашивают у меня совета, и я помогаю, когда это в моих силах. Более того, я могу даже принять плату за какое-то обучение, но допустить, чтобы меня называли учителем, не могу – я не терплю неравноправных отношений. И я категорически не приемлю подобострастия – оно унижает прежде всего меня.

– Ты любишь жизнь?

– Да, пока дышу.

– Ты можешь дать этому объяснение?

– Нет.

– Почему?

– Любой ответ будет неполным.

– В чём для тебя радость жизни?

– В возможности наблюдать.

– Ты искренен?

– Абсолютно.

– Ты хочешь сказать, что еда, секс не увлекают тебя?

– Увлекают.

– О чём ты тогда говоришь?

– И в сексе меня более всего привлекает возможность наблюдать. Любого это привлекает более всего. Просто осознают очень редко. Почему, по-твоему, так ценится секс с девственницей?

– У тебя было много девственниц?

– Ни одной. Но я найду девственность и в проститутке.

– Ты счастлив?

– Ты уже задавал этот вопрос. Но если ты задаёшь его снова, значит, я могу ответить – да! Вот долго я не мог понять, почему на человека гораздо более сильное впечатление производит музыка, чем изобразительное искусство, хотя именно через зрение к нему поступает около 90 процентов информации. Потом я наконец понял, что через зрение человек получает бо́льшую часть внешней информации, но сам передает её преимущественно через голос, а другому человеку важнее всего та информация, которая идёт от брата, от сердца его. Музыка – концентрат этой информации, её божественное проявление. В чередовании звуков композитор пытается уловить какую-то космическую логику, а слушатели так же старательно пытаются понять то малое, что ценой великих мучений всё же удалось высветить композитору. Эту же логику художник пытается выразить посредством красок, а поэт – посредством слов. Это не логика Аристотеля, это иная, божественная логика, которая дарует человеку секунды, минуты (иногда дни и более) радости, вдохновения. Я, человек, с благодарностью пользуюсь предоставленными мне щедрыми дарами, это существенная, едва ли не главная составляющая моего счастья.

– А что такое человек?

– Человек – это трудное. Кто-то сказал, что красота – это трудное, кто-то добавил, что любовь – это трудное, но и то и другое – это лишь сокровенная суть человека, значит, человек – это и есть трудное.

– И для тебя?

– Для меня прежде всего. Хотя нет, я не хочу себя выделять. Человек – это всегда самое трудное.

– Как с этим жить?

– Только так и можно жить. Всё остальное – физиология.

– Ты знаешь много таких?

– Я знаю только себя. Каждый знает только себя.

– Ты одинок?

– Наверное, это прозвучит, как парадокс, но я человек, избалованный одиночеством.

– Разве одиночество балует?

– До этого надо дорасти, конечно. И тогда можно одиночеством действительно наслаждаться.

– Давай признаем, что таких не может быть много. Что ты скажешь об остальных?

– Людям только кажется, что они окружены другими людьми, на самом деле они всегда одиноки.

– Разве этот самообман – не благо?

– До поры до времени. Тем ужаснее бывает прозрение.

– Что же тогда остаётся?

– Личность. У кого её нет, тому действительно трудно.

– Что бы ты мог посоветовать?

– Воспитывать себя. Готовиться к смерти.

– Для тебя это одно и то же?

– Для всех это одно и то же. Но мало кто это осознает, конечно. Вот, всем ясен важнейший фактор времени в нашей жизни, но многие ли понимают, что единственный смысл самого времени в существовании смерти – человека, народа, Земли, Вселенной? Если бы не было Смерти, не было бы и Времени. Время это всего лишь хронометраж смерти.

– О чём ты более всего жалеешь в этой жизни?

– Ничего такого нет. Чтобы жалеть о чём-то в жизни, надо быть очень самонадеянным человеком. Я скромен, возможно, это мой самый большой недостаток. Смысл жизни только в том, что она продолжается, и пока это так, нет ничего, о чём стоило бы жалеть. Кто знает, как бы сложилась твоя жизнь, выиграй ты в прошлом миллион в лотерею?

– Кого бы ты хотел встретить здесь?

– В этой жизни? Себя конечно. И поговорить вдоволь.

– А здесь, вот здесь?

– Вот встретил тебя. И его. И его. На самом деле в любой встрече тебе более всего интересен ты сам, а не собеседник – как ты проявишь себя в новых обстоятельствах, какие неведомые доселе тебе самому сокровища сможешь извлечь из глубин своей тоскующей души и показать их миру и себе. Потому пустые, не имеющие любви люди не в состоянии получить ничего даже от встречи с истинным поэтом, максимум, у них может сохраниться совместная фотография. Они всегда бывают ужасно разочарованы от встречи с известными личностями – ну что, на самом деле, в них такого особенного!

– А что такое любовь?

– Любовь – это знание. Знать – означает любить; любить – означает знать. Такая вот плодотворная взаимосвязь.

– Но ведь существует и любовь с первого взгляда.

– Ты говоришь не о любви, о влюблённости; она недорого стоит по большому счёту, пусть даже порой приводит к самоубийству.

– Что для тебя самое важное?

– Жизнь.

– Я спрашиваю, что для тебя самое важное в жизни?

– Дышать.

– Разве ты не сказал о ком-то: «Скучный человек. Единственное, о чём он может говорить с вооду-шевлением – еда»?

– Я ошибся.

– Когда?

– Я всегда ошибаюсь.

– Почему же люди считают тебя мудрым?

– Опять ты за своё! Я не знаю. Я себя таковым не считаю.

– Ты искренен?

– Я не считаю, что могу ответить на все вопросы. Даже самые простые из них.

– Но ты чувствуешь в себе силу разума?

– Пожалуй. К чему кокетничать?

– Что она тебе даёт?

– Способность не бояться смерти. Это самое важное.

– А ещё?

– Ты не понял меня. Это – единственное!

– Сколько тебе нужно слов, чтобы дать самому себе характеристику?

– Три. Грешен, жить хочу.

– Это можно сказать о каждом.

– Совершенно верно. Я и не выделял себя особо никогда. А жизнь справедлива также и тем, что никому не оставляет шанса считать себя святым. И те почитаемые за святых старцы, которые ушли в пустынь, лишь замаливали таким образом свои прежние грехи. Перезрелая гордыня вела их туда. И самый тяжкий грех человека – стремление к доминированию – пусть в святости – таким путём ими не был преодолен.

– А как ты охарактеризуешь человека вообще?

– Невозможность примирения и само неизбежное примирение – вот что такое человек. Со дня рождения и до самого последнего дыхания. И вот что: давай поставим здесь точку. Произвольно. Это тоже будет естественным проявлением жизни – она всегда ставит неожиданные знаки препинания.

– Давай. Но только с обещанием снова поболтать.

– Это ты хорошо сказал – именно *поболтать*! Ну, это как бог даст. Я хотел сказать, как приведётся!

НАДЯ ДЕЛАЛАНД

МА, ЭТО Я
пьеса

Действующие лица:
МАТЬ (80 лет)
ДОЧЬ (55 лет)

Действие 1.
Эпизод 1.

Обычная советского вида комната (стол посередине (на нём графин с водой и стакан), около него два стула, сервант, радиоточка на стене, старый холодильник, диван), на диване свесив ноги в толстых вязаных носках сидит пожилая женщина. Тихонько работает радио, холодильник дрожит и утробно урчит. Слышится звук проворачиваемых в замке ключей, захлопывающейся двери, раздается женский голос: «Ма, это я!». В комнату входит дочь. Она в осеннем пальто, сапогах и с пакетами в обеих руках.

ДОЧЬ *(ставя пакеты на стол и начиная раздеваться – снимать пальто, сапоги, шарфик, оставляя всё на стуле и около)***.** Никак не могла сегодня уехать. Представляешь, простояла на остановке минут двадцать – ни одного 98-го. *(Делает несколько шагов по направлению к матери.)* Ты как сегодня?
МАТЬ *(глядя вниз на свои ноги в носках)***.** Я-то нормально. Для начала скажите мне, мадмуазель, кто вы? Как вы попали в мою квартиру?
ДОЧЬ *(мрачно)***.** Ясно. *(Подходит к ней близко, садится рядом на корточки, кладет руки ей на колени)*. Я твоя дочь, Нина, я прихожу к тебе каждый день, приношу тебе еду, лекарства, убираю здесь.
МАТЬ. Какой бред! Что вы такое несёте? У меня нет дочери!
ДОЧЬ. Господи! Мама!
МАТЬ. Откуда у вас ключ от моей квартиры, милочка?
ДОЧЬ. Ладно. Ты приняла утренние лекарства?
МАТЬ. Разумеется.
ДОЧЬ. Вот ещё прими вот это *(достаёт из сумочки пузырёк, извлекает из него две капсулы)*. Это ноотропный препарат, улучшает память, мозг будет лучше работать.
МАТЬ. Мой мозг работает великолепно.
ДОЧЬ *(протягивает ей капсулы на ладони)***.** Возьми, пожалуйста.
МАТЬ. Ну уж нет, зачем же это я, позвольте, буду брать всякую отраву.
ДОЧЬ. Ну что, мне тебе силком что ли запихивать?
МАТЬ. Только попробуйте ко мне притронуться! Я буду кричать, так и знайте! Моя соседка сразу услышит и вызовет…кого надо вызовет.
ДОЧЬ *(кладёт капсулы на стол)***.** И как зовут твою соседку?
МАТЬ. Её зовут… А не ваше дело. Вы просто хотите выведать у меня… всю информацию узнать. Дудки!
ДОЧЬ. Мамочка, нет никакой такой соседки тут. Рядом с нами снимает квартиру молодая семья. Второй месяц. Но они не услышат, как ты будешь кричать.
МАТЬ. Отчего же это они не услышат?
ДОЧЬ. А оттого, что у них двое маленьких детей. Шум, гам.
МАТЬ. А соседка?
ДОЧЬ. Соседка умерла.
МАТЬ. Не может быть такого! Вы врёте! Я вчера с ней разговаривала, вчера…
ДОЧЬ. Умерла полгода назад. А год лежала парализованная.
МАТЬ. А-а-а-а… Я поняла… Вы специально это говорите, чтобы я начала сомневаться в себе. В своём рассудке. Чтобы я допустила, что ку-ку.

ДОЧЬ *(пытается её обнять)*. Мамочка, ты не ку-ку, это пройдёт…
МАТЬ *(отбивается)*. Не трогайте меня! Говорите, зачем пришли и убирайтесь!
ДОЧЬ. Я пришла накормить тебя и оставить тебе новое лекарство. Инесса Марковна сказала, чтобы я проследила, как ты его выпьешь.
МАТЬ. Может, перестанете мне тыкать? В конце концов, я старше вас.
ДОЧЬ. Да, мамочка, старше, старше… Ты годишься мне в матери.
МАТЬ. Оставьте лекарство и уходите.
ДОЧЬ. Выпей его, поешь немного, и я уйду.
МАТЬ. Опять двадцать пять! Как мне вас отсюда выпроводить-то?
ДОЧЬ *(нервно)*. Ладно, что я разговариваю с тобой?

Молча достаёт из сумки пластиковые контейнеры с едой, один из них открывает, кладёт в него ложку, ставит на стол. Наливает в стакан воду из графина, берёт стакан и две капсулы и решительно направляется к матери. Происходит короткая молчаливая борьба, в результате которой капсулы выпадают, вода расплескивается, дочь со стуком ставит стакан на стол, садится на стул, кладёт голову на руки и плачет.

ДОЧЬ *(не поднимая головы, сквозь слёзы и всхлипывания)*. Не могу уже… Ну как… Ну как это можно выдержать… Просто не понимаю… За что мне это? *(поднимает заплаканное лицо)*. Почему ты мучаешь меня так? Чем я заслужила? Хотя… ты всегда меня не любила. Зачем только родила? В детстве я была на бабушке, я не видела тебя неделями. А как я мечтала, чтобы ты просто посидела со мной рядом, когда я засыпаю. Просто подержала меня за руку. И после этого… И теперь ещё… Ты не хвалила меня, только требовала, чтобы я была, какой тебе было нужно. Это из-за тебя я даже не попробовала поступить на худграф! А ведь я могла бы, и, может быть, ну а вдруг, а? была бы счастлива. Ты меня заставила учиться на бухгалтера. Зачем? Это же тоска смертная! Ты не разрешила мне встречаться с Юркой. А я любила его. И, может быть, он бы не погиб потом. Если бы мы были вместе. Ты нас познакомила с Платоном. Сразу было ясно, что мы разные, но ты давила, давила, давила на меня, мне просто пришлось сдаться, чтобы ты отстала. Ну и что? Всё равно мы разбежались через полгода, только нервы друг другу попортили. Ты мучила меня всю жизнь! Почему и сейчас? Ну сколько можно?! Ну хватит уже!
МАТЬ. Давай свои лекарства.

Дочь, не веря в своё счастье, вскакивает, наливает воду в стакан, достаёт новые капсулы из пузырька, подносит матери. Мать берёт капсулы, кладёт в рот, запивает водой, закидывает голову, хватает себя за горло, начинает задыхаться. Падает на кровать.

Эпизод 2.

Та же комната. Мать бездыханная лежит на кровати. По комнате туда-сюда ходит дочь, держа около уха телефон.

ДОЧЬ *(нервно)*. Алло! Ну наконец-то! Почему ты не берёшь трубку?! Приезжай! Она мертва. Что? Да. Что? Не знаю ничего, приезжай. Нет, мы так не договаривались. Я своё дело сделала. Старуха мертва, дальше уже ваши с Захаром задачи. Стоп. Это мы не обсуждаем. Просто приезжай или давай я ключ где-то оставлю и поеду. Всё, я кладу трубку.

Сбрасывает звонок. Оглядывается на старуху, та лежит в той же позе. Подходит к серванту, начинает искать что-то, достаёт какие-то документы, просматривает их. В этот момент звонит её телефон.

ДОЧЬ *(прижимая плечом трубку, продолжая разбирать документы)*. Да. Да. Да. У неё никого нет, повторяю тебе. Да. Да, я ещё здесь. Конечно, она всё подписала. Ещё в прошлый раз. Да. Ну вы как хотели? Ну? Она вас вызвала? Это отмечено в базе? Ну? В чём проблема, я не понимаю? Давай, жду! Да. Ну звони Захару. Да.

Сбрасывает звонок, продолжает любовно перекладывать документы. Тем временем старуха тихо поднимается, аккуратно сплевывает капсулы в кулак и кладёт их в карман. Поднимается с дивана, подходит к столу, берёт графин, полощет рот, сплевывает в стакан, дочь оборачивается, мать швыряет графин в голову дочери. Промахивается.

ДОЧЬ. Мамочка… Мама!
МАТЬ *(вооружается стулом)*. Не называйте меня так. Я вам никакая не мама.
ДОЧЬ *(пятясь, чтобы быть поближе к выходу)*. Ты всё не так поняла!
МАТЬ *(подбираясь со стулом всё ближе)*. Да чего уж тут не понять! Всё ясней ясного.
ДОЧЬ. Только не бросай его!

МАТЬ. Не, не буду, я так… не выпуская из рук.
ДОЧЬ. Тебе нельзя поднимать тяжёлое!
МАТЬ *(размахиваясь стулом).* Я аккуратно!

Дочь ойкает и выскакивает из квартиры. Дверь за ней захлопывается. Мать тяжело опускает стул, тяжело садится на него. Берёт графин, пьёт из горла, выдыхает.

Действие 2.
Эпизод 1.

Та же комната, на диване, свесив ноги в толстых вязаных носках, сидит пожилая женщина. Тихонько работает радио, холодильник дрожит и утробно урчит. Слышится звук проворачиваемых в замке ключей, захлопывающейся двери, раздается женский голос: «Ма, это я!». В комнату входит дочь. Она в осеннем пальто, сапогах и с пакетами в обеих руках.

ДОЧЬ *(ставя пакеты на стол и начиная раздеваться – снимать пальто, сапоги, шарфик, оставляя всё на стуле и около).* Никак не могла сегодня уехать. Представляешь, простояла на остановке минут двадцать – ни одного 98-го. *(Делает несколько шагов по направлению к матери.)* Ты как сегодня?
МАТЬ *(глядя вниз на свои ноги в носках).* Я-то нормально. Давление ночью поднималось, но я выпила те таблетки, и потом спала.
ДОЧЬ. Какие таблетки?
МАТЬ. Ну те, как их? Которые Инесса мне прописала.
ДОЧЬ. Мамочка, какая Инесса?
МАТЬ *(начиная раздражаться).* Инесса Марковна. Не те, конечно, которые для улучшения памяти, а которые от давления. Для улучшения памяти не работают совершенно *(разворачивается на кровати, что-то перекладывает, кряхтя, достаёт альбом с фотографиями).*
ДОЧЬ *(доставая из пакетов еду).* Впервые слышу про Инессу Марковну. Надеюсь…
МАТЬ *(открыв альбом на нужной странице).* Нина! Вот погляди, что я нашла. Подойди-ка сюда.
ДОЧЬ *(подходит, садиться рядом, вынимает фото из альбома, всматривается с растерянной улыбкой).* Ого!

На фото, которое крупным планом видно на экране, запечатлены мама с маленькой дочкой. Фотография старая, черно-белая, с небольшим желтоватым пятнышком сбоку и со следом небольшого загиба справа наверху. Все могут видеть, что это фотография Нины с каким-то ребёнком. Пока Нина рассматривает фото, мать встаёт, подходит к столу, любопытствует, что ей принесли.

ДОЧЬ. Мам, удивительно, как ты на этой фотографии похожа на меня! Мне всегда казалось, что я больше в папину породу. Надо же!
МАТЬ *(открыв одну из банок с супом и уже целясь в нее ложкой).* Да, поразительно!
ДОЧЬ *(*не отрывая глаз от фото*).* Слушай, а я совсем не помню, как мы с тобой фотографировались. Странно. Сколько мне здесь лет?
МАТЬ *(с аппетитом уплетая из банки).* Двадцать пять.
ДОЧЬ *(не расслышав).* Пять? А на вид уже школьница. Лет семь?
МАТЬ (*проглотив всё, что она жевала, отчётливо*). Двадцать пять лет, 8 месяцев и 6 дней. Я отлично помню тот день.
ДОЧЬ *(понимающе кивая).* А, ну так это тебе двадцать пять.
МАТЬ *(холодно).* Нет, это тебе. Мы долго собирались, ты вплела мне в косы два белых банта, похожих на хризантемы. По дороге ты пообещала мне пломбир. Сказала, что лучше после, вдруг я заляпаюсь. В принципе логично *(она с сожалением посмотрела в пустую баночку и закрыла её).* А знаешь, почему ты этого не помнишь?
ДОЧЬ *(тупо).* Почему?
МАТЬ *(разразившись ненормальным хохотом).* Потому что ничего этого не было.
ДОЧЬ *(эхом).* Ничего этого не было… *(как бы очнувшись).* Допустим! А откуда фотография?
МАТЬ *(открыв новую коробочку с картофельным пюре и котлетой).* Так вот и я всё утро голову ломаю!
ДОЧЬ. Странно. Вот смотрю и понимаю, что эта девочка – это же не я… Мам, как это?
МАТЬ *(наворачивая второе).* Ну ты, мать, даёшь! Конечно, это не ты – это я.
ДОЧЬ. Погоди… Ты хочешь сказать, что на этой фотографии вот эта женщина – я, а эта вот девочка – это вот ты?.. Что это – фотошоп?
МАТЬ. Не выражайся, пожалуйста, ты знаешь, я этого не люблю. Это просто то, что могло быть, но не случилось.
ДОЧЬ. Как они хорошо всё подогнали, очень натурально. Аааа, ну я поняла, это, наверное, Шурик пошутил!

МАТЬ. Кто такой Шурик?
ДОЧЬ. Внук твой!
МАТЬ. Как у меня может быть внук, если я не родилась даже? Ну ты скажешь! *(фальшиво смеётся).*
ДОЧЬ. Мамочка, ну я же твоя дочь. Ты же не могла родить меня, не родившись сама?
МАТЬ. Да нет, Ниночка, это я твоя дочь. Только ты решила меня не рожать. Ну 18 лет, все дела. Зачем тебе обуза?
ДОЧЬ. Что ты такое говоришь?! Как ты можешь мне такое в лицо говорить?! Да я бы никогда…
МАТЬ. А чего ж молчать-то? Смотри, как оно повернулось. Ты вот пожить для себя хотела, а живёшь для меня. Каждый день ко мне приходишь, кормишь, убираешь.
ДОЧЬ *(вскакивает с дивана и внезапно останавливается).* Что-то мне нехорошо… Тошнит…
МАТЬ *(флегматично).* Сейчас отпустит, подыши глубоко. Не беспокойся, это токсикоз. Он теперь у тебя всегда.
ДОЧЬ *(подходит к столу, садится рядом, молчит некоторое время).* Мама, откуда ты узнала, что я в 18 лет сделала аборт? Тебе Полина рассказала? Никто, кроме неё, не знал же…
МАТЬ *(облизывая ложку).* Нина, милая… Ты меня видишь?
ДОЧЬ. Да, отлично вижу.
МАТЬ. А слышишь?
ДОЧЬ. Да.
МАТЬ. А понимаешь?
ДОЧЬ. Не совсем.
МАТЬ *(наливая себе из графина воду в стакан).* Я зла на тебя не держу. Я же тоже – как это? – заложница обстоятельств. Будешь? *(протягивает Нине, та легко мотает головой, мать пожимает плечами и выпивает залпом, как водку, занюхивает кусочком хлеба).* В целом, я ведь даже тебя не знаю. Если бы меня кто-нибудь спрашивал, допустим, хочу ли я, чтобы ты ко мне приходила каждый день, то я бы сказала, что не хочу. Но меня никто не спрашивает. Всё идёт как-то само *(она аккуратно складывает грязную пустую посуду в пакет, встаёт из-за стола, покряхтывая, идёт к кровати, ложится спиной к зрительному залу*). Я посплю.
ДОЧЬ *(вздохнув).* Да, мамочка, поспи *(подходит к ней, поправляет и подтыкает одеяло, целует в висок*). А я с тобой посижу *(садится на пол рядом с кроватью, поглаживает по плечу мать и тихонько напевает колыбельную).*

Занавес.

Эпизод 2.

Та же комната, но в ней никого нет. Тихонько работает радио, холодильник дрожит и утробно урчит. Слышится звук проворачиваемых в замке ключей, захлопывающейся двери, раздается женский голос: «Ма, это я!». В комнату входит старая женщина (но она выглядит существенно моложе, чем раньше). Она в осеннем пальто, сапогах и с пакетами в обеих руках.

МАТЬ *(ставя пакеты на стол и начиная раздеваться – снимать пальто, сапоги, шарфик, оставляя всё на стуле и около).* Никак не могла сегодня уехать. Представляешь, простояла на остановке минут двадцать – ни одного 98-го. *(Делает несколько шагов по направлению к кровати.)* А ты где? *(оглядывается).*
ДОЧЬ *(голос из ванной*). Я сейчас… Уже одеваюсь… Душ принимала…
МАТЬ. Мам, не спеши, всё в порядке. Аккуратнее там.
ДОЧЬ *(входит в комнату в махровом халате, вытирая голову полотенцем. Когда она убирает полотенце от лица, видно, что она намного старше, чем раньше. Да и по фигуре тоже видно, по осанке).* Прости, забыла, что ты ко мне сегодня должна прийти.
МАТЬ. Я каждый день к тебе прихожу *(достаёт из сумки банки, пластиковые коробочки с едой).* Как ты себя чувствуешь?
ДОЧЬ. В общем, терпимо. Ночью давление поднималось, но я приняла таблетки, которые мне Инесса Марковна прописала.
МАТЬ. Какая Инесса Марковна?
ДОЧЬ. Ну та, твоя знакомая, у неё ещё сын заикается.
МАТЬ. Аааа, Инесса… Она не Марковна, а Майкловна. У неё отца звали Майкл, он американец. Был.
ДОЧЬ. Да-да, что-то припоминаю *(вешает полотенце на спинку стула, садится за стол*). Ты не знаешь, когда меня отсюда выпустят?
МАТЬ. Мам, тебя тут никто не держит, сколько раз повторять. Ты сама себя не выпускаешь.
ДОЧЬ. Как же сама? Вы меня тут и заперли. Вот ты ко мне можешь зайти, а я выйти не могу.
МАТЬ. Мам, ну что ты такое придумываешь. Смотри, вон в коридоре ключи висят на стене, запри дверь и гуляй себе сколько хочешь, только далеко слишком не уходи от дома.

ДОЧЬ. Дверь-то открыть я могу, а переступить через порог – нет. Это всё ваши фокусы, я знаю.
МАТЬ. Наши, наши. Мы ходим и шепчем «алохомора», чтобы заколдовать твой порог.
ДОЧЬ. Не выражайся, пожалуйста, ты знаешь, я этого не люблю.
МАТЬ. Мам, смотри, я тебе принесла от Шурика кое-что *(достаёт из сумки фотоальбом).*
ДОЧЬ. Положи, пожалуйста, на кровать, я позже посмотрю.
МАТЬ. Ага *(кладёт на кровать).*
ДОЧЬ. А кто такой Шурик?
МАТЬ. Ох, что ж нам делать-то? *(садится рядом с ней за стол, поправляет её волосы, упавшие на лицо).* Твой сын, мой брат.
ДОЧЬ. Что-то припоминаю, да… А у тебя своих детей нет, что ли?
МАТЬ. Какие дети в моём возрасте?
ДОЧЬ. А сколько тебе лет?
МАТЬ. Нисколько.
ДОЧЬ. На такие вопросы леди не отвечают, потому что джентльмены их не задают?
МАТЬ. Мам, я хотела с тобой поговорить. Это серьёзный разговор, я очень хочу, чтобы ты меня услышала.
ДОЧЬ. Говори, конечно.
МАТЬ. Понимаешь… тут такое дело. Мне месяц назад предложили работу, о которой я много лет мечтала.
ДОЧЬ *(радостно).* О, я поздравляю тебя!
МАТЬ. Спасибо большое. Спасибо… Дело в том, что эта работа… в общем, мне придётся переехать. Я буду жить далеко отсюда.
ДОЧЬ. Но ты сможешь приезжать ко мне?
МАТЬ. Конечно! Но редко. Раз в месяц, наверное.
ДОЧЬ. Раз в месяц? Ну… *(растерянно)* а Шурик?
МАТЬ. А что Шурик? Ты же его знаешь. Он вроде и здесь, но постоянно в разъездах.
ДОЧЬ. А как же…
МАТЬ. Вот об этом я и хочу… Об этом я и хотела поговорить. Мама! Ты знаешь, что в Европе давно уже принято пожилых людей помещать в специальные дома. Подожди… Не перебивай меня. Им там веселее. Они там в компании. Потом – уход. Там же круглые сутки дежурит врач, если что – он поможет. И медсестра. Там кормят. Трёхразовое питание. Супы всякие, я узнавала. Соки дают. Мамочка, тебе там будет лучше. Ну посмотри, ты же все дни здесь сидишь безвылазно. Как сыч! Сыч и есть… Мамочка, там с тобой гулять будут. Специальные люди, я узнавала. Волонтёры.
ДОЧЬ *(сидит, опустив голову).* Я никуда не уеду из своей квартиры.
МАТЬ. Мамочка, ну как ты себе это представляешь? Если ты даже из дома выйти не можешь? А кто тебе еду будет приносить? *(распаляясь)* А? Вот такую еду *(поднимает и ставит обратно на стол банки и коробочки).* Хоть какую-нибудь еду, а? А если тебе плохо станет? Кто тебе поможет? *(заглядывает ей в лицо).*
ДОЧЬ *(ещё упрямее).* Я никуда не уеду из своей квартиры.
МАТЬ. Умереть здесь хочешь?
ДОЧЬ. Да, хочу умереть здесь.
МАТЬ. От голода?
ДОЧЬ *(поднимает лицо наконец, смотрит на неё).* Ты никакая мне не дочь *(медленно поднимается со стула).* Кто вы вообще? Как вы проникли в мою квартиру?
МАТЬ *(устало).* Мама, ну давай вот без театра.
ДОЧЬ. А ну убирайтесь отсюда, пока я полицию не вызвала!
МАТЬ. Господи, как же я устала! *(Берёт одежду, идёт к двери).*
ДОЧЬ *(швыряет ей вслед пластиковый контейнер с едой).* И забери свою поганую еду! Она отравлена!

Слышно, как захлопывается входная дверь. Дочь остаётся стоять посреди комнаты, как бы ожидая продолжения. Занавес.

Эпизод 3.

Та же комната. Мать сидит на стуле за столом, смотрит в одну точку. Тихо работает радио, урчит холодильник. Раздаётся звук проворачиваемого в замке ключа, хлопок закрываемой двери. Голос из коридора: «Ма, это я». В комнату входит дочь. Она в пальто, сапогах, в руках у неё пакеты с продуктами.

ДОЧЬ. Представляешь, пришлось сегодня на работе почти на час задержаться. Мы реставрировали весь день икону *(ставит пакеты на стол, разбирает их)*, ну я рассказывала тебе, а в последний момент Юрка капнул на неё растворитель. Вот *(снимает пальто, уходит в коридор, по голосу слышно, что она там разувается).* Как ты сегодня? *(Возвращается в домашних тапочках).*

МАТЬ. Я-то нормально. Для начала скажите мне, мадмуазель, кто вы? Как вы попали в мою квартиру?
ДОЧЬ. Ох, ну что ты будешь делать?
МАТЬ. Откуда у вас ключи?
ДОЧЬ. Мамочка, ключи у меня были всегда. Я твоя дочь, Нина.
МАТЬ. У меня нет детей.
ДОЧЬ. А куда же они делись?
МАТЬ. Я не могу сказать это незнакомому человеку.
ДОЧЬ. Так мы уже познакомились. Я Нина.
МАТЬ. Ну это какое-то шапочное знакомство.
ДОЧЬ. Так давай узнаем друг друга поближе. Что тебе рассказать обо мне?
МАТЬ. Честно говоря, было бы неплохо, если бы вы просто ушли.
ДОЧЬ. Увы, не могу. Придётся тебе потерпеть меня.
МАТЬ. Долго?
ДОЧЬ. Пару часов. Потом Шурик придёт с тенниса, я ему обещала помочь с презентацией.
МАТЬ. Какой такой Шурик?
ДОЧЬ. Внук твой.
МАТЬ. Как же у меня может быть внук, если у меня нет детей?
ДОЧЬ. А где твои дети?
МАТЬ. Вы уверены, что хотите это знать?
ДОЧЬ. Конечно.
МАТЬ. Я их убила.
ДОЧЬ. Господи!
МАТЬ. Я предупреждала.
ДОЧЬ. А за что ты с ними так?
МАТЬ. Не могу сказать.
ДОЧЬ. Ну и ладно, и не говори. В любом случае, у меня для тебя хорошая новость.
МАТЬ. Да? Какая же?
ДОЧЬ. Тадам!
МАТЬ. Что значит – тадам?
ДОЧЬ. Я выжила. И брат мой тоже жив-здоров. Правда, он далековато, в Канаде. Но по скайпу можно и с ним поболтать.
МАТЬ. Это всё чушь. Я знаю, что вам нужно.
ДОЧЬ *(открывая один из контейнеров с едой, доставая ложку)***.** И что же?
МАТЬ. Вы хотите убить меня и забрать мою квартиру.
ДОЧЬ. Почему ты так решила?
МАТЬ. Я слышала разговор по телефону.
ДОЧЬ. Какой разговор?
МАТЬ. По телефону. И Захар там был.
ДОЧЬ. Какой Захар?
МАТЬ *(злится, начинает кричать)***.** Не знаю, какой Захар, это вам лучше знать, какой Захар!
ДОЧЬ. Ладно, ладно, не нервничай. Давай, я покормлю тебя, а ты мне расскажешь.
МАТЬ. И капсулы принесла?
ДОЧЬ. Какие капсулы?
МАТЬ. Ну эти, новые, от Инессы. Для мозга.
ДОЧЬ. Нет никаких капсул.
МАТЬ. А что? Прямо в еду подсыпала?
ДОЧЬ. Чего подсыпала?
МАТЬ. Ясное дело чего – яд!
ДОЧЬ. Господи! Из яда здесь только соль и немного чёрного перца. Но вот прям совсем чуть-чуть. Могу в следующий раз не класть, но ты же сама ругаешься, когда пресно.
МАТЬ. А что это?
ДОЧЬ. Борщ, твой любимый. Давай ложечку съешь, не понравится – не будешь. Я ещё пюре с паровой котлеткой принесла и рис с курицей.
МАТЬ *(осторожно пробует, морщится)***.** Пресное!
ДОЧЬ. Ну давай я немного досолю *(встаёт, берёт солонку из серванта, досаливает)* А так?
МАТЬ *(пробует)***.** Так лучше.
ДОЧЬ. Ну вот и славно. Сейчас покушаем с тобой и фильм посмотрим. Ты какой хочешь сегодня посмотреть?
МАТЬ. Фильм? А какой есть?

ДОЧЬ. Да мы сейчас почти любой можем найти в интернете.
МАТЬ. Правда что ли? И «Римские каникулы»?
ДОЧЬ. И «Римские каникулы».
МАТЬ. Тогда их.
ДОЧЬ. Вот и хорошо, вот и славно, сейчас мы с тобой докушаем… вот молодец… ты моя хорошая…

Продолжает кормить её и приговаривать. Мать с удовольствием ест.

Занавес.

ЛАДА МИЛЛЕР

АВРОРА И ДРУГИЕ
повесть для детей

Глава первая. Знакомство

О том, что у него скоро появится младшая сестра, Мишка узнал в тот день, когда пошёл в первый класс.

Мама проводила его в школу, помахала рукой и крикнула вдогонку.

– А вечером расскажу тебе кое-что. Сюрприз.

В школу Мишка идти не хотел, старший брат его напугал, что в школе всё строго и непонятно, но мама объяснила, что садик кончился, а на работу таких маленьких, да ещё неучёных, не берут.

Мишка мечтал работать чиником, чинить детские игрушки.

– Придётся подождать, – вздохнул он и пошёл по длинному коридору, волоча за собой старый рюкзак.

Рюкзак был Данькин, старшему брату недавно исполнилось четырнадцать, на день рождения он получил новенький велосипед. Мишка донашивал за Данькой всё подряд, вот и до рюкзака дорос, лучше бы велосипед дали, но старый сломался, а к новому Данька даже подходить не разрешал. Если бы Мишке разрешили работать чиником, он бы починил старый велик. Но до чиника надо дорасти, а пока придётся походить в непонятную школу.

Обещанный сюрприз отвлёк от мрачных мыслей. Интересно, что это может быть?

Мишка зашёл в класс, огляделся. Ребята с незнакомыми лицами рассаживались за столами.

Мама сказала, что сидеть на уроках надо смирно, лучше всего выбрать стол поближе к учителю. Учителя не было, была учительница – толстая, с бровями. Мишка попятился и сел за последнюю парту.

Прозвенел звонок, в классе стало тихо. Учительница оглядела ребят, сказала строго:

– Меня зовут Ангелина Валентиновна, – а дальше Мишка перестал слушать, потому что отвлёкся на длинное имя, принялся его повторять, чтобы запомнить.

– Ангелина Валентиновна, Валентина Апельсиновна, Апельсина Ванилиновна…

Имя не запоминалось, тогда Мишка отвлёкся на муху. Муха была крупная, она сидела на подоконнике и потирала лапки. Мишка протянул руку, муха лениво всколыхнулась, перелетела на соседнее окно, замерла. Мишка стал думать о том, что надо дать мухе имя, раз уж она поселилась у них в классе.

– Имя?

Мишка вздрогнул, повернулся на голос.

Апельсина Ванилиновна стояла перед ним, подбоченясь, брови её сошлись в одну чёрную линию.

– В третий раз спрашиваю, как твоё имя. Или ты оглох?

– Я не оглох, – Мишка немного обиделся, – Меня зовут Миша.

– Фамилия?

– Фунтиков.

Дети засмеялись.

– Шутки будешь дома шутить, – голос у учительницы был железный, будто вилкой по тарелке скребут.

– Это не шутка. У меня фамилия такая. Фунтиков.

Мишка покраснел. Раньше ему нравилась его фамилия. А для школы, видать, она не очень подходит.

– Тогда слушай сюда, Михаил Фунтиков. Когда говорит учитель, все молчат и слушают. Не глазеют по сторонам и не крутятся. Сядь ровно.

Мишка вытянулся, надул щёки, чтобы не заплакать. Он всегда так делал, когда его дразнил Данька. Не помогло.

Учительница отошла, он шмыгнул носом, приказал слёзам уйти обратно.

Слёзы ушли, Мишка растопырил глаза, уставился на Ванилину Апельсиновну, стараясь не пропустить ни одного слова.

Безымянная муха поползла по стеклу. Ей тоже хотелось на улицу. Там сейчас славно, деревья роняют листья, лужи их ловят, ветер дует, помогает плыть. Если на такой плавучий лист посадить муху, она будет капитан корабля.

– Фунтиков!

Мишка отвернулся от окна, дети снова засмеялись.

– Ещё раз посмотришь в окно – выйдешь из класса.

Мишке понравилась эта идея, и он повернулся к окну всем туловищем, а не только головой, как раньше.

– Вон из класса! – учительница поджала губы и показала рукой на дверь, Мишка обрадовался, взял рюкзак и пошёл к выходу.

– Рюкзак оставь.

Пришлось оставить, ну что поделаешь.

За дверью был всё тот же коридор, сейчас в нём никого не было, по обе стороны коридора, за закрытыми дверями, сидели другие дети и другие мухи.

– Пенка. Я назову её Пенка, – пробормотал Мишка.

– Кого? – раздался тихий голос за спиной, и он подскочил от неожиданности.

Девчонка оказалась так себе, крохотная, даже ниже ростом, чем Мишка, на ней было красное платье, башмаки и носочки, один носок зелёный, а другой розовый. В руках она держала зелёный зонтик, с него стекали капли, они падали на пол, будто стеклянные шарики.

– Привет, – сказала девчонка, – Я Аврора. А ты?

– Миша. Фунтиков, – по привычке ответил он, и проверил, не смеется ли девчонка.

– А Пенка – это кто?

– Муха. Она в классе осталась.

– Понятно.

Девчонка принялась прыгать на одной ноге, с её рыжих кудрей тоже посыпались брызги.

Мишка наклонился, взял в руки несколько стеклянных шариков. Они были тёплые и разноцветные.

– Откуда это у тебя? – спросил он.

Девчонка пожала плечами.

– Под дождь попала. Чего необычного?

– Да нет, ничего, – согласился Мишка, – А меня из класса выгнали.

– Бывает, – девчонка прекратила прыгать, сложила зонтик, уставилась на Мишку зелёными глазами, – Ну, пошли, что ли?

– Пошли, – сразу согласился он, – А куда?

– Давай в класс вернёмся. Мне интересно, как у вас тут всё устроено.

Мишка не стал спрашивать, что значит «у вас», но спросил про другое:

– А что скажет Валентина Ангелиновна?

– Ванилина Апельсиновна? А она меня не увидит. Я тихонько. Пошли, ну.

Но тут прозвенел звонок, открылись все двери, дети высыпали в коридор.

– Давай уже дождёмся следующего урока, – предложил Мишка, – а сейчас перемена, можно бегать, прыгать и шуметь, мне брат рассказывал.

– Хорошо, – согласилась девчонка, – а что значит брат?

– Ну… Мишка задумался, – Это такой человек. Он у нас дома живёт.

– Он взрослый?

– Нет.

– Маленький?

– Нет.

– Играет с тобой?

– Иногда.

– Понятно. А у меня нет брата. Где их берут, братьев?

– Не знаю. Наверное, они рождаются, как и все остальные.

– Что значит «рождаются»?

Мишка покраснел.

И почему он так быстро краснеет?

– Данька рассказывал, что дети из живота вылезают. Но как они в живот попадают, я пока что не понял.

– То есть, если я хочу брата, я должна его достать из живота?

– Не ты, а мама.

– Кто это *мама*?

Мишка посмотрел на девочку, проверяя, не шутит ли? Не может ребёнок про маму не знать, так не бывает. Но глаза её, зелёные, как зонтик и носок, не смеялись.

– Как, ты сказала, тебя зовут?

– Аврора.

– А ты откуда?

– Оттуда, – девчонка неопределённо махнула рукой, – Неважно. Давай уже бегать и шуметь. Ты обещал.

И они побежали по коридору, обгоняя других детей, таких же взбудораженных и счастливых.

Глава вторая. Пончики

Снова прозвенел звонок, и Мишка принялся рассовывать по карманам стеклянные шарики.

– Пошли в класс, – торопила его Аврора.

– Сейчас, сейчас, погоди, не хочу, чтобы они тут потерялись, – пробормотал он.

Девчонка от нетерпения приплясывала у двери.

– Апельсиновна идёт, давай быстрей!

Мишка оглянулся. И действительно: учительница была уже совсем близко. Он наклонился, подобрал последний, самый красивый, надо же, под плинтус закатился, сунул к другим в карман.

– Заходим, – скомандовал, – Только зонтик спрячь.

Аврора схватила зонтик, подбросила его вверх, он превратился в маленького зелёного попугая, попугай уселся к девочке на плечо, и все трое заскочили в класс. Мишка пошёл на своё место, Аврора уселась рядом.

Ни дети, ни учительница по непонятной причине не замечали новенькую, и Мишка удивился, ну вот же она, девчонка, да ещё какая – яркая, рыжая, румяная, похожа на яблоко, сидит со своим попугаем, ничего не боится, никого не стесняется, везёт же некоторым.

Но тут Апельсиновна пробасила:

– На первом уроке я рассказывала о правилах поведения в школе, а на втором давайте-ка поговорим о буквах, – и Мишка звонко ответил, хотя его никто не спрашивал:

– Давайте, – уж больно ему хотелось про буквы поговорить, ведь из букв книги складываются, а книги Мишка любит. Да и дома будет стыдно, если он ничего кроме Авроры и её зонтика из первого школьного дня не запомнит.

Брови Апельсиновны снова сошлись в одну линию, но Мишка не успел испугаться, Аврора дернула его за рукав и спросила:

– А где твоя Пенка?

Мишка отвёл взгляд от мохнатых бровей, огляделся.

– Не видать. Может, улетела? А нет, вот же она, гляди.

Муха сидела с задумчивым видом на потолке, рассматривала Аврору.

– Фунтиков! Мало того, что ты крутишься, так ещё и перебиваешь. А ну-ка выходи к доске.

Мишка загрустил, опустил плечи, вышел на середину класса. Доска была большая, зелёная, но не такая яркая, как зонтик.

– Ты помнишь, о чём я говорила на первом уроке? Правило первое. Болтать на занятиях нельзя. Повторяй, Фунтиков.

Мишка покраснел, заволновался, ему казалось, что все на него смотрят и смеются над ним, какой он глупый и неуклюжий, стоит посреди класса, руки болтаются, деть некуда, разве что в карманы.

И он скорей засунул руки в карманы, а оттуда ка-а-а-ак покатились Авроринны стеклянные шарики, так покатились, будто в класс радуга зашла.

.....

Домой шёл понурый.

Рядом семенила Аврора, она без умолку болтала, отвлекала от грустных мыслей.

Попугай на улице снова стал зонтиком, наверняка, чтобы спрятаться от чужих людей и всяческих неприятностей.

– Вот бы и мне так, – размечтался Мишка, – если провинился и домой неохота, то можно зайти в квартиру и превратиться, например, в кактус, здоровый и колючий, такой, как у нас на кухне. Стать ненадолго кактусом, постоять руки в боки, пока гроза не пройдёт, а потом можно и обратно в мальчика возвращаться. Да, кактус – это классная идея, но вот вопрос – куда рюкзак спрятать?

Рюкзак после уроков был гораздо тяжелее, чем до. При каждом шаге он поддавал в спину, напоминал про дневник с красными буквами внутри: ещё немного, и эти самые буквы спрыгнут со страницы, возьмутся за руки и объяснят маме, что Мишка шалит и не даёт вести уроки.

– Ох, – вздохнул Мишка, – Не задался первый день. И из класса выгнали, и в дневник записали.

А самое главное – вот ведь дурачина-простофиля – шариков лишился, Апельсиновна всё забрала, а это несправедливо.

– Правда же, это несправедливо? – спросил Мишка Аврору, подстраиваясь к её мелким скачущим шажкам.

– Правда, – закивала она, – А что такое несправедливо?

– Это… Мишка задумался. Несправедливо, это когда после плакать хочется.

– А тебе сейчас хочется?

– Нет, – удивился Мишка.

Аврора кивнула, довольная.

– Привыкай, от меня слёзы пропадают. Да и с Гретой не соскучишься. Правда, Грета? – и она снова подкинула свой зонтик и вытянула правую руку вперёд, глядь, на раскрытой ладони сидит тот же самый зелёный попугай, то есть, конечно, попугаиха, Грета. Ишь ты, ну и имечко!

– Правда, – ответила птица, склонила голову, уставилась, не мигая, на Мишку, – со мной не соскучишься. Ну, полетели, что ли? – обратилась она к Авроре, но от Мишки глаз не отвела, – Уйму времени потеряли с этим дурачиной-простофилей.

– Вот ещё, обзывается, – надул было Мишка губы, потом вспомнил, что разговаривает с птицей и рассмеялся.

– А ты откуда моё прозвище знаешь?

– Так ты сам себя давеча так назвал.

– Давеча. Странно как ты говоришь.

– Как научили, так и говорю. Я, между прочим, тоже в школу ходила. То есть летала. Давно это было.

Грета задумалась, видно и правда вспомнила свою школу, потом деловито почесала подмышкой, скосила на Мишку хитрый глаз, запоздало удивилась:

– А разве дурачина – плохое слово? Ты скажи, я сложу его в отдельную папочку, – и попугаиха, чтобы показать обалдевшему Мишке, где у неё эта самая папочка, похлопала себе крылом по круглой голове. Мишка даже остановился.

– Погоди-ка, – он поглядел на Аврору, – Я что спросить хотел. Ну… Вот птица у тебя. Она что же – на самом деле разговаривать умеет?

– Конечно, – пожала плечами девчонка, – Отчего же нет?

– Хорошо, – Мишка пытался собраться с мыслями, – А… А вот, скажем, шарики? Они – зачем?

– Шарики – это важные штуки. Без шариков никак нельзя, – Аврора даже глаза округлила, чтобы до Мишки дошло, и повторила по слогам, как маленькому:

– Важ-ны-е шту-ки.

– Так ведь не осталось. Ни одного. Все Апельсиновна забрала, – Мишка от досады даже губу закусил, – Мало того, что красивые, жалко, а теперь ещё и не узнать, зачем нужны были.

– Тю-ю, – присвистнула девчонка, – Да я тебе ещё миллион марбсов подарю. Или два.

– Тю-ю-ю, – повторила за ней попугаиха, – Вот и пришли. Опять полетать не успели.

Мишка хотел было спросить, что такое марбсы, но увидел знакомый подъезд, надо же, действительно пришли, пора домой. Тут зажглись фонари, оказалось, что небо уже посинело, потемнело, а первые звёзды проснулись, свесили головы, смотрят вниз.

Выходит, они очень долго шли, а ведь школа совсем близко, опять он замечтался и забыл про время, и где они бродили, спрашивается? И что маме отвечать, когда спросит?

– Смотри-ка, – показал он рукой на небо, – Эти звёзды похожи на твои шарики. Или марбсы, правильно? Ты ведь их так называешь?

– Соображаешь, – одобрительно кивнула Аврора и обратилась к Грете, – Говорила я тебе, что он соображает.

– Поглядим, – хмыкнула попугаиха, хотя на свете совсем мало попугаих, которые умеют хмыкать, может быть, только одна Грета и есть.

Пока поднимались по лестнице, Мишка бормотал, сочинял, что бы такое сказать маме, чтобы не ругалась за опоздание: «Заблудился. Нет, не подходит, вот она школа, за поворотом, совсем близко. С ребятами играл. Но я не играл, а врать нехорошо».

– Скажи правду, – перебила его мысли Аврора, – Скажи, что время пошло быстрее, чем обычно.

– Разве так бывает?

– Конечно. Разве ты никогда не замечал?

– Пожалуй, да, – удивился Мишка, – Точно. Когда я про что-то интересное думаю, время просто убегает. А я стараюсь только про интересное думать.

– Вот, а я о чём? – закивала довольная Аврора, – Время – оно такое. Непоседливое.

Мишка обрадовался и стал подниматься ещё быстрее, перешагивая сразу через две ступеньки.

– Сейчас мы это непоседливое время догоним, – бормотал он, – сейчас, сейчас…

В доме пахло пончиками. Мишка даже подпрыгнул от радости, схватил Аврору за руку, потянул за собой.

– Пошли скорей, папа приехал!

Папа у Мишки был геолог, дома появлялся редко, к его приезду, так повелось, мама пекла пончики.

– Ты иди, – кивнула Аврора, – я сейчас, только переобуюсь.

И она принялась возиться в коридоре, сняла башмачки, поставила зонтик, который снова стал зонтиком, в угол прихожей, подошла к зеркалу, принялась поправлять рыжие кудряшки.

Мишка не дождался, бросился в комнату с криком:

– Папа, папа, ты приехал, а я в школу сегодня ходил!

Мама, папа и Данька сидели за круглым столом, чаёвничали. Перед ними на расписной тарелке лежала гора румяных пончиков, сахарная пудра таяла на их тёплых боках, превращалась в белые родимые пятна.

Папа вскочил, раскрыл руки, Мишка разбежался и прыгнул, обхватил его руками и ногами, так и закружились по комнате.

Мама покачала головой:

– Миша, Миша, где же ты так долго был, мы волновались. Ругать тебя завтра буду, а сейчас праздник, мой руки, садись за стол.

– Я просто долго по улице шёл, улица оказалась длиннее, чем я думал, – прошептал Мишка папе на ухо, – Скажи, чтобы не ругала.

– Скажу, – смеясь ответил тот, усадил Мишку на стул, а потом взял в руки чашку с чаем и сказал торжественно: – Ребята, сегодня у нас особенный день. Мы с мамой хотим вам о чём-то сообщить.

Данька и Мишка с интересом уставились на родителей.

– Неужели собаку купим? – подумал Данька.

– Неужели котёнка заведём? – подумал Мишка.

Мама порозовела и тихо сказала:

– Через какое-то время, ближе к весне, у вас появится маленькая сестрёнка.

– Пф-ф, – выдохнул Данька и потянулся за новым пончиком, – А я-то думал.

– Сестрёнка, – повторил Мишка и задумался, – Хорошо, конечно. А зачем нужны сестрёнки?

– Ну, – мама растерянно улыбнулась, – Это же так здорово, правда?

Было видно, что она и сама точно не знает, зачем нужны сестрёнки, но ужасно этому событию рада, так что Мишка решил радоваться вместе с ней.

– Точно, здорово, – важно кивнул он и хлопнул себя по лбу:

– Я же совсем забыл! Я вам Аврору привёл. Она такая… У неё есть марбсы – они похожи на звёзды, а ещё Грета – она похожа на зонтик. Сейчас, погодите.

Он вскочил, выбежал в прихожую, но ничего рыжего и зелёного не обнаружил. Даже зонтик исчез. На деревянном полу лежал разноцветный шарик, он блестел в темноте и подмигивал.

Глава третья. Другое Место

Мишка протянул руку, схватил гладкий, тёплый шарик-марбс, но тут произошло невероятное, стены прихожей сначала раздвинулись, а потом и вовсе пропали. Его будто ветром подхватило, он даже испугаться не успел, только глаза закрыл, и то на одну минутку, а когда открыл, то оказался совсем в другом месте. Сначала он увидел высокие ворота, а над ними плакат, на плакате разноцветными буквами написано: «Другое Место».

Сами ворота раскрыты нараспашку, за ними – большой двор, во дворе полным-полно ребят.

– Заходи, – услышал Мишка знакомый голос, – Чего ты ждёшь?

Это была Аврора, она неслась к нему навстречу, даже подпрыгивала на ходу. И он зашёл.

– Наконец-то, – Аврора схватила его за руку, потянула за собой, – пошли, пошли, сейчас урок начнётся.

– Неужели опять в школу попал? – подумал Мишка и даже немного испугался.

– Это не школа, – услышала его мысли Аврора. – Это – Другое Место, большая разница, понимать надо. И, кстати, это тебе, – и она протянула ему фонарик.

– Спасибо, – обрадовался Мишка и начал рассматривать и крутить подарок.

Фонарик был небольшой, но увесистый, на боку блестела кнопка.

– Потом, потом, – торопила его Аврора, – Это – Гриша. Ещё познакомитесь.

Мишка пожал плечами, положил фонарик в карман и побежал за подружкой.

Двор оказался не двор, а поляна, и не зря ворота нараспашку, потому что забора не было и в помине.

– Чудно, – подумал он, оглядываясь.

Повсюду бегали дети, их было так много, что не сосчитать, за поляной вдалеке поднимался лес, над лесом летали облака, летали не обычно, а в разные стороны, то сталкиваясь, то разбегаясь. Мишка хотел

было сказать, что так не бывает, но не успел, потому что увидел на небе сразу два солнца и три луны, и открыл рот от удивления.

– А где же звёзды? – невпопад спросил он, показывая рукой на небо.

Аврора остановилась, переводя дух.

– Звёзды? Так ты ещё не понял? Звёзды – и есть марбсы. Я зелёные люблю. Гляди.

Она вытащила что-то из кармана, протянула руку, на ладошке лежал-переливался камень, был он похож на маленькое яйцо. Сам зелёный, прозрачный, а внутри огонь.

Мишка даже засмеялся от удовольствия.

Аврора взяла и подкинула зелёный марбс высоко-высоко.

Что тут началось!

С неба посыпались зелёные и оранжевые кульки, а дети принялись бегать по поляне и их ловить. Мишка пригляделся и понял, да ведь это мороженое.

– Мятное, – с гордостью сказала Аврора, – и манговое. Я сегодня самые любимые сорта загадала. А всё потому, что восьмой день недели.

– Разве такой день бывает? – спросил обалдевший Мишка.

– Ещё как бывает! Восьмой день – день несбыточных желаний. Забыл? Только не говори, что у вас, у людей, неделя до сих пор семидневная.

Пока Мишка молчал и сомневался, а вдруг и правда семидневная, он же маленький, мог и перепутать, глаза у Авроры стали ещё круглее и ещё зеленее – то ли от удивления, то ли от досады.

– Эх, – махнула она рукой. – Как всё запущено! Ладно, подкрепись, и пошли дальше.

Только тут Мишка заметил, что держит в руках оранжевый прохладный кулёк. Он развернул хрустящую обертку, надо же – и точно манговое, ну и дела. Он принялся откусывать холодные, сладкие куски и решил больше ничему не удивляться. Кто его знает, может это только сон, так надо его досмотреть и дораспробовать, не отвлекаясь на посторонние вопросы.

– Это не сон, – покачала головой Аврора. – Это – Другое Место, говорят же тебе. Вот ведь непонятливый.

Тут у Мишки в кармане что-то запищало, зашуршало, он сунул руку, да это же фонарик, ишь, как нагрелся, и чего ему, спрашивается…

– Гриша тоже мороженое хочет, – кивнула Аврора. – Доставай его, я как раз вас познакомлю.

Мишка послушно достал фонарик, тот сразу же выскочил у него из рук, поглядите-ка, да это вовсе и не фонарик, это же…

– Уф, – пробормотал Большой Зелёный Кактус, очень похожий на тот, который у них на кухне, на подоконнике стоит, – Ну и соскучился я в духоте и в темноте. Ну-ка, ну-ка, что тут у вас намечается? Какое очередное баловство?

Мишка подошёл ближе, хотел было потрогать иголки, а Кактус уже обхватил его руку своими, зелёными, совсем не колючими, а наоборот, и принялся трясти изо всех сил.

– Знакомьтесь, – торжественно произнесла Аврора, – Это Миша, ему семь. Это Гриша, он Кактус.

Миша разглядывал Гришу, а тот покрутил колючей головой, огляделся.

– А где Грета?

– На разведку полетела, – ответила Аврора.

– Ага, ага, понятно, – и Гриша закивал, будто это обычное дело – для кактуса – разговаривать, кивать, интересоваться попугаями, а для попугая – летать на разведку и вообще вести себя так, будто…

– А ты думал, мы все тут ненастоящие? Не такие, как вы? Да? Ты ведь так думал раньше? Ну скажи, скажи, – Гриша даже разволновался и пододвинулся ближе, заглянул Мишке в лицо, и тут Мишка заметил, что глаза у Гриши совершенно человеческие, только немного грустные.

– Да нет, вовсе нет, – смутился Мишка, – Отчего же. Я же вижу. Очень даже настоящий кактус. Говорящий даже. Живой. Нормально.

– Это точно, – закивал Гриша, – нормально. Потому что всё вокруг – живое, и это нормально. И пока ты про это помнишь – ты тоже нормальный. В смысле, – запутался Кактус, – ты тоже живой. Я понятно объясняю? – забеспокоился он, и Мишка закивал, испугавшись, что Гриша совсем расстроится.

– Эй, мальчики, ну-ка тихо. У нас урок начинается, – сказала Аврора, приложив палец к губам.

Мишка оглянулся. Пока они с Гришей выясняли всё про кактусы, рядом с ними собрались дети, которые раньше бегали по поляне. Сейчас они уселись вокруг в несколько рядов, таращатся, вытирают ладошками измазанные мороженым физиономии, перешептываются.

Рядом с ним уселся чумазый мальчишка в жёлтых шортах и клетчатой рубашке, на плече у него сидела переливчатая бабочка.

– Я – Дудка, – сказал мальчик. – А это Саломея, – и он кивнул на бабочку. – А ты кто?

– Я – Миша.

– Я тебя в первый раз вижу. Ты у нас недавно?

– Ага. Первый день.

– Поня-я-ятно, – протянул Дудка, разглядывая Мишу. – А ты случайно не оттуда? – и мальчишка мотнул головой в непонятную сторону.

– Откуда? – осторожно поинтересовался Мишка.

– Ну… – Дудка замялся, – Оттуда, куда мы все однажды попадём? Я имею ввиду… С Земли?

– Э-э-э… Конечно, с Земли. А откуда же ещё?

– Ну, знаешь ли. Разные есть места на свете, – мальчишка хмыкнул. – И как там у вас?

– Хорошо вроде.

– А правда… – он снова хмыкнул. – А правду говорят, что каждому ребёнку на Земле выдают маму и папу?

– Конечно, – удивился Мишка.

– И мне выдадут?

– Обязательно.

– И им? – Дудка мотнул головой, показывая на мальчика и девочку, похожих друг на друга как две капли воды, – И Тошке с Элошкой?

– Конечно. А кто это?

– Это наши двойняшки. Хулиганистые – страсть.

А ещё у нас тройняшки были. Кнопка, Хлопка и Анечка. Но они недавно родились, – Дудка вздохнул. – Надеюсь, им попали хорошие родители.

Тошка и Элошка, заметив, что про них говорят, подошли ближе, уставились на Мишку. Они и правда были совершенно одинаковые, вихрастые, ловкие, с веснушками на лицах и даже на ушах.

Только одеты по-разному – Тошка в синем комбинезоне с оранжевыми заплатками на коленках, а Элошка в платье в синий горох и рыжих ботинках на толстой подошве.

– Кто такой? – спросили они хором у Дудки. – Новенький?

– Не-а. Он оттуда, – и снова Дудка кивнул головой в непонятную сторону.

– Оттуда?

Двойняшки оживились и стали забрасывать Мишку вопросами. Пришлось рассказывать – и про школу, и про маму с папой и про Даньку, который вредничает. Трое слушали, открыв рты, и не перебивали.

– Я не пойму, – сказал наконец Мишка, – чему вы так удивляетесь. У вас тут разве по-другому, что ли?

– У нас по-другому, – вздохнул Дудка, – Скажи… А тебе случайно… младший брат не нужен?

Мишка хотел было ответить:

– Нет, у меня уже есть старший, – но тут по рядам прокатилось:

– Время урока, время урока, время урока, – и все вокруг стали быстро-быстро доставать из карманов шарики-марбсы.

Внезапно настала тишина, и сразу же, будто по одной неслышной команде, каждый подбросил свой шарик в небо. Небо сначала потемнело, потом посветлело, на нём появилась точка, она стала расти, и вот уже можно было разглядеть, что это никакая не точка, а птица, большая, чёрно-белая, похожая на…

– Аист, – выдохнул Мишка, он таких только на картинках раньше видел. В букваре, где буква А, самая первая и самая главная. Мама рассказывала, что аисты детей приносят, а Данька говорил, что всё это сказки для маленьких.

Птица Аист сделала несколько кругов над поляной и опустилась на траву.

Дети зашептали:

– Йоко, Йоко прилетел, – и замахали птице руками, Мишка на них поглядел и тоже замахал на всякий случай.

Аист Йоко подошёл ближе, у него были длинные голенастые ноги, а под крылом папочка, Мишка засмотрелся, как аист важно вышагивает, и уже не удивился, когда услышал, что тот заговорил.

Глава четвертая. Сказочники

– Ну конечно! – воскликнул Аист, – Все в сборе, кроме Греты. Она опять на задании?

– Да, Йоко, – откликнулась Аврора, – Срочный вылет. Тебе же известно, что у нас происходит в последнее время.

Йоко задумался, почесал крылом затылок.

– Знаешь, мне кажется, нам надо пореже говорить такие слова, как «последнее время». Даже совсем их позабыть. Придумать другую фразу. Иначе время и впрямь станет последним, понимаешь? А то и совсем остановится. Что скажете?

Все вокруг загудели, предлагая свои варианты.

– Время собирать камни. Время – деньги. Время не ждёт. Время терпит, – выкрикивали дети, а Аист только качал головой.

Дудка вскочил и крикнул:

– Незапамятные времена!

– Это мне нравится больше всего, – с одобрением отозвался Йоко. – Хорошо. Давайте попробуем говорить так. Ну, а теперь – время урока.

Аист щёлкнул клювом, и тут же перед ним появилось огромное гнездо. Оно было доверху набито всякой всячиной – были здесь и воздушные шары, и шёлковые ленты, и мягкие ёлочные ветки, и шишки, и блёстки, и серпантин, и даже старая юла.

Йоко уселся среди всей этой пестроты, немного поворочался, открыл папку, водрузил на клюв непонятно откуда взявшиеся очки в толстой роговой оправе и принялся читать.

Интересная штука.

То ли страницы были волшебные, то ли Йоко читал по-особенному, но слова принялись выскакивать из папочки, хвататься за руки, за ними побежали другие, ещё, ещё, и вот уже их целый хоровод – они проносятся мимо, кружатся, топают толстыми ножками, убегают – дальше, дальше, дальше, по высокой траве, к лесу.

Может быть, поэтому Мишке показалось, что он не только услышал, но и увидел всё то, о чём рассказывал Йоко, склонив голову над тонкими страницами, края которых были чуть надорваны, то ли острым клювом, то ли тем самым незапамятным временем, о котором и речь.

– Итак, я расскажу вам о незапамятных временах.

Давным-давно всё было не так, как сейчас.

Раньше сказочники жили на крышах, как аисты. Тёплыми летними вечерами они усаживались на карнизах, болтали ногами, выхватывали перо из пролетающей мимо птицы, окунали в чернильницу, которая вот только что была чёрным от сажи котом, задумывались, глядя вдаль, а потом записывали всё, что видели сверху, да ещё добавляли своё, то, что намечтали ночью.

Надо сказать, что ночью мечтается особенно хорошо, а всё из-за звёзд, ну вы-то про это знаете, а сказочники тогда только догадывались, да и то не все.

Как только пряталось солнце, на небо высыпали разноцветные звёзды, они были похожи на блестящие шарики, они были не далеко, и не близко, но они были – и это самое главное.

Время шло.

Время всегда идёт.

Однажды сказочники это поняли и испугались.

Звёзды пытались рассказать, что время идёт по кругу, и бояться нечего, что из каждого яйца выходит цыплёнок, а старик – это ребёнок, только наоборот, но ночью хочется спать, и сказочники засыпали на самом интересном месте.

Со временем им стало казаться, что птицы стали летать реже, коты разбежались от уличного шума, а исчерканные листы вот-вот унесёт ветер. И тогда, вместо того, чтобы немного подождать и придумать очередную сказку с хорошим концом, сказочники спустились с крыш – сначала на тёмные чердаки, потом в душные каморки. Спустились – и всё перепутали.

Дети затаили дыхание. Йоко посмотрел на них, пожал крыльями и продолжал:

– Да-да, представьте себе. Перепутали.

Волк проглотил Красную Шапочку, Снежная Королева поцеловала Кая, Ганс и Гретель заблудились в лесу.

– А дети? – Дудка так заволновался, что вскочил со своего места. – Неужели они слушали такие сказки?

Йоко грустно покачал головой:

– Дети, наслушавшись перепутанных сказок, стали плакать по ночам, а усталые родители на них ворчали и кричали.

Все вокруг тяжело вздохнули, и Мишка вместе со всеми.

– Но был один, – тут Йоко поднял глаза от исписанных листов, – Да, да, был один Сказочник, который ни за что не хотел слезать с крыши.

– Эй, – кричал он своим друзьям, свешиваясь с карниза, – идите сюда! Здесь такой простор, здесь можно потрогать солнце и поболтать с ветром.

– Нам некогда, – отвечали остальные сказочники. – Кончились незапамятные времена. Время – деньги. Время не ждёт.

И они разводили огонь в очаге, подбрасывая в него последние исписанные листы, ставили на огонь чугунок, кипятили воду.

Когда вода согревалась, бывшие сказочники наполняли кипятком жестяные кружки, грели об неё руки, глядели в окно, ругали погоду, мечтали разбогатеть, слушали, как ругаются соседи за стеной, короче говоря, тратили время на всякую ерунду.

И тогда Последний Сказочник, назовём его так, придумал свою Самую Главную Сказку.

– Про марбсы? – опять не вытерпел Дудка и принялся пританцовывать на месте, – Сказку про Волшебные Марбсы?

– Правильно, малыш, – закивал Йоко. – Именно её.

Все вокруг затаили дыхание, всем хотелось услышать, что же было дальше.

Но тут раздался шум – сначала он был невнятный и далекий, потом сильный и близкий, казалось, это шумят крылья всех птиц на свете. Дети подняли головы вверх.

По небу летела Грета, и вид у неё был взволнованный.

Глава пятая. Похищение

Грета сделала большой круг над поляной и приземлилась.

– Клара вернулась, – выкрикнула она непонятное, а потом добавила, отдышавшись. – Она добралась до Ауки и похитила все игрушки.

Малыши заволновались, забегали, замахали руками, а Дудка принялся плакать.

Двойняшки Тоша и Элоша закричали хором:

– Мы их найдём! Мы найдём игрушки и спасём Ауку! – и принялись свистеть в два пальца. Вернее, не в два, а в четыре, потому что привыкли не только говорить хором, но и действовать сообща.

На их свист прибежали две Божьи Коровки, которые до этого мирно паслись на лугу, на их круглых спинах в горошек были приторочены туго набитые узелки, из которых выглядывали термос, подзорная труба, сачок, юла и лупа, короче говоря, всё необходимое для дальнего путешествия.

Мишка обернулся к Авроре:

– О чём говорит Герда? И кто такие Клара и Аука?

– Аука – наш друг лесовик. Он ходит по лесу, выкрикивает «Ау-ау» и помогает находить потерявшихся детей. А ещё Аука – Хранитель Игрушек. Дело в том, что каждому ребёнку, когда приходит его время родиться, Аука выдаёт его любимую игрушку. На счастье. Без таких игрушек слишком быстро взрослеешь, а это неправильно.

Аврора закусила губу и посмотрела на Йоко.

– Надо что-то делать.

– Но ведь у вас есть волшебные марбсы, – сообразил Мишка, – Ты недавно подбросила их, и мороженое посыпалось. Я сам видел. И ел. А если снова подбросить? И загадать, чтобы посыпались новые игрушки?

– Марбсы так не работают.

– А как они работают? – не отставал Мишка.

– Марбсы – это твои желания, но не для тебя. А для других.

– Вот как, – протянул он разочарованно. – А если мне самому что-то нужно?

– Если тебе что-то нужно – тебе помогут друзья.

– А если не помогут?

– Так не бывает, – и Аврора строго на него посмотрела. – Ты же им помогаешь?

Мишка кивнул.

– Ну вот. А они чем хуже?

– Хорошо, – не сдавался Мишка, – Тогда ты загадай игрушки для других. А другие загадают игрушку для тебя. Так это работает?

– Может быть, – проворчала Аврора, – Только дело не в этом. Зачем нам новые игрушки, скажи? Если нам нужны наши. Любимые. Вот у тебя есть дома любимые игрушки?

Мишка вспомнил старого медведя Клёпу с пуговицами вместо глаз, и понял, про что говорит Аврора.

– Есть, – сказал он, – Ещё как есть.

– Ну вот, а теперь представь, что его похитила Клара.

– Не хочу такое представлять, – замотал головой Мишка, – Да, кстати, а Клара – это ещё кто?

– Клара, – громким шёпотом ответил Дудка, вытирая заплаканные глаза – она плохая. У нас тут тоже есть плохие. Но очень мало. Но очень плохие. У неё… у неё… у неё – два лица-а-а…

И он снова заплакал.

Бабочка Саломея принялась махать крыльями и успокаивать.

– Не плачь, пожалуйста, – приговаривала она, – Промокнешь.

– Он боится Клары, – принялся объяснять Мишка.

– Ничего он не боится, – Саломея отряхнула крылья от Дудкиных слёз, – Ему нельзя бояться. Правда, Дудка?

Дудка шмыгнул носом.

– Правда. Мне бояться нельзя. Я не боюсь. Я храбрый. Ну и что, что у Клары два лица, – тут его голос задрожал, но он посмотрел на Саломею, вздохнул и снова шмыгнул носом. – Подумаешь, два лица. Я, может быть, ни одного не боюсь. И ты тоже, правда? – и он с надеждой поглядел на Мишку.

– Правда, – осторожно ответил тот, – А что значит – два лица? Двухголовая она, что ли?

– Ну ты смешной, – Дудка даже развеселился. – Разве бывают двухголовые Клары? Два лица, говорят тебе. Одно – спереди – белое, другое – на затылке – чёрное, к кому она белым лицом обернётся, тот ослепнет, к кому чёрным – тот…

Дудка замолчал и нерешительно посмотрел на Саломею.

– Тот онемеет, – кивнула та головой, и её усики задрожали, – Но ничего этого не случится, если ты не боишься. Понял?

Мишка кивнул и подумал, что это – не сон, сон не может быть таким долгим. А если не сон, то почему же, всё-таки, он тут оказался?

И он повернулся к Авроре, чтобы спросить её про это, но увидел, что та подошла к Йоко, что-то шепчет ему, показывая пальцем на него, Мишку.

Йоко закивал и помахал ему крылом, мол, подойди.

Мишка на всякий случай нащупал в кармане фонарик, и пошёл к Йоко, за ним, стараясь не отставать, потопал Дудка, за Дудкой полетела Саломея.

Двойняшки Тоша и Элоша переглянулись и побежали за ребятами.

Так они и обступили Аиста со всех сторон – Мишка с фонариком, Дудка с Саломеей, Тоша и Элоша с Божьими Коровками и Аврора с Гретой, которая к этому времени превратилась в зонтик и прижалась покрепче к Авроре, потому что устала и соскучилась.

Йоко оглядел ребят и сказал то самое, чего так ждал Мишка.

– Ну что, друзья. Теперь на вас вся надежда. Согласны вы отправиться в путешествие, чтобы выручить Ауку и спасти любимые игрушки? Что скажете?

Тоша и Элоша запрыгали от восторга, Дудка прошептал «Да» и на всякий случай крепко уцепился за Мишкину руку, Аврора заулыбалась, Божьи Коровки затопали тонкими ногами, а Саломея так захлопала крыльями, что пыльца посыпалась.

– А ты что скажешь? – и Аист посмотрел на Мишку.

Глава шестая. Про радугу

– Что скажешь? – Йоко посмотрел на Мишку.

– А что тут говорить, – выскочил вперед Кактус Гриша, который только что был фонариком, – Мы с вами пойдём, – сказал и полёз к Мишке обниматься.

– Конечно, пойдём, – подтвердил тот, с трудом освобождаясь из кактусовых объятий. – Я игрушки люблю. Я может, когда вырасту, чиником работать буду. Игрушки детям чинить. Есть ведь такая работа?

– Ещё бы, – закивал Йоко, – конечно, есть. Отличная идея, кстати. Ну а теперь давайте обсудим, что вам нужно, чтобы не заблудиться, не потеряться, вернуться обратно целыми-невредимыми, а ещё – спасти Ауку и вернуть игрушки.

Мишка вспомнил всё те компьютерные игры, в которые играл старший брат, и предложил:

– Значит, так. Что нам нужно. Нужна карта местности. Подробная. Флажки, чтобы отмечать захваченные территории. Оружие…

Тут он замялся, посмотрел вокруг, увидел недоумённые детские глаза. Аврора сверкнула удивлённо-синими, Тошка и Элошка мигнули озорными зелёными, а Дудка и вовсе зажмурился. От страха.

– Ну, то есть, это я так брякнул. Про оружие забудьте. Да и флажки – тоже, пожалуй, ни к чему. А вот карта – да. Пригодилась бы.

– Карта, – задумчиво протянул Йоко. – У нас игральные карты есть. Подойдут?

– Игральные вряд ли. А как же вы по лесу ходите, без карт?

– Так и ходим, – пожал плечами Дудка, и принялся повторять то, что знал давно и наизусть:

– Сначала по Синей Тропинке до Зелёной Опушки, потом по Оранжевой Дороге до Розовой Реки. А там увидишь Горбатый Мост, как Мост перейдёшь, сразу в Мельницу упрёшься. Хлопнешь в ладоши вот так, – Дудка звонко хлопнул, – Ука дверь откроет, а та-а-а-ам, – и Дудка развёл руки в стороны, – а там вот сколько игрушек, и среди них одна – самая любимая.

– Правильно говоришь, – похвалил Йоко Дудку, – Итак, дорогу вы знаете. Всё необходимое найдёте здесь, – он показал на пёстрые узелки, и Божьи Коровки тут же зашевелили усиками и заважничали, –

Что же касается бутербродов с секретом и ночёвок у костра, – Аист задумался и принялся что-то подсчитывать и чуть слышно бормотать, – Пять, четыре, две среды, дай мне яблок и воды. Аист в доме, мышь в стогу, с делом справится смогу, – а потом добавил громко, будто на что-то решившись: – Путешествие может оказаться долгим, поэтому придётся позвать Яшу.

Йоко свистнул по-птичьи несколько раз, да так сильно, что деревья в далеком лесу задрожали, расступились, на поляну выскочил огромный серый шар, и быстро-быстро покатился к ребятам.

Мишка пригляделся, а это и не шар вовсе, а самый обыкновенный ёжик, только размера необыкновенного, пожалуй, покрупнее велосипеда будет.

– Всем привет, я Яша, вам – морковка наша, – выкрикнул, распрямляя спину ёжик, и тут же у каждого малыша в руках оказалась морковка.

Мишка даже засмеялся от удовольствия, таким симпатичным оказался этот самый Яша.

Вся спина у него, как и положено ёжику, в иголках, на каждой иголке – или ягода наколота, или гриб насажен, за плечом котомка, из котомки бутерброды выглядывают, а на широком кожаном поясе висят какие-то букашки, лапами перебирают.

– Это не букашки, а Светлячки, – уточнил Яша и пощекотал нескольких сразу. Светлячки захихикали и тут же стали светиться.

– Вот. И электричества никакого не надо, – заметил Ёжик. – На смеху работают. Чем громче смех, тем ярче светятся.

– Ух ты, – удивился Мишка и покосился на Гришу.

– Да, теперь и ты про это знаешь, – кивнул тот, – А может, и раньше догадывался. Ведь чтобы кто-то начал светиться, кнопку нажимать необязательно. Иногда достаточно рассмешить.

Но тут без всякого предупреждения начало происходить что-то непонятное.

Земля задрожала, треснула, разошлась в разные стороны, между поляной и лесом появилась сначала трещина, потом яма, она становилась всё больше и больше, пока не превратилась в пропасть, да такую глубокую и широкую, что с первого взгляда понятно: не перепрыгнуть.

– Что такое? Что случилось? – закричали малыши, а Аврора нахмурилась и посмотрела наверх.

Тут же что-то загремело, засверкало, и небо начало быстро темнеть.

Со всех сторон летели тучи, у них были серые сердитые лица, они принялись разгонять облака, а когда облаков не осталось, тучи закрыли три солнца и две луны, стало совсем темно.

Ёжик Яша пощекотал своих светлячков, те засветились, освещая испуганные лица детей.

Дудка нашёл Мишкину руку и вцепился в неё, Мишка повернулся к Авроре.

– Что происходит?

– Проделки Клары, – ответила она, – Надо скорей прятаться, иначе сейчас на всех нас прольются Грусть и Тоска, и всё испортят. Все сюда, все сюда! – закричала она, но было поздно, загремел гром, по траве ударили первые капли, а потом дождь полил как из ведра.

– Проделки Клары, проделки Клары, – прокатилось по рядам, Аврора открыла свой зонтик, дети побежали прятаться, Дудка потянул Мишку за руку, но тот остался стоять на месте и улыбался.

– А ты что тут стоишь? – закричал Дудка, – Пошли под зонтик, промокнем.

Мишка поднял лицо к небу, растопырил руки, закружился.

– Это же только дождь, – бормотал он. – А я дождь страсть как люблю. Тем более что потом – лужи. И радуга. И никакой грусти, вот честное слово.

Он кружился и смеялся, а капли из серых становились синими, блестящими, словно марблы, стекали ему за шиворот, и это не было грустно, вот ничуть.

Дудка подумал-подумал и тоже закружился.

За ними Тошка с Элошкой выбежали под дождь и стали прыгать по лужам, а потом и остальные малыши не вытерпели. Будто разноцветные горошины, высыпались они из-под зелёного зонта и принялись носиться с гиканьем и свистом, подставляя дождю счастливые лица.

И вот что удивительно: чем больше выбегало детей, тем слабее становился дождь, а когда зонтик взял и сложился сам собой, превратившись снова в Грету, дождь вообще прекратился, и на небо выкатилась радуга.

– Молодец, – обратился Йоко к Мишке, – Молодец, что не испугался. И за сообразительность спасибо. Не зря Аврора сказала, что ты нам пригодишься.

Затем он повернулся к остальным, показывая крылом на радугу:

– Ну что ребята. Пора. Вот вам дорога, по ней до лесу доберётесь, никакие пропасти и ямы вам теперь не страшны. И помните: сила ваша – в дружбе. А дружба и удача никогда не расстаются.

У Мишки внутри всё запело – и от гордости, что его похвалили, и о радости, что вот они – настоящие приключения – начались. Он проверил фонарик в кармане, протянул руку Дудке, помахал Йоко, подмигнул Авроре и – первым шагнул на радугу.

Глава седьмая. Про Клару

По радуге шагать было весело и легко, но она быстро закончилась, и ребята оказались в лесу.

Впереди шагал Мишка с рюкзаком, у него на плече сидела Грета, указывая дорогу, Аврора вела Дудку за руку, Саломея шелестела над ними шёлковыми крыльями, позади семенили Божьи Коровки, Тоша и Элоша то и дело отставали, они забегали в чащу, чтобы понюхать колокольчики или сорвать землянику, Гриша и Яша замыкали шествие, степенно беседуя о пользе колючек.

Вдоль Синей Тропинки поднимались густые ели и тонкие берёзы, птицы садились на ветки, перекликались, разглядывая малышей, зайцы и белки выскакивали из леса, махали кепками и платочками.

– Расскажи мне про Клару, – попросил Мишка Аврору на первом же привале.

Они как раз вышли на Зелёную Опушку, где было много удобных кочек и пеньков, чтобы присесть и отдохнуть.

– Хорошо, – согласилась Аврора, доставая бутерброды и раздавая ребятам, – Расскажу. Только сначала перекусим. И не забудьте – наши бутерброды с сюрпризом, а ну-ка, загадайте вкус, кто какой любит.

Конечно же, все как один, загадали вкус шоколада, и вскоре от бутербродов не осталось и следа.

Саломея тряхнула крыльями, посыпалась пыльца, превратилась в сахарную вату.

– Десерт, десерт, – закричали дети и принялись за сладкое, а потом прилетели сороки, принесли воды в белых чашках ландышей.

Когда все напились и наелись, Аврора уселась поудобнее и начала рассказ:

– Ты спрашиваешь про Клару. Что ж, расскажу, пожалуй. Хотя я больше люблю рассказывать про что-то весёлое, – и она вздохнула:

Ты уже понял, что наша чудесная страна под названием Другое Место – это страна ещё не родившихся детей. Все мы ожидаем своей очереди родиться, все мы мечтаем найти маму и папу, братьев и сестёр.

Однажды родившись, никто из нас не возвращается обратно, ты – первый. Да-да, – кивнула она удивлённому Мишке, – ты – первый, кто попал к нам оттуда, из вашего мира.

– Но я же не случайно попал, это ты меня привела, правда?

– Правда. Йоко однажды сказал, что нам нужен кто-то особенный, чтобы справиться с коварной Кларой. Тогда я решила отправиться на поиски.

– Но разве вам можно до рождения приходить к нам?

– Нам всё можно. Потому что мы никогда ничего плохого не замышляем. Не умеем. Кроме Клары. Той, которой однажды не повезло.

Малыши зашептали «не повезло, не повезло» и сгрудились ещё теснее вокруг Мишки и Авроры.

– Дальше будет совсем грустно, – продолжала Аврора, – Но я должна рассказать, иначе ты не сможешь нам помочь, а ведь каждое хорошее дело надо доводить до конца. Так вот. Знаешь ли ты, что когда-то Клара была одной из нас? Да-да. Чудесная малышка в белом платье, с незабудкой в кармане. Чёрные кудряшки, ямочки на щеках, серые озорные глаза. Нам было жалко расставаться с прелестной Кларой, но однажды наступил день её рождения, и…

Аврора шмыгнула носом и сказала то, к чему Мишка был абсолютно не готов:

– В тот день, когда Клара родилась, её мама отказалась от девочки.

Что тут началось!

Дети заплакали, Гриша и Яша насупились и выставили колючки, Саломея сложила крылья и спрятала голову, Божьи Коровки поджали ножки и задрожали, Грета защёлкала клювом, а светлячки перестали светить.

Мишка затаил дыхание и спросил:

– А дальше?

– Клара вернулась. Она не захотела оставаться без мамы. Но она вернулась уже совсем другая, понимаешь?

Что мы только ни пробовали. Обнимали, целовали, щекотали, рассказывали сказки, дарили марбсы, катали на облаках – всё напрасно. Эта девочка разучилась улыбаться. К тому же, у неё появилось два лица, как у ваших взрослых. Ей хватило одного дня без мамы, чтобы повзрослеть.

Мишка с интересом посмотрел на Аврору.

– Разве у взрослых два лица? Никогда не замечал.

– Ты и не можешь заметить. Пока не вырастешь. Тот, у кого появляются недобрые мысли, теряет свои марбсы, а взамен получает второе лицо. Так мы взрослеем. И что с этим делать, никто не знает.

Аврора закончила свой рассказ, принялась складывать вещи.

Впереди их ждала Оранжевая Дорога, за ней Розовая Река, через реку перекинут Горбатый Мостик, а там и до Мельницы недалеко.

– А что потом случилось с Кларой? – спросил Мишка, затягивая свой рюкзак.

– Однажды она ушла от нас насовсем. Поселилась за лесом, в Каменной Пещере. Ей там скучно и грустно, поэтому иногда она возвращается и вредничает.

– Зачем?

– Никто не знает. Даже Йоко. Вот мы и позвали тебя. Может, ты придумаешь, как помочь.

– Вам?

– Нет, что ты? – Аврора удивилась. – Не нам, а Кларе. Помогать надо тому, кому тяжелее всех.

Она обернулась, посмотрела на остальных.

– Ну что, все готовы? Идём дальше?

– Идём, идём дальше, – закивали дети, и маленький отряд тронулся в путь.

Глава восьмая. Чудеса продолжаются

Как только ребята вышли к реке, Мишка даже присвистнул от восхищения.

– Как красиво, – прошептал он, глядя на розовые волны с белыми барашками, на уток с изумрудными крыльями, хлопотавших у берега, на лягушек с крошечными скрипками и трубами, наяривающими весёлую музыку, и на кузнечика в тирольской шляпе, размахивающего шестью лапками, в каждой из которой была зажата дирижёрская палочка.

Через пару минут музыка затихла, дирижёр и музыканты встали и поклонились, Мишка захлопал в ладоши.

– Здорово! – воскликнул он и обернулся к друзьям, не понимая, отчего они не хлопают тоже. И тут он увидел, что ребята стоят на берегу с расстроенными лицами и, казалось, не замечают ничего вокруг.

– Что случилось? – спросил он, заволновавшись.

– Мост пропал, – прошептал Дудка, – и показал рукой на то, что осталось от Горбатого Моста.

И точно, от моста осталась одна жердочка, да и та качалась на ветру.

– Как это случилось? – спросила Аврора у музыкантов.

Кузнечик выступил вперёд, снял свою весёлую шляпу и принялся мять её в лапках.

– Клара пробежала. Она несла тяжёлый мешок. Из мешка выглядывали игрушки и просили о помощи. Мост расстроился, не выдержал и обвалился. Мы ничего не могли сделать. Только одно – продолжать играть. Мы решили, что если пропадёт весёлая музыка, то и эта последняя жердочка сломается тоже. С тех пор и играли, пока вы не появились. Теперь будет легче.

И он вздохнул, вытер пот со лба, а лягушки уселись на толстые листы кувшинок и принялись успокаивать уставшие инструменты.

– Понятно, – сказала Аврора, – Ну что ж, значит пришло время совершать чудеса.

– Мы же забыли про марбсы, – Мишка от досады даже хлопнул себя по лбу и посмотрел на Аврору. – Ни одного не взяли. А без марбсов – какие чудеса?

– Про марбсы невозможно забыть, – покачала девочка головой, – Они сами появляются.

– Как это сами?

– Очень просто. Марбсы – это твои мысли, твои желания. Добрые. Без них никакое дело не спорится. Ну что, – обратилась она ко всем остальным, – подумаем о хорошем?

И все принялись думать о хорошем, а Дудка прошептал Мишке:

– Я про тебя буду думать. Хочу к тебе младшим братом попасть. Пусть чуть позже, после той самой сестрёнки, которая скоро должна у вас родиться. Это ничего, я подожду, если надо, – и Дудка даже зажмурился, чтоб его марбс исполнился наверняка.

Тут же, как по волшебству, Горбатый Мост появился снова, лягушки заквакали, утки закрякали, кузнечик подбросил в воздух тирольскую шляпу, а ребята закричали: «Ура»!

Вот и мост позади, впереди Мельница, вращает колесом, похлопывает ставнями, Мишка пригляделся, а двери не нашёл.

– Ну и где же дверь? Как мы войдём? – удивился он.

– Вход не там, где дверь, – пробормотала Саломея над его ухом, – а там, куда ведёт тебя сердце. Пойдём.

Она взмахнула крыльями, стены мельницы пропали, и дети увидели печку, на печке сидел Аука, глаза его были закрыты, в руках он сжимал плюшевого мишку.

Мишка пригляделся – да ведь это его любимый медведь! Вот и глаза из разных пуговиц, и бок красной ниткой зашит, точно его Клёпа!

Он подошёл, протянул руку, погладил медведя по носу.

В ту же секунду Аука открыл глаза.

– Ох, как же долго я вас ждал! – воскликнул он и кинулся обниматься с малышами.

Все принялись говорить одновременно – дети про радугу и дорогу, про кузнечика и Горбатый Мост, Аука про Клару, как посмотрел на её черное лицо и ослеп, как вцепился в последнюю игрушку и принялся ждать того, кто придёт к нему за своей любимой игрушкой и спасёт всех остальных.

А Мишка прижимал к себе своего медведя, шептал ему что-то на ухо, и кроме них двоих никто не смог бы понять, о чём этот шепот.

– Не время медлить, – воскликнула Аврора. – Пора в погоню, нам ещё все остальные игрушки выручать. И кроме того, – тут она задумчиво посмотрела в сторону Мишки, – и кроме того, нам надо решить, что делать с Кларой.

Мишка сделал вид, что не расслышал, хотя он не только расслышал, но и вдруг сразу понял, что именно надо делать с Кларой. Справится ли он? Сможет ли? Но Аврора кивнула, а Гриша подбежал и принялся хлопать Мишку по плечу, а плюшевый медведь прижался ещё крепче, и Мишка понял: Сможет. Справится.

И тут он почувствовал, что у него в кармане что-то зашевелилось.

Он засунул руку, достал стеклянный шарик.

– Марбс, – пробормотал Мишка, – Мой собственный первый марбс.

– Твой, – улыбнулась Аврора, – Загадывай желание. Ну же!

Всё вокруг закружилось, запело, заиграло, будто тысячи кузнечиков взмахнули дирижёрскими палочками, Мишка замахал руками, плюшевый медведь обхватил его шею лапами, Гриша снова стал фонариком и запрыгнул в карман, а маленький марбс превратился в огромный воздушный шар, подхватил Мишку и поднял в небо.

Мишка посмотрел вокруг и сообразил, что он сидит в плетёной корзине, доверху набитой игрушками, тогда он принялся их скидывать своим друзьям вниз.

Дети подпрыгивали и ловили – вот клоун, вот кукла, вот железная дорога, вот карандаши, игрушки падали и не кончались, ребята хохотали, лягушки дудели и поскрипывали. Последнее, что увидел Мишка, это был Дудка – он стоял на земле, прижимая к себе тряпичного клоуна, и махал вслед воздушному шару, махал, махал, махал.

Эпилог

Мишка тряхнул головой, посмотрел вокруг.

Та же прихожая, тот же запах пончиков.

Выходит, он снова дома?

Но погодите, а Аврора? А Дудка? А Йоко?

Или ему это всё приснилось?

Он вернулся в комнату, там все так же сидели родители и Данька, даже пончики ещё не остыли.

– Где ты взял этого медведя? – удивился Данька, – Он же совсем старый. Ему на мусорку пора. Выброс его.

Тут Мишка понял, что он до сих пор прижимает к себе плюшевого медведя.

Он посмотрел на свою любимую игрушку, мишка подмигнул ему пуговичным глазом.

И Мишка всё понял.

– Никого мы выбрасывать не будем, – твердо сказал он, – Любимые игрушки не выбрасывают. Кстати, – тут он повернулся к старшему брату, достал из кармана фонарик и протянул ему, – Я тебе подарок принёс. Мне в школе одна девочка подарила, просила тебе отдать.

– Что за девочка? – пробормотал Данька, рассматривая подарок, – Ух ты, классный какой! Передай ей спасибо.

– Сам передай, – усмехнулся Мишка, – мне кажется, ты её скоро встретишь.

Он нащупал в кармане свой один единственный марбс и повернулся к маме.

– Мам, а мам.

– Что родной?

– У меня есть одно желание. Можно загадать?

– Конечно. Загадывай. Мы с папой постараемся исполнить.

И она поглядела на папу, а папа обнял её за плечи, и у Мишки от важности момента даже защипало в носу.

Он зажмурился, сжал покрепче марбс и прошептал:

– Я загадываю… Когда родится эта девочка… Моя младшая сестра… Я хочу… Я мечтаю…

Он открыл глаза и закончил громко и решительно:

– Пусть это будет Клара.

Родители переглянулись.

– Хм, отчего же нет, – заметил папа. – Имя красивое.

А мама ничего не сказала, она просто прижала к себе Мишку крепко-крепко.

И тут он подумал:

– Так, с Кларой разобрались. Чуть попозже придётся вернуться в Другое Место за Дудкой. Хорошо, что я теперь знаю дорогу.

И он покосился на подоконник, где стоял Кактус, махал ему своими колючими лапами и посмеивался.

«ОКОЕМ»

«ПУСТЬ ЛИШЬ ПЕСНЯМИ, РУСЬ, ДА ТРЕЛЯМИ БУДЕТ СЕРДЦЕ ТВОЁ ПРОСТРЕЛЕНО»

о Поэтическом конкурсе Международной литературной премии им. Игоря Царёва «Пятая стихия» (девятый сезон, 2022 год)

Завершился 9-ый сезон ежегодного поэтического конкурса, проводимого с 2013 года в качестве главной номинации Международной литературной премии имени Игоря Царёва «Пятая стихия».

Конкурс прошёл под девизом «Пусть лишь песнями, Русь, да трелями будет сердце твоё прострелено» – это две строки из стихотворения Игоря Царёва «Колокольная и кандальная».

В этом году в связи с известными событиями число участников конкурса немного сократилось (в основном за счёт зарубежья). В конкурсе приняли участие авторы из 16 областей, 6 краёв и 4 республик РФ, а также из Ближнего (4 страны) и Дальнего зарубежья (2 страны).

С 11 января по 10 сентября 2022 года работала Конкурсная комиссия в следующем составе: председатель жюри – Игорь Витюк (Пушкино), члены жюри – Валерий Белов (Москва), Юрий Беридзе (Гладкевич) (Москва), Юрий Бердан (Нью-Йорк), Олег Сешко (Витебск), Анна Фуникова (Электросталь), Ольга Флярковская (Левкина) (Москва), Елена Крадожен-Мазурова (Хабаровск), учредитель (вердикт последнего этапа конкурса) – Ирина Царева (Москва).

После отборочного и первого тура судейства в почётный второй тур, определяющий состав финалистов, прошли 36 конкурсных работ. Отбор финалистов из них был нелёгким. С точки зрения конкурсной комиссии значительная часть стихотворений второго тура могла бы выйти в финал, но правила конкурса ограничивали жюри.

В финал вышли 10 поэтов: Никита Брагин (Москва), Марк Шехтман (Маале-Адумим, Израиль), Галина Самусенко (Коломна), Елена Уварова (Мытищи), Сергей Адамский (Санкт-Петербург), Галина Щербова (Москва), Сергей Востриков (Воронеж), Андрей Ивонин (Москва), Игорь Исаев (Москва) и Виктория Соколовская (Полоцк).

Победителем в номинации «Поэзия» Международного литературного конкурса имени Игоря Царёва «Пятая стихия» в 2022 году стал Марк Шехтман, обошедший других финалистов на 11 баллов.

Торжественная Церемония награждения лауреатов всех номинаций Премии прошла в историческом Доме Ростовых на Поварской улице 12 ноября 2022 года.

Репортаж – по адресу: https://igor-tsarev.ru/competitions/1890/

—

СТИХИ ФИНАЛИСТОВ «ПЯТОЙ СТИХИИ-22»

МАРК ШЕХТМАН

Маале-Адумим, Израиль

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ НА ПАСХУ

Христос воскресе! …Плакали и пели,
Убогим клали сласти и рубли,
Близь церкви умывались из купели,
Наполненной от матери-земли.

И крестным ходом, со свечой из воска,
Брели под колокольный перезвон,
В своих платочках, светлых и неброских,
Похожие на лики у икон…

Я их – и постарей, и помоложе,
Счастливых и у горя на краю
Несуетно хранящих имя Божье –
Немало повидал за жизнь свою.

И, чуждый этой вере от рожденья,
Я, выросший вдали от слова «Бог»,
Дивился связи силы и терпенья,
Чьего единства я постичь не мог.

И мне далось не логикой, не мерой,
А будто взмахом изумлённых крыл:
Бог если был, то был силён их верой,
А если не был, всё равно он был!

Несли они не страх, не покаянье,
Но тихое величие своё,
И был их Бог – любви иносказаньем,
Прекраснейшей метафорой её.

—

НИКИТА БРАГИН

Москва

ТРИ СМЕРТИ

Меня убили в первый раз на утренней заре,
когда Нерукотворный Спас лежал в седой золе
у догорающих венцов родимого села,
где крест кровав был и свинцов, но скорой смерть была.

И только малое зерно в цепи кромешных лет,
ослеплено, обожжено, таило тихий свет.
Росинки слёз, удары гроз ему считали срок,
пока из глины не пророс единственный росток.

Прошло уже две сотни лет, и в буре, и в цвету –
в себя вобрал я дождь и свет, и неба высоту,
но вот опять людская брань и смерть вокруг меня,
и жизнь моя летит на грань металла и огня…

Страшна была вторая казнь в гудении печей,
дорожным шлаком стала грязь, а пепел стал ничей,
и улетал он далеко на росные луга,
и вечер кутал молоком берёзы и стога.

И в мир пришёл я в третий раз цепочкой светлых слов,
влюблённым взором ясных глаз, искавших мир Христов,
и чутким слухом, что умел в рассветных трелях птиц
узнать свой вековой удел, свой крест среди темниц.

И в родниковом холодке голодного глотка
пишу прощанье на листке, и кровь – моя строка.
Теперь меня свели с ума, в углах – зеркальный ад,
и пеплом костяным зима покрыла Петроград.

Вернусь ли я, и кем вернусь? Травой, песком, рекой?
И будет ли родная Русь хоть в памяти людской?
Узрю ли я лицо огня, пройдя сквозь дым седой,
и чем тогда казнят меня – свинцом, петлёй, водой?

Коль Русь жива – и я живу под сердцем у неё,
и греет солнышко траву, и дождь кропит жнивьё.
Пока я жив – и Русь жива во мне и надо мной,
и сочетаются слова, и вьётся путь земной.

—

СЕРГЕЙ АДАМСКИЙ

Санкт-Петербург

НА МАЛЕНЬКОЙ-ПРЕМАЛЕНЬКОЙ ЗЕМЛЕ

На маленькой-премаленькой Земле,
В нерасселённой крохотной квартире
Сухой цветок с утра зазеленел –
Чудесный штрих в обыкновенном мире.

Всё остальное было – как всегда;
По коридору проходили люди:
Герои бесполезного труда,
Уставшие от планов и иллюзий;
Лишённые понтов и куража;
Нагруженные лишними годами.
Шли на работу, ежась и дрожа,
Под небом, рассечённым проводами.

Увы! Наш мир давно прошёл акмэ
И клонится к закату понемногу.
А тот цветок, что светится в окне –
Простой сигнал блуждающему Богу,
Который бродит в бесконечной мгле,
Но Бог – не БОМЖ – и он прописан в мире:

В нерасселённой крохотной квартире,
На маленькой-премаленькой Земле.

ГАЛИНА ЩЕРБОВА

Москва

КОЛОМНА

Москворецких далей панорама.
Как в непритязательном ремейке,
девушка в тени святого храма
с книгой примостилась на скамейке.

Небосвод простёрся синей ширью,
плещет ветка вызревшей черешни.
Девушка склонилась над Псалтырью,
пряча взгляд рассеянно-нездешний.

Монастырских крыш лепные главки
отвлекают чуть заметным креном.
Юная монахиня на лавке
душераздирающе смиренна.

Красота отчаянно условна.
Безусловны лишь святые лики.
А вокруг опрятная Коломна,
огороды, полные клубники.

—

АНДРЕЙ ИВОНИН

Москва

ЗИМА В РОССИИ

Зима в России больше, чем зима.
Найти причину не сойти с ума,
когда слепа, бела и невесома,
кружась в нелепом танце, как в аду,
метёт метель пять месяцев в году,
не позволяя выбраться из дома.

Когда на стогнах родины моей
сквозит и дует изо всех щелей,
и воет ветер, как из преисподней;
над нами совершает произвол,
берёт за шиворот и тянет за подол,
подстерегая в тёмной подворотне.

Зима в России больше, чем зима –
нам раздаёт подарки задарма:
вот вам меха, вот серебро – берите!
Ломает ледяную скорлупу,
стирает в пыль, и снежную крупу
спускает вниз по индевелым нитям.

И кажется, что это навсегда.
Зима в России больше, чем беда,
и больше, чем судьба. И всё теснее
она беспечных, сонных и нагих
сжимает нас в объятиях своих.
И мы уже давно сроднились с нею.

—

ЕЛЕНА УВАРОВА

Мытищи

НЕЗДЕШНИЙ БОГ

Стою у храма. Бог поёт в груди.
«Надень платок», – старуха мне твердит, –
не оскверняй собой обитель Божью»,–
и пыль сметает с лестничных перил.
Но пыль не оседает, а парит,
как бабочки на волжском бездорожье.
Глотаю воздух – горечь от глотка,
когда (за неимением платка)
врата к Отцу невидимо забиты.
Пугает строгий голос: «Аз воздам».
Но слышу: «Дочь, не бойся. Ты – мой храм.
Я рядом! Я не дам тебя в обиду».
И этот мой нездешний добрый Бог
ведёт к реке, туда, где спелый мох,
улитка и песок на тёплой тверди,
где дарит мне живую тишину –
её не потревожить, не спугнуть –
в ней только мы: ни горечи, ни смерти,
где, выключив свои монастыри,
без умолку безмолвно говорим,
как будто впрок хотим наговориться.
Бог шепчет: «Я люблю тебя. А ты?».
А я в ответ молчу до хрипоты.
Мне страшно: надо мной большая птица.
Она кричит. Она – моя вина.
Но слышу ясно: «Дочь, ты прощена.
Держись любви, как света – тьма ночная.
А те (кому прощенье невдомёк)
пускай твердят: „Неправильный твой Бог“
и ждут Меня, Меня не замечая».

—

ВИКТОРИЯ СОКОЛОВСКАЯ

Полоцк

***

«Камо грядеши?» – спросят, выпустив в арку врат.
Хлопнут натужно створки памяти за спиной,
И ты покинешь молча первопрестольный град,
Чтобы идти по миру солнечной стороной.

Ноги укажут верно, где Амстердам, где Рим,
Бойкий язык на Киев ловко проложит путь…
Странствующий скиталец, выскочка-пилигрим,
Камо грядеши? Камо?.. Воздуха зачерпнуть?

В землю уходят прочно корни чужих столиц.
Переплетён тугими реками континент.
С греческой колокольни, в небо вздымая птиц,
Бьётся набат тревожный не из твоих легенд.

В каждой стране однажды сыщется свой смутьян.
В каждой войне защита дома – важней всего.
Встанешь под флаги греков? йоруба? египтян?
Вытащишь меч из ножен над головой… кого?

Камо грядеши, отрок? Вечная молотьба –
Форменный знак распада, чёрный водоворот.
Как по спирали время, так по клубку судьба:
Дерево – древко – знамя. И не наоборот.

По капиллярам тканей в теле гуляет дрожь,
Считанная как вера с глаз и любимых лиц.
И, возвращаясь к вере, ты всё равно придёшь
В край светлооких горлиц и молодых орлиц.

Родина пахнет хлебом, колосом золотит,
Поит холодным квасом там, где кипит покос,
Баней грехи смывает, домом родным ютит,
Крестит и причащает, как завещал Христос.

Ты над её простором вспорешь крылами тишь,
Словно Икар, поднявшись в самую синеву.
Родине часто снится, что ты над ней летишь
И, как ребёнок малый, думаешь: наяву.

Выступи за пределы нынешнего бытья,
Ширь по-рязански плечи, глаз по-алтайски узь.
Вволюшку тайн отмерит древняя харатья,
Закольцевав подкожно: Родина – Матерь – Русь.

—

ГАЛИНА САМУСЕНКО

Коломна

БАБЬЯ МОЛИТВА

Поднялась до света. Не спалось ей.
Сердце билось птицею в силке.

Звон колоколов многоголосьем
радостно сплетался вдалеке.

Посидела, сердце унимая,
и пошла. Ещё не рассвело.
Через поле тропочка прямая
вывела в соседнее село.

Истово молилась. За свечами
оживал знакомый строгий лик.
Вслушивались ангелы. Молчали.

Колокольный звон могуч, велик,
расплескался, землю омывая,
разливая вековую грусть.
И, казалось, сказка зоревая
опускалась на седую Русь.

Отмолившись за больных и сирых;
ближних, дальних – всех дошёл черёд, –
за Россию Бога попросила,
чтоб от всякой скверны уберёг.

В поле тропка – под ноги, да к дому.
Серый кот, ласкаясь, на крыльце.
А на сердце лёгкая истома.
И улыбка – светом на лице.

А за печкой травы пахли летом.
В топке пламя билось горячо.
И самозабвенно пел сверчок,
песнь сплетая с ароматом хлеба.

—

ИГОРЬ ИСАЕВ

Москва

БУРИМЕ

Ей двадцать лет.
Что в двадцать на уме?!
Резинкой перехвачена косичка.
Зелёная трясёт нас электричка.
Мы весело играем в буриме.
«Мы – спицы во вращеньи колеса…» –
Наташина строка слегка неловка.
Ищу ответ, но… скоро остановка,
и затихают наши голоса…
Мы наскоро целуемся – пора
проститься, нет, нена*д*олго, поверьте!
И – две песчинки в этой круговерти –
Расстанемся. Теперь до самой смерти.
А эта не закончится игра…

Мы – спицы во вращеньи колеса.
Извечное, бессонное круженье,
по льду голубоватому скольженье,
шаги – и сорванца, и мудреца…
Земля к звезде летит, так повелось.
Река течёт навстречу океану.
Осенней рябью – ветер по лиману,
а по ветру – волна твоих волос…

Шуршанье шин, негромкий скрип оси…
Мы мечемся по тропам и орбитам,
а наши споры, ссоры и обиды
рассудит время – тот ещё арбитр.
Остановиться только не проси!

Мы – спицы во вращеньи колеса –
не ведаем, куда покатит обод,
когда и кем затеян этот опыт,
кто держит руль, кто правит паруса.
Но вряд ли нашим пастырям видней,
куда же мы несёмся в самом деле!
Мы – зрители. И мы же – лицедеи.
И бесконечна вереница дней,
почти прозрачен круг внутри кольца,
но чем быстрее мчится колесница,
тем призрачнее, призрачнее лица…
Где тут герой, куда пропал возница?!
Мы – спицы во вращеньи колеса…

Когда остынут жаркие слова,
затихнут, смолкнут и лишатся тайны,
земное счастье предпочтут Натальи
уделу камергерского[1] вдовства.
Замки заменят. Сменят адреса
и заберут на свой виток спирали
те пустяки, что мы с собою брали –
и мамин зонт, и шахматы отца…
На круги возвращённые своя,
мы ощутим земное притяженье,
но ход времён не терпит торможенья,
и вечно продолжается движенье –
в нём сущность и загадка бытия!

[1] Придворный чин А.С. Пушкина – камер-юнкер. Оправданием автору может служить тот факт, что в объяснениях барона Д. фон Геккерена, данных им при расследовании той трагической дуэли, последний упорно называет поэта «камергер Пушкин».

—

СЕРГЕЙ ВОСТРИКОВ

Воронеж

ДВЕ ЧЕШУЙКИ РЫБКИ ЖЕРЕХ

Две чешуйки рыбки жерех,
безыскусный белый свет.
Ни австралий, ни америк,
ни европ в помине нет.
Только блики да полоски
на играющей волне,
только мыслей отголоски,
гомонящие во мне.
Только мыслей отголоски…
Сами мысли не в цене.

Ни с богатством, ни со славой
не столкнулись по пути,
развесёлая забава –
жизнь, как поле, перейти.
Где-то пашешь, что-то сеешь,
и возможен урожай…
Не одну обувку сменишь
по дороге за Можай.
Не одну обувку сменишь…
А не хочешь – проезжай.

Жизнь – сплошные недомолвки,
с послесловием в конце,
всё на кончике иголки,
а игла – опять в яйце.
Недалёкий дальний берег,
переправы стылый след.
Две чешуйки рыбки жерех,
безыскусный белый свет.
Две чешуйки рыбки жерех…
Замечательный сюжет.

«ГОРИЗОНТ»

От редакции: начиная с 2019 года, являясь информационным спонсором Международного Грушинского Интернет-конкурса (МГИК), журнал «Южное Сияние» размещает на своих страницах произведения победителей и лауреатов ежегодного конкурса. В 12-м Международном Грушинском Интернет-конкурсе (2022 г.) победителями в номинации «Поэзия» стали Галина Семизарова (Рязань) и Татьяна Шкодина (Краснодар), одной из победительниц молодёжно-студенческой возрастной категории – Арина Кондакова (Омск); победители в номинации «Малая проза» – Юрий Угроватый (Санкт-Петербург) и Екатерина Рогачёва (Смоленск). Также «ЮС» публикует стихотворения и рассказы призёров конкурса Елены Шиловой (Воронеж), Михаила Эндина (Вюрцбург, ФРГ) и Ирины Соляной (Воронежская обл.).

ЕЛЕНА ШИЛОВА

Воронеж

НЕВЕСОМОСТЬ

Голуби в лужах, трещинки на коре,
Руки, насквозь промёрзшие без перчаток…
Снова дышу на пальцы – слегка согреть,
Чтоб продолжать тебе на бегу печатать,
Слать цифровой и буквенный белый шум
В синюю даль, в космически-тёмный вечер.
Ангелы там читают, что я пишу,
И, загрустив, вздыхают по-человечьи.

Город купает скверы в слепом дожде,
Нежно смывая шлейф прошлогодней гари.
Вечность назад, в такой же апрельский день,
В небо навстречу солнцу взлетел Гагарин.
Атомный век, привыкший людей сминать,
Сдался тогда – с весной разговор особый.
…Знаешь, я тоже чуточку космонавт,
Без подготовки рухнувший в невесомость.

Если мечта зовёт, отвечаешь «да»:
Сделанный выбор сложно назвать ошибкой.
Мне остаётся только любить и ждать,
Ноющий страх скрывать под бронёй обшивки.
Я всё пишу, и время бежит вперёд,
Кроны спешит одеть в молодую зелень…

Главное для ракеты – успешный взлёт,
Мне же важней тебя возвратить на Землю.

СТАРИК И МОРЕ

Пробита лодка. Леска порвалась.
Надежда ускользнула, словно рыба.
И жизни нет – она давно обрыдла,
И смерти нет.
Луны латунный глаз
Следит за стариком на берегу,
Где боль и слёзы смешаны с водою.
А море, от волнения седое,
Тревожно спит в объятиях лагун.
Кружатся тени, падалью дыша:
Растащен по костям скелет марлина.
Старик не слышит поступи звериной:
Прибой давно шумит в его ушах,
И кровь во рту горчей и солоней,
От знания, что мир отныне заперт,
Как райский сад.
Луна ползёт на запад,
Как будто просит следовать за ней.
Не спится.
Он глаза устало трёт,
Но в облаке плывущем видит рыбу.
Старик, шатаясь, тащится к обрыву,
И манит пустота шагнуть вперёд,
Но море просыпается. Шипит,
От ярости вскипая белой пеной…
И меркнет наважденье постепенно,
И нежность размывает соль обид.

АТЛАНТИДА

Без паники. Ты справишься один.
Ни к ужину, ни к августу не жди:
Я бросила ключи в почтовый ящик.
Ещё одну страницу время рвёт,
И я ловлю бумажный самолёт,
Потерянно над городом парящий.

Пока ты жаришь тосты и бурчишь,
Выдумывая множество причин,
Чтоб завтра не выглядывать из дома,
Я шляюсь по планете босиком,
И музыка забытых языков
Звучит во мне мучительно знакомо.

Не думая о том, что ждёт в конце,
Я пробую на вкус чужой акцент,
Легко меняя облики и страны.
Реальность тает, словно эскимо,
И тянется над спящей бездной мост,
Похожий на хребет Левиафана.

Пока ты ищешь в сводках новостей,
Какой же чёрт катает на хвосте
Сбежавшую из города чудачку,
Я вижу, как рождается волна,
За двадцать тысяч лье от прежних нас
Смывая мир, как хижину рыбачью.

А после – штиль… Забудь, что было *до*.
Спокойствие войдёт в твой грустный дом,
Осмотрится вокруг с хозяйским видом
И сытой кошкой ляжет на диван.
…Но где-то под водой ещё жива
Затопленная нами Атлантида.

ГАЛИНА СЕМИЗАРОВА

Рязань

***

у твоей королевы на пальцах – сияют колечки. и в чертогах её есть на полках и вина, и мёд. а у той побирушки – в дому лишь огарочек свечки. да поющий сверчок, что за печкой разбитой живёт.
у хозяйки твоей – едким мускусом пахнут флаконы. и не царское дело ей даже одеться самой. ну, а к той сумасшедшей – заходят ручные драконы, чтоб дыханьем своим отогреть её руки зимой.
у твоей королевы в глазах – ледяные осколки. а у нищенки этой во взгляде – зелёный прибой. ты живёшь во дворце – как звезда на рождественской ёлке, чей неброский наряд разрешили украсить тобой.
ты себя убедил в том, что сахар полезнее перца. и к другому пространству послушно теперь привыкай. и уже не кричи, словно демон, ужаленный в сердце, если кто-то во сне в изумлении выдохнет – «Кай»?!!
Герда вряд ли вернётся – поскольку почти что ослепла. и забыла тебя на холодном своём чердаке. всё, что есть у неё – листик розы да горсточка пепла – от сгоревшей души. и кленовая флейта в руке.
да и ты позабыл, как вы счастья когда-то хотели. дни теперь – мимолётны, а ночи – гораздо длинней. городок постаревший засыпали снегом метели. и потерян навек узкий след пробежавших саней…

***

Другая сторона – Земли, Луны, пространства – как отыскать туда далёкие пути? Нет в жизни ничего скучнее постоянства: здесь мне известно всё и счастья не найти. А там душа твоя по мирозданьям бродит, и дудочка поёт, и музыка звучит. И за собою в край неведомый уводит, где звёзды говорят, и сердце не молчит. Там нет ни бед, ни войн, ни запаха наживы, там рядышком живут минувшие века. И все друзья мои там бесконечно живы, и на моём плече лежит твоя рука…
Один и тот же сон мне до рассвета снится, где светит наш костёр и вечера тихи. И будущее там – открытая страница. И пишем мы туда – то песни, то стихи. Ты тоже не грусти, а потерпи немножко, послушай, как шумит вдали знакомый лес. И полночи дождись – и лунная дорожка скользнёт в твоё окно, как лестница с небес. Пусть ветерок ночной легко вплетает в строчки мелодию дождя, осколки тишины. И мы не пропадём с тобой поодиночке с той стороны Земли, с той стороны Луны…

***

Твой летописец умер сто лет назад? Дальше – крутись, как хочешь. А лучше – пой! Можешь построить рай, или можешь – ад. Впрочем, и то, и другое всегда с тобой. Время танцует бабочкой на песке. Вечность стучит дождями в твоё окно. Сердце давно погрязло в своей тоске, так же, как мир, что собрался погибнуть, но! Можно ведь взять перо, подобрать слова. Золото, как монах, развести в меду. Буква за буквой – утром уже глава. Каждому будет место в твоём бреду. Вот на бумаге – новое полотно. Верным пажом отныне ему служи. Что на картинке? Руны? Звезда? Руно? Лишь бы не гоблин, погрязший в крови и лжи. Каждый, кто смотрит – видит на ней своё. Но о плохом не следует говорить – так не слетится новое вороньё, сердце клевать и дурные дела творить. Что б ни держал ты – кисти, резец, перо, Время застынет камнем в твоей праще. Творчество – вечно. Ставь его на «зеро»! Мир уцелел? Остальное – не важно, вообще…

ТАТЬЯНА ШКОДИНА

Краснодар

МОЛИТВА

Так пусто, холодно за спиной…
Как будто снегом мой сад укрыло.
Не требуй много, Создатель мой –
Мне просто вечности не хватило.

Я не был богом, но мог спасти
В своих ладонях живые звёзды…
Как сгустки крови в моей горсти.
Да, я пытался. Но поздно, поздно…

Всё время делал не то, не так,
И вот полжизни прошло впустую…
Пока меня не окутал мрак,
Позволь, я что-нибудь нарисую?

Траву и солнце. Морскую гладь.
Почти открытка «привет из рая».
Прости. Ты должен меня понять –
Я просто гибну не создавая…

Я доверяю тебе – себя.
Телёнком глупым в ладони тычась…
На «до» и «после» всю жизнь дробя.
Любовь – прибавить.
Гордыню – вычесть.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Валентина Петровна ужасно боится смерти –
Как сбежать от безносой в свои девяносто пять?
Не нужна эта бабка вообще никому на свете,
В катафалк превращается ночью её кровать.

Не заснуть – ведь когда-нибудь точно наступит это?
И в трёхкомнатном склепе под утро её найдут…
Как щитом, заслоняется кошкой, в ногах пригретой,
Может, смерть и отступит, коль Муся воркует тут?

Не забыть соцработницу Люсю послать в аптеку…
Список бадов и прочих волшебных пилюль готов.
За попытку бессмертия нужно платить по чеку,
Но за деньги – увы! – не купить безмятежных снов.

Четверть века прошло, как она схоронила мужа.
Жили дружно, а что не любила – уже не в счёт.
…Только каждую ночь в изголовье кошмары кружат,
И покойный Витюша её за собой зовёт.

И былую упругость пытается вспомнить тело,
А в груди, не узнавшей любви, оживает вдруг
Очерствевшее сердце – ни разу ведь не болело,
Провожая супруга, знакомых, друзей, подруг.

…Соцработница Люся залезть помогает в ванну,
Раздражённо морщинистый панцирь мочалкой трёт…
Валентина Петровна готова к самообману –
Вместе с пеной и возраст уходит – за годом год.

Дребезжащим своим голоском напевает нечто,
Как танцовщица кордебалета, трясёт ногой…
Ей бы жить-поживать – как холодному камню – вечно.
И под тёплыми ливнями вечность стоять нагой…

…В белоснежной сорочке блаженно лежит под пледом,
Светлый сон подбирается тихо – как на заказ.
Кошка лезет под плед, смерть за ней заползает следом
И поёт колыбельную в самый последний раз…

ГРАНИТ

За дверью – жара июля, а здесь до озноба зябко.
Гранитная пыль летает, привычно жужжит сверло…
Работы ему хватает – от фото распухла папка.
Смерть тоже не отдыхает, берёт под своё крыло.

Девчонка. Старик в медалях. Младенец. Солдат. Подросток…
Ведь то, что кому-то – горе, для мастера только труд.
Машинные заготовки. Навскидку всё очень просто.
И можно не суетиться – «натурщики» подождут.

Он в этом почти что Рембрандт – из мрака выводит лица,
Светлеют глаза чужие под чуткой его рукой.
Вот родственники. Довольны – торопятся расплатиться.
И снова: плита, жужжанье, размеренность и покой.

За это неплохо платят. Премудростям быстро учат –
«Конфетку» из брака сделать, улучшив размытый вид.
И буднично мысль приходит: неплохо б на всякий случай
Хорошее сделать фото. И пусть себе полежит.

———

МИХАИЛ ЭНДИН

Вюрцбург, ФРГ

ОКТЯБРЬ

Ветер гонит листву…
Иосиф Бродский

Ветер гонит листву переулками бывшей столицы.
Это значит – октябрь. Невский ветер напорист и бодр.
Дождь стучится в окно, убеждая меня, что напиться
очень даже полезно под этот октябрьский аккорд.

Я согласен с дождём, я ему возразить не сумею,
потому что и сам напеваю осенний мотив.
Александр Сергеевич Пушкин подхватит идею,
в день Лицея дождливый и сумрачный день превратив.

Только нынче напитки не те, что когда-то пивали.
Но шампанское есть, не из Франции, правда, но всё ж…
Лицеисты уходят, они возвратятся едва ли,
и следы уходящих смывает безрадостный дождь.

Александр Сергеевич Пушкин стихов не читает.
Александр Сергеевич молча стоит у окна.
Лицеисты уходят. Октябрь года вычитает –
вот и этот прошёл. Впереди Рождество и весна.

Может, белая ночь впереди, может, Чёрная речка.
Был бы повод хороший для выпивки и для стрельбы…
У меня ни камин романтичный, ни русская печка –
батареи не греют и водка не греет, увы.

ДВОР

…и был дождём исхлёстан двор. Окно
заплакало дождливыми ручьями,
бегущими опять-таки во двор.
Октябрь, должно быть, с некоторых пор
решил, скучая, поиграть в цунами,
сбивая с ног прохожих заодно.

Я в этот день слонялся налегке.
С утра была приличная погода.
Дождь угрожал, но всё ещё не шёл.
И мне казалось – это хорошо,
что нет дождя в такое время года
и зонт не трепыхается в руке.

И думалось об осени такой
ещё немного пушкинской, и слово
звучало мне: «Октябрь уж наступил…»,
и верилось, что я когда-то был
в том октябре и вот вернулся снова,
как водится, с повинной головой.

В уютном мире старого двора,
выхватывая взглядом облик, абрис,
я вновь искал знакомые черты
былого… впрочем, истины просты,
гласящие, что есть обратный адрес
лишь на конверте, но ушла пора

бумажных писем с некоторых пор.
И вот тогда пошёл над головами,
повинными, невинными – равно,
тот самый дождь-цунами, и окно
заплакало дождливыми ручьями,
бегущими опять-таки во двор…

ПРИМЕТА

Улица кажется серой и будничной
возле аптеки, а если у булочной,
бывшей когда-то, ты встретишься мне,
улица станет уютной вполне.

Метаморфоза… такое бывает.
Ветер осенний опять напевает
песню унылую, но за углом
около булочной, ставшей потом

после конца неспокойного века
тихим кафе под названием «Вега»,
ветер умерит холодную прыть,
если с тобой (а иному не быть)

я повстречаюсь… Такая примета
есть у печального бабьего лета
(вроде и лето, да ночь холодна):
если встречаются он и она,

если встречаются два человека
возле кафе под названием «Вега»,
там, где кофейный царит аромат,
то испечётся, конечно, стократ

годный вполне для грехов и для треб
нынешний, бывший и будущий хлеб.

———

АРИНА КОНДАКОВА

Омск

КОЛЫБЕЛЬНАЯ О КОНЦЕ СВЕТА

Божья коровка,
Улети на небо…

Рассмотри лучше божью коровку. А окна – заштрорь.
Переверни же на брюхо букашку, вот так.
Знаешь, дитя, я не видела столь полыхающих зорь.
(Одновременно двух полыхающих зорь).
Нет, в горящее небо букашке не стоит летать.

Отойди от окна. Отчего то светло, то темно? –
Нет, не думаю, что фейерверки. Не знаю сама…
(И уходит земля у самой себя из-под ног.
(И как будто бездомными стали дома).

Колыбельную спеть? Я не помню, не помню мотив.
Встань к окошку спиной. И иди же на руки.
И, покуда мир будет гореть, себя позабыв,
Ты, как куклу, баюкай планету, баюкай…

COVID. ПОСЛЕ…

Обезлюдело всё. Я полвека ждала
Хоть кого – но тихи перекрёстки.
В крематории солнца сгорели дотла
Заражённые вёсны.

Флешка с фильмом, два клипа…
Давно наизусть.
Лишь у птиц переменчивый говор.
Мне б услышать кого! Пусть мошенников, пусть
Хоть «Свидетелей Иеговы»…

Что останется звёздам? Замёрзнуть, остыть,
Над Землёй рассыпаться безумно…

…Но увидела в Космосе улиц пустых
Человека –
в противочумном…

РЕКВИЕМ (Третья мировая)

…Мы в убежище. И, может быть, навсегда.
А снаружи на сотни веков –
Лютых, ядерных, пепельных зим череда.

Только нам не до снеговиков.

Ни укрыть мне, как птенчика, Землю крылом,
Ни за пазухой спрятать её…
За секунды, как будто волною, снесло
Петербург, и Париж, и Нью-Йорк.

Может быть, города и построят с нуля,
Как в песочнице – куличи…

Слышу, как во Вселенной планета Земля,
Словно птичье сердечко, стучит.

ЮРИЙ УГРОВАТЫЙ

Краснодар

ПРЯЖКА
рассказ

Из трубы скромного одноэтажного домика, уютно притулившегося у подножья скалистой горы, струился дымок.

«Наконец-то, живую душу нашёл», – обрадовался я, утомлённый полуторачасовой поездкой по разорённой войной Сербской Краине.

Югославия распалась. Распалась кроваво на несколько частей. Краина осталась маленьким осколком Сербии на неожиданно ставшей враждебной хорватской земле.

Сначала потянулись бесконечные колонны хорватской техники, которые невидимая воля двигала к границам сербского анклава. Мы, военные наблюдатели ООН, с тревогой докладывали об этом в штаб. Потом в Краине появились автобусы. По добытой мной информации, их было четыреста. Машины заполонили окрестности провинциального центра – города Книна. На них поспешно уехали власти с родственниками. Оставшиеся места достались счастливчикам. Затем начался исход.

Он продолжался неделю, а может, и больше. Сейчас уже точно не вспомнить. Исход сербских крестьян с земель, где их предки жили столетиями. Бесконечные вереницы жалких маленьких мотоблоков с тележками, наполненными нехитрым домашним скарбом: узлами с бельём и одеждой, кастрюлями и керосиновыми горелками, допотопными телевизорами и радиоприёмниками. Мужчины, в основном старики, управляли своим тихоходным транспортом. Их старухи сидели на узлах или шли рядом.

Другие ехали на телегах, запряжённых лошадьми. Совсем редко попадались небольшие тракторы с огромными горами барахла на тележках и облепившими их, как муравьи, усталыми людьми.

Позже мне рассказали, как в Лондоне президенты Сербии и Хорватии за ужином договорились и разделили страну, начертив план прямо на белоснежной ресторанной салфетке. Этому были свидетели…

Сотни лет жизни и борьбы за эти земли, битвы с турками, немцами и мадьярами, героизм и жертвы народа против двух чиновников и салфетки…

План на салфетке оказался важнее!

Несчастные люди бежали куда-то в Сербию, где многие из них никогда не были. Полмиллиона за неделю. Им честно сказали: «Оставаться нельзя! Мы не сможем вас защитить».

Что означало это предупреждение в том военном тысяча девятьсот девяносто пятом году, никому объяснять не требовалось.

***

А они остались…

Остались в своём маленьком, по сравнению с другими, домике под горой.

Мне сразу бросилась в глаза странность этого жилища. Его фасад смотрел прямо на асфальтированную дорогу. Она, эта дорога, делала изгиб в метре от входной двери и воспринималась мной частью домашнего интерьера. Задний дворик с садом был крохотным, словно игрушечным. Странными в тот первый день знакомства показались мне и обитатели этого домика. Точнее, сильно удивило то, как очень по-русски их звали.

«Владимир Мишин, – назвался седой старик в линялой чёрной безрукавке поверх клетчатой рубашки навыпуск. – Наталия Мишина», – кивнул он на старушку в домотканом платке на плечах.

Так официально и объявил, видимо, приняв меня за представителя власти.

Я слушал его и почему-то не мог отвести взгляда от ног хозяйки, обутых в растоптанные туфли на низком каблучке с трогательными тонкими ремешками на широких щиколотках и кокетливыми пряжками, потускневшими от времени.

– Владо, зови гостя в дом. Не дело – на пороге держать, – укоризненно проговорила она и пошире открыла дверь.

Мы устроились в небольшой горнице за круглым столом со скошенными внутрь ножками. В печке уютно потрескивали дрова. В закопчённом чугунке булькала вода. Вкусно пахло свежеиспечённым хлебом. Старые ходики на стенке громко тикали, подчёркивая напряжённую тишину. Белоснежные салфетки на полках с незатейливыми вазочками, казалось, были из какой-то другой, мирной жизни.

Я представился, объяснил, что приехал из России. Рассказал, чем занимаются военные наблюдатели. Затем принёс из машины большую коробку с гуманитарной помощью.

Показалось, что настороженность Владо немного ослабла.

– Спасибо, у нас всё есть. Много ли надо двум старикам? – сдержанно сказал он, но подарок принял.

– Почему вы так и не уехали? – наконец решил я задать главный вопрос.

Старик ответил сразу. Чувствовалось, что эта тема часто обсуждалась дома в последнее время.

– Куда нам ехать? Мы здесь родились и выросли, как наши отцы и деды.

– Но ведь все уехали! Вы же остались совсем одни! Разве у вас нет в Сербии родственников?

– Каждый решает сам! – резко ответил он.

– Дочка, Михайла, – робко сказала Наталия и с опаской посмотрела на мужа.

Владо повысил голос:

– Михайла! У неё своя жизнь! Двое детей, муж и все в тесной квартирке! А тут мы!

– То-то и оно, – старушка обречённо закивала, видимо, в который раз повторяя эту неоспоримую истину.

– Не боитесь, что вас убьют? – решился я спросить напрямую.

Хозяйка порывисто повернулась к мужу, ожидая ответа.

– Кому мы нужны? Мне – восемьдесят, а ей – семьдесят шесть. Какой от нас вред?

– Могут убить просто за то, что вы сербы, – продолжил я, не скрывая своих мыслей.

– Значит, так тому и быть! – упрямо сказал он и посмотрел на жену, как будто отвечал ей, а не мне. – Здесь родились, здесь и умрём!

– Боимся, – почти прошептала Наталия и прижала руки к груди.

Владо мгновенно набросился на неё с упреками. Она неуверенно оправдывалась, явно стесняясь меня. Я тогда не очень хорошо понимал по-сербски, но вполне достаточно, чтобы разобраться в их эмоциях. Не желая больше смущать хозяев, поспешил проститься:

– Подумайте ещё раз: война есть война! Приеду через неделю, если решитесь – помогу с отъездом.

Уходя, заметил, что маленький рыжий котёнок, всё время отиравшийся у ног старухи, исчез, словно, как и я, не желая быть свидетелем семейной ссоры.

***

За неделю в зоне моей ответственности много чего случилось. Хорваты вошли в Книн. Город горел. Издалека доносилась тяжёлая артиллерийская канонада. По Крайне сновали мародеры на машинах с прицепами. В один из дней в патруле встретил армейский грузовик с бочкой в кузове и двумя солдатами с факелами. Они выезжали из пылающей деревни. От лишних свидетелей в те дни избавлялись быстро. К счастью, мне удалось уйти: они не успели поменять факелы на автоматы. Каждый следующий день приносил тревожные новости. Я невольно возвращался мыслями к своим недавним знакомым, переживая за их судьбу.

Не дождавшись конца недели, прихватил коробку с гуманитаркой и отправился к ним. Облегчённо вздохнул, увидев, что из трубы их маленького дома по-прежнему вьётся дымок.

Старики встретили меня теплее, чем в первый раз. Единственным источником связи с миром у них был маленький приёмник «Грундиг». Владо, теперь уже не скрывая тревоги, сразу стал меня расспрашивать. Я, взвешивая каждое слово, не желая их излишне пугать, рассказал об обстановке. Про машину с поджигателями решил не упоминать. Напрасно! Оказалось, что они здесь уже побывали.

– Зачем они к вам приезжали? – спросил я.

– Сказать, чтобы мы валили в свою вонючую Сербию.

– А вы?

– Ответил, что мы здесь родились, здесь и умрём.

– А они? – невольно вырвалось у меня.

Владо замолчал, видимо, заново переживая страшную встречу. Из угла комнаты, где висели иконы, донёсся голос Наталии, прерываемый рыданиями:

– Сказали: «Умрёте, если вам так хочется…».

Владо подошёл к ней, обнял и стал гладить по голове, как ребёнка:

– Не плачь, они уехали! Хотели бы убить – убили! Да и за что нас?..

Она доверчиво прижалась к нему, вытирая слёзы и согласно кивая; такая трогательная в своих растоптанных туфельках с тоненькими ремешками и нелепыми, потускневшими от времени пряжками.

Старик, желая успокоить жену, неожиданно произнёс:

– Пойдёмте во двор – я вам хозяйство покажу.

***

Сразу было видно, что крохотный дворик у самого подножья скалы был обустроен с большой любовью. Ближе к дороге рос могучий орех. Напротив – инжир, или, как говорят сербы, «смоква». Метров в двух от земли по всему периметру натянута металлическая проволока, с которой соблазнительно свисали увесистые гроздья винограда. Они светились янтарными бусинками, впитывая последние ласковые лучи осеннего солнца.

– «Лоза», – с гордостью назвал он по-сербски виноградный куст, толщиной в руку.

– Немного у вас всего, – сорвалось у меня.

– Пойдём! – хозяин настойчиво повёл меня к маленькому сараю. – Смотри! – открыл дверь и показал на огромный мешок с грецкими орехами. – Куда нам больше? Раньше дочке отдавали, так два года уже не приезжает. Занята! А это – смоква, – старик кивнул на рыболовную леску под потолком, где, словно ёлочные гирлянды, вялились плоды инжира.

Казалось, Владо забыл обо всём, что так тревожило его последнее время. Он продолжал экскурсию, погружая меня в своё нехитрое хозяйство. Я и сам успокоился, с наслаждением вдыхая осенний горный воздух, настоянный на фруктовых ароматах его сада.

– Ещё в подполе есть бочонок с белым вином, – заговорщицки сказал Владо и подмигнул. – Корова на выпасе. Куда нам со старухой больше!?

Я молчал, а он, не требуя от меня никакого ответа, всё продолжал убеждать:

– А ты говоришь – уезжай! – с укоризной обратился он то ли ко мне, то ли к старухе, оставшейся в доме.

Потом пили чай. Владо расспрашивал меня о политике, Наталия, немного успокоившись, хлопотала по дому. Пришло время возвращаться. Я попросил старика ещё раз подумать об отъезде и протянул на прощание руку. Он обхватил её своими шершавыми ладонями и, улыбнувшись, тихо сказал:

– Не волнуйся, Юре, всё будет хорошо!

На пороге Наталия, лукаво улыбнувшись, вдруг спросила:

– Юре, а почему ты всё время смотришь на мои туфли?

Я смутился, но всё же объяснил:

– Не поверите, в молодости я встречался с девушкой. На выпускной вечер она надела точно такие же туфли. До сих пор почему-то помню, как блестели на них пряжки.

Владо засмеялся и не удержался от подколки:

– Наталия, и ты, и туфли из прошлого века!

– А мне удобно – вот и хожу, – не обиделась хозяйка и рассмеялась.

***

Обстановка в Краине накалялась. Тяжёлое предчувствие и тревога за этих простых людей не покидали меня. Я спросил индуса, вернувшегося из патруля, о знакомых стариках. Он пожал плечами, но сказал как-то неуверенно: «Не видел ни одной живой души. Наверное, все уехали».

От сердца отлегло. Появилась надежда, что мои уговоры подействовали. Проезжая деревню на следующий день, не удержался и решил подъехать к их дому.

Дверь приоткрыта, но никто не вышел навстречу. Не желая верить в худшее, медленно шагнул вовнутрь. Вещи в горнице разбросаны по полу, занавески с окон сорваны. Гнетущую тишину нарушал размеренный стук старых ходиков, казавшийся нелепым в разорённом доме. Ничто больше не напоминало о прежней уютной жизни. На полу валялись черепки разбитых вазочек и затоптанные белые салфетки. Я вдруг подумал, что план политиков на той салфетке в ресторане обернулся большой бедой в этом простеньком деревенском доме.

В груде набросанных у печки бумаг заметил два картонных прямоугольника документов с отпечатками ребристых следов армейских ботинок. Поднял один. Буквы плясали перед глазами: Владимир Мишин, дата рождения, национальность, место рождения. Открывая вторую красную книжицу, уже знал, что там написано. Так и есть: Наталия Мишина…

Я держал в руках документы людей, которые невзначай стали мне дороги.

Показалось, что в спальне кто-то есть. Я осторожно приоткрыл дверь и от неожиданности отпрянул: поперёк хозяйской кровати лежала огромная корова и смотрела на меня своими грустными карими глазами. Почувствовал, что не хватает воздуха. Под утробное мычание я бросился к выходу, не глядя под ноги. На пороге поскользнулся и едва не упал. Под ногой что-то хрустнуло. Это была пряжка, та самая, из прошлого века.

———

ЕКАТЕРИНА РОГАЧЁВА

Смоленск

ЗАПАСНАЯ МЕЧТА
рассказ

Вторую неделю шёл мокрый липкий снег. Он пригибал к земле чёрные, измученные тяжестью ветки деревьев, облеплял рыхлыми полотнищами заборы, затягивая рискнувших выйти из дома в плен снежно-грязной каши. Егор брёл, с трудом вытаскивая из неё ботинки. Тяжёлый рюкзак давил на плечи. Шесть уроков, да ещё книжки к реферату в библиотеке взял. Он сунул замёрзшие руки в карманы и сильнее нахохлился. Зимнее солнце, отражаясь от белых крыш, слепило глаза.

Из-под очередного забора, мимо которого шагал Егор, вылетела упитанная шоколадная тушка. Заметив приятеля, восторженно замахала хвостом и запрыгала вокруг. Егор присел на корточки и почесал соседского щенка за ухом.

– Привет, – сказал он шёпотом. – Опять сбежал?

Щенок тихонько заскулил и активнее завертел хвостом. Его чёрные глазки жмурились от удовольствия. Егор улыбнулся. Он очень любил собак. Но завести себе ушастого друга, такого, как вот этот, не мог. Оставалось только дружить с соседским.

– Тузик, Тузик, так твою растак, – раздался из-за забора голос соседки. – Иди есть, бестолочь.

– Зовут, – сказал невесело щенку Егор. – Иди.

И хлопнул друга по круглому боку. Проследил, как упитанное тельце ввинчивается в щель под забором, вздохнул и выпрямился.

Дорожка к дому была заметена почти по колено. Снег вздыхал под ногами, не то скрипя, не то чавкая. И Егор с тоской подумал, сколько же тут работы лопатой. До самого вечера точно. А завтра всё засыплет снова.

Ступеньки привычно скрипели под нетяжёлым мальчишеским шагом. И дверь скрипела. Егор шагнул в маленькую прихожую, пахнущую холодом и старыми бумажными обоями, и привычно крикнул:

– Я дома!

Ему привычно никто не ответил. Он снял куртку, разулся и прошёл в комнату. Здесь тоже пахло бумагой. Лучше бы едой. Но печку сегодня явно не топили. Мать стояла у окна и смотрела на улицу. Невидящий взгляд её скользил по окружающему дом белому пейзажу.

– Я дома, – повторил Егор, бросая рюкзак в угол.

Мама обернулась. Улыбнулась.

– Хорошо, что ты наконец пришёл, – сказала она мягко. – А я уже волноваться начала. Ты где был?

– В школе, – отозвался Егор, укладывая в печь дрова. Ну и выстудило же дом за полдня, без куртки зуб на зуб не попадает.

– Голодный? – спросила мать.

– Ага.

Егор не отвлекался. Спички отсырели и отказывались гореть. Последний коробок, между прочим. Завтра надо в магазин забежать после школы.

– А я как раз думала пойти коровку подоить, – сказала мама. – А вечером до леса за земляникой дошла бы, сообразили бы вкуснятину на ужин.

Егор мельком глянул в окно на ноябрьский снег, занёсший до самой крыши старый сарай, где уже лет десять не жила корова, вздохнул и сказал:

– Давай я сам потом схожу, мам. А пока гречки сварю. Будешь гречку?

Огонь быстро разгорался. Можно было, конечно, и на старенькой плите что-нибудь сварганить, но в доме было холодно. Хотелось, чтобы стены наконец задышали теплом и домашним уютом. Ну, или хоть чем-то похожим.

Дом медленно прогревался. Дрова потрескивали в печном нутре. Мать что-то рассказывала, улыбаясь. Егор кивал, не слушая. Она, когда становилась вот такой, не от мира сего, много чего рассказывала. Иногда вспоминала какие-то моменты юности, иногда ей казалось, что она по-прежнему девочка-подросток. Она говорила о людях, которых Егор никогда не видел, о местах, в которых якобы бывала, пересказывала странные и страшные сны. Поначалу Егор боялся её такую. Это была словно и не его мама, чужая женщина с чужой странной улыбкой и туманными глазами, видевшими в глубине себя что-то удивительное и непостижимое для других. Он убегал и прятался, дожидаясь, пока приступ закончится. Потом слушал. Спорил, пытался понять. Пробовал убеждать, что она выдумывает. Потом оставил и это. Пусть делает, что хочет. Лишь бы возвращалась обратно к нему. Страшно было думать, что однажды мама, рассказывая очередную историю, уйдет в неё так далеко, что забудет вернуться. Вдруг остановится, нахмурит лоб и спросит:

– Мальчик, а ты кто?

Гречка сварилась быстро. Егор, честно говоря, не любил её, но особого выбора не было, разносолов в доме не водилось. Да и готовить Егор не очень-то умел. А маме всё равно. Во время своих приступов она вряд ли понимает, что ест и ест ли вообще. Не покормить, так и будет голодная.

– Много уроков задали, сынок?

Мать подпёрла щёку рукой и с искренней нежностью смотрела на него через стол.

– Ты у меня такой уставший в последнее время.

Егор послушно перечислил всё домашнее задание на завтра. Немного. Два номера по алгебре, параграф по географии и сочинение. При упоминании последнего он невольно поморщился. Сочинения ему не давались, а уж это… Дурацкая тема, сиди теперь до ночи и соображай, что писать.

После обеда он разложил учебники по столу. Подумал и поменял местами алгебру и географию. Сначала то, что полегче. Потом русский на послезавтра. А уж потом самое неприятное. С литературой у него не складывалось. Потому что всё время надо было над чем-то думать, в основном, глупом и бесполезном. Как вы относитесь к Евгению Онегину? Каким представляется вам Печорин? Как вы оцениваете поступок Базарова? Интересно, Онегин дрова умел колоть? А Печорин печку растапливать? Егор думать не хотел. У него и так от мыслей иногда голова норовила лопнуть. А тут ещё литература. Вот, домашнее задание на завтра, сочинение на тему «О чём я мечтаю».

Он покосился на мать, молча глядящую в стену, и вздохнул. Мечты – это глупость. Наивная вера в чудо, которого не бывает. Мечты для таких, как Тоха Иванов, его одноклассник. Ему на прошлый день рождения мобильник крутой подарили, а на этот, летом, ноутбук обещают. Вот о нём и мечтать можно.

Или Сашка Звонарёва, та всему классу уши прожужжала, как на море поедет со старшей сестрой. Тоже мечта. Или Ленка Терещенко из выпускного класса. Её брат сидит через парту от Егора. Вождь всех школьных хулиганов, как говорит их классная. У них вообще отец дальнобойщик, деньги зашибает немалые. Мечтай – не хочу.

Своего отца Егор не помнил. Смазались и лицо, и голос. Зато помнилась драка. Мама страшно кричала на отца, кидалась тарелками, плакала. Тот рычал в ответ. Егор тогда испугался, спрятался за печкой и слушал оттуда, как хрустят под нервными шагами осколки тарелок, как звенят стёкла от крика и покачивается дешёвенькая люстра, свисающая с потолка. А потом отец шагнул к двери, мама кинулась за ним. И он её ударил головой о стену. Схватил за волосы и ударил. И ушёл, шарахнув дверью об косяк. А мама сползла на пол, зажимая нос руками. Из него шла кровь. Вся кофта пропиталась, сквозь ладони текло до локтей. Егор, перепуганный, сжался за печкой, боясь не то что вылезти, просто вздохнуть. Так и сидели, долго-долго. А потом мама встала, вытирая лицо, и принялась молча собирать битые тарелки. Отец больше пришёл.

Егор тряхнул головой. Зря вспомнил. Внутри словно морозом прошлось. Мама с тех пор и стала заговариваться. Сначала понемногу, незаметно. То день недели перепутает, то соседку чужим именем назовет, то забудет, что в магазин уже ходила и ещё раз соберётся. Она тогда на почте работала. Раз не тот адрес написала, другой посылки перепутала. Пришлось уйти уборщицей в сельсовет. Потом молчать стала подолгу. Сидит, смотрит в одну точку и молчит. Егор тормошил её, разговаривал, обнимал. Иногда помогало. Но всё реже и реже. Он стал привыкать. Ну, странная. У всех свои недостатки. Других детей мамки спьяну или под горячую руку поколачивают. А его никогда. Его мать его любит и даже не ругает ни за что. Да и не всегда она такая. Иногда весёлая, как раньше, суп ему варит, на работу ходит, в магазин. А с остальным он сам справится, он ведь уже взрослый.

А когда пару лет назад уводил её из деревенского магазина, смеющуюся, раскрасневшуюся и разговаривающую с невидимой подружкой, понял – нужно просто жить так, чтоб никто не знал, что у них происходит. Иначе его в детдом, а маму в психушку.

– Выпила, – объяснил он тогда любопытным соседям. В ответ сочувственно покивали головами. А что ж, привычное дело, особенно для деревни. Особенно для бабы, одинокой, поднимающей сына на ноги, нестарой ещё. Чудит? Так кто не чудит, когда выпьет? В магазин Егор с тех пор ходил сам.

Раскрытые тетрадки укоризненно белели на столе. Нужно было заниматься. Учёбу Егор особо не любил, но не хотел, чтобы из-за двоек мать вызывали в школу. Кто знает, чем это обернется. По той же причине он старался вести себя на уроках тихо и не ввязываться в неприятности.

– Тихоня, – презрительно хмыкали парни-одноклассники. – Лузер бесцветный.

Егор терпел молча. Ничего, он справится. Он взрослый, а взрослые и не такое преодолевают. Сколько той школы осталось, три года всего. Он справится. А дальше будет легче.

Алгебра сделалась быстро, параграф тоже не вызвал сложностей. А вот сочинение упорно не шло в голову. Егор пробовал и так, и этак. Глупая тема. И ещё глупее то, что, не принеси он завтра сочинение на неё, получит двойку. Мать что-то тихонько напевала, сидя на диване и перебирая в руках кисточки от старого пледа. Плед был вытертым и с одного угла попорченным молью, кисточки неровными и закатанными. Бездумно наблюдая за маминими руками, Егор вдруг подумал, что приступы становятся всё чаще и длиннее. Ещё год назад мама теряла связь с реальностью не больше раза в неделю. А теперь через день-два. И пробыть там, внутри себя, она может долго-долго. По сердцу снова когтистой лапкой царапнул страх – вдруг однажды не вернётся, не вспомнит его, не узнает. Беда, ни сочинения не написать, ни от дурацких мыслей не избавиться. Ни туда, ни сюда. Пойти проветриться, что ли? Заодно в магазин сходит. Спичек возьмёт, масла растительного, чтоб на нём остатки гречки к ужину разогреть. Не на воде же. Он пробовал, невкусно. Сосисок, может, каких.

Он поднялся, натянул куртку и взял из буфета деньги. Они всегда хранились там, кому и от кого их здесь прятать? Мама складывала туда, а Егор брал, когда шёл в магазин. Так и жили.

– Я скоро, – сказал он, направляясь к двери. Мать не отреагировала. Продолжала напевать, рассматривая кисточки. Егор вздохнул и прикрыл за собой дверь.

Сосисок не было. Вместо них он купил двести грамм разноцветных леденцов. Маме к чаю. Да и у самого слюнки текли при виде пёстрых фантиков. Будет у них сегодня настоящий пир.

– Как дела, Егорушка? – спросила продавщица, тётя Лена. Она у всех покупателей так спрашивала. Добрая.

– Нормально, спасибо, – сказал Егор. – Ещё пакет, пожалуйста.

– Мамку твою давно не видела. Здорова? Привет ей передавай.

– Здорова, передам, – пообещал он. – Спасибо.

Возле магазина снегу было меньше и идти легче. Егор пожалел, что по такой белой каше не срежешь путь огородами. Там, наверное, вообще не пройти. Придётся так, по дороге. Ничего, скоро Новый год,

а потом ещё пара-тройка месяцев, и всё начнет таять. А потом подсыхать. А потом лето. Будет тепло, светло до глубокого вечера и вообще здорово. Птицы будут петь. Соседский щенок вырастет в неуклюжего длинnолапого подростка и, наверное, перестанет пролезать в щель под забором. Егор тайком выломает ещё кусок доски там. При этой мысли он усмехнулся. Только бы соседка на горячем не поймала.

До дома оставалось два забора, когда он услышал голоса. Сердце кольнуло предчувствие беды, и Егор ускорил шаги. Голоса, звонкие, мальчишеские, недобрые, как и сопровождавший их смех, неслись из-за его калитки. Егор почти вбежал во двор и остановился, тяжело дыша.

Их там было трое. Мишка Терещенко и двое приятелей, те ещё гады. Они стояли полукругом возле крыльца и смеялись, показывая пальцами вперёд и толкая друг друга локтями. А на крыльце была мама. В одном домашнем платье и тапочках, с дырявым ведром в руках, она, растерянно улыбаясь, оглядывалась и что-то говорила мальчишкам. Но её не слушали.

– Больная! – выкрикнул насмешливо один из приятелей Мишки. – Идиотка!

Все заржали. Егор задохнулся. Это его мама. Его. Может, она и не совсем здорова, может, не всегда понимает, что происходит вокруг. Но она же никому ничего плохого не делает. За что они так?

Мама снова что-то сказала тихо. Потом поставила ведро на крыльцо. Где она его вообще нашла? И ушла в дом.

– Психушка по тебе плачет, – завопил Мишка ей в спину.

– Пошли вон отсюда, – сказал Егор срывающимся от злости голосом.

Все трое обернулись к нему.

– Смотрите, кто тут у нас, – протянул Мишка. – Лузер. А где ты был? Мы в гости пришли, а тебя нет.

Они неторопливо подходили. Не боялись. Что он им сделает? И плевать им, что они в его дворе. Такие всюду хозяева.

– Тебя нет, – продолжил Мишка глумливо. – А твоя ненормальная мамаша есть. Она что у тебя, окончательно того? А чего тогда тут держишь? Её в больничку надо. Туда, где такие же, как она, башкой о стены бьются. А стены мя-а-агкие.

И все снова расхохотались.

Красная пелена упала на глаза. Егор был почти на голову ниже Мишки и заметно уже в плечах, но сейчас это не имело значения. Ярость бывает и в маленькой упаковке. А это была именно ярость. Он хотел рвать противника руками и зубами, бить и трепать, пока не запросит пощады. И он, больше не разговаривая, ударил. Сначала тем, что было в руках. Треснул целлофан, брызнули разноцветными каплями по снегу конфеты. Гулко ухнула бутылка масла.

– Ты! – взвизгнул Мишка. Егор не ответил. Отбросил остатки пакета и заехал кулаком в ненавистное лицо. И всё мгновенно завертелось, закружилось, заплясало вокруг. Крики, оханье, сыплющиеся со всех сторон удары. Боли почти не было, её глушила дикое неукротимое бешенство. Перед глазами мелькали лица и руки. Где-то истошно заходилась лаем собака. Егор мельком подумал о соседском Тузике. Не прорвался бы сюда и не кинулся бы под ноги. Затопчут непутёвого. И тут же забыл о нём. От очередного удара в глазах потемнело. Егор зарычал и дал сдачи.

– А ну прекратите! Прекратите! – прорвался сквозь шум драки вопль соседки. Видно, выглянула посмотреть, чего собака так надрывается. – Сейчас полицию вызову и всех сдам! Прекратите!

Мишка шарахнулся от Егора. Тот, не успев отцепиться, покачнулся, но устоял. Для этого пришлось сделать шаг назад. Оба тяжело дышали. Егор вытер кровь с разбитой губы. Мишка сплюнул.

– Сматываемся, – дёргал его за плечо один из приятелей, теперь тоже красующийся ссадиной на скуле. – Брось его. Психанутый, как и его мамашка.

Егор сделал шаг вперёд. Противники – шаг назад.

– Я тебе это припомню, – процедил Мишка. – Теперь ходи и оглядывайся.

И они все втроём под собачий лай и крики соседки рванули к калитке.

Сердце медленно переходило с галопа на нормальный ритм. Егор мотнул головой. Оглядел истоптанное поле боя. Наклонился, сгрёб со снега бутылку с маслом, откатившуюся в сторону. Конфеты уже не спасти. Жаль. Прихрамывая, дошёл до крыльца и поставил её на ступеньку. Потом заберёт. Снова вытер нос рукавом. В таком виде нельзя. Нужно пересидеть где-то, выдохнуть. И он, наткнувшись взглядом на тёмную стену сарая, побрёл туда. Ноги подкашивались, но пульсирующий гул в ушах стихал.

Из пустого сарая тянуло сыростью и нежилым духом. Егор прижался спиной к покосившемуся косяку, сполз по нему вниз, сел на порожек. Сгрёб в горсть снег, наметённый за ночь под приоткрытую дверь, и вытер лицо. Розовые струи побежали по пальцам, пачкая рукава старой куртки. Кровь из носа всё ещё текла, губа стремительно опухала.

– Ненавижу, – пробормотал Егор невнятно. Сплюнул, окрасив белую землю рядом красным. Перед глазами всё расплывалось. Он же не плачет, в самом деле, он же взрослый. Взрослые не плачут.

Рукавом вытер щёку. Куртку теперь не отстирать. Да и чёрт с ней. В бок кто-то толкнул. Засопел, заскулил, обдал тёплым дыханием. Егор проморгался и повернул голову, чтобы взглянуть не заплывшим глазом. Соседский щенок. Тот самый, шоколадный.

– Ты чего здесь забыл? – хрипло спросил Егор. Голос царапнул горло, захотелось откашляться. Или глотнуть горячего чая, чтобы смыть противный металлический привкус с языка. Горячего чая не было. Зато кругом был холодный хрусткий снег. Тоже ничего, если выбора нет. Егор сунул крошечный снежок в рот. Щенок снова заскулил. Боднул мальчишку лобастой головой в колено, подставляясь под ладонь. Он был тёплым, доверчивым, он был здесь и сейчас с Егором, один-единственный. И Егор вдруг подался вперёд, обхватил руками толстое тельце, уткнулся разбитым носом в короткую жёсткую шерсть и затрясся в беззвучных судорожных рыданиях. Слёз не было, только рваные всхлипы и крупная дрожь по спине. Щенок терпел. Не вырывался и не ёрзал, только поскуливал и время от времени пытался лизнуть Егора в лицо.

Домой он вернулся впотьмах. Хотел пробраться незаметно, вдруг мама уже легла. Но предательские ступеньки всё-таки скрипнули. Их поддержала дверь. Силуэт у белеющей занавески у подоконника встрепенулся.

– Сынок? – спросила темнота тихо.

– Я, – буркнул Егор. Повесил куртку и наклонился над железным рукомойником. В доме снова было холодно, плеснувшая на руки вода показалась обжигающе ледяной. Даже зубы застучали. Егор зажмурился и, преодолевая дрожь, умылся. Синяки это, конечно, не уберёт, но остатки крови смоет.

Капли падали в жестяной таз с глухим звоном. Невидимые в темноте брызги стучали о стенки. Егор уже набрал ещё горсть воды, когда замер от лёгкого ласкового прикосновения. Вода, просачиваясь, потекла вниз ручейками.

– Егорушка, – сказала мама, стоящая рядом. Сказала очень тихо и серьёзно. И очень осмысленно. Настолько, что Егора пробрала дрожь уже не от холода. Он поднял глаза. В темноте лица матери почти не было видно, только смазанное пятно, но Егор знал, что она смотрит на него.

– Егорушка, – повторила она. – Ты не вини их и злости не держи. Что же делать, если так.

И совсем тихо добавила:

– Ты прости меня, сынок.

Она была рядом, сейчас рядом. Не в своих фантазиях, не в прошлом или будущем, не с кем-то другим. С ним. Его мама. Самая близкая и родная. И он был не долговязым подростком с расквашенным носом, знающим, сколько тушёнки класть в гречку, чтобы банки хватило на неделю, и умеющему стирать и штопать свои вещи. Он был маминым сыном, одиноким и растерянным, отчаянно нуждающимся вот в этой лежащей на плече ладони.

Мамино лицо расплылось сильнее, темнота стала прозрачной и мокрой. Егор сморгнул. Взрослые не плачут. Никогда не плачут. Он мотнул головой, взял полотенце и принялся вытирать лицо. Мама убрала руку и снова шагнула к окну.

– Ела? – грубовато спросил Егор.

– Не хочу, сынок, – отозвалась она.

– Тогда ложись.

– А ты?

– Уроки.

Не глядя на неё и стараясь не поворачиваться особенно пострадавшей правой половиной лица, он повесил полотенце на место, прошёл к письменному столу и включил тусклую настольную лампу. Грязно-жёлтый свет залил учебники и тетрадки. Верхняя – по литературе. Егор сел, вздохнул и открыл её. Взял ручку, погрыз кончик, формулируя первую фразу. А потом написал: «Собака друг человека. Поэтому я мечтаю завести собаку».

На диване тихонько ворочалась, устраиваясь спать, мама. За окном ноябрьская ночь тоже укладывалась на белые снежные простыни. Егор писал о собаке. О своей мечте. Ведь может быть у человека запасная мечта?

ИРИНА СОЛЯНАЯ

Калач, Воронежская обл.

ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМ
рассказ

Жила я на Соломбале, в Адмиральской слободе. Хозяйка – Пульхерия Завалишкина мне фатеру сдавала об одном окне. У того окна я на машинке ручной строчила, на мамкином наследстве. А позади у меня две занавески были нажаты: за одной топчанчик, на котором я обреталась, а за вторым – мои мадамки переодевались. Шила им платья да верхнюю одёжку. За всё бралась, кроме нижнего исподнего, потому что белошвейному делу не обучена: глаза не зоркие, а руки грубоватые.

Любой работы не боялась, но больше всего любила мущинский ремонт: карман к пинжаку или воротник, который в драке приятели поотрывали, присобачить. Дело быстрое и копейка мелкая, а мущины никогда торговались, не то, что мадамки. Потому на горсть мучицы и два яичка мне завсегда хватало. Иной раз Порфирий Солдаткин крикнет: «Маремьяна, дверь отворяй, дура косая!». Значит, рыбки мороженой принёс. Я у ней хвост, плавники и голову отрубала – и на супчик. А кусочки на сковородку, и мне ажно на три дня хватало. Ничего, что Порфирий пьяница, зато добренький. Жена, конечно, у него стервь поганая. Пришла раз ко мне и говорит: «Доколе ты Маремьяна, будешь мого мужика отбивать? От я тебе окна пешнёй рыбацкой да и посчитаю». А я ей говорю: «Чего их считать? Одно окно, да и то Завалишкиной. А она тебе не попустит». На том и ушла Солдаткина жена.

Хорошо, что Пульхерия Завалишкина на меня не серчала. Добренькая баба, хоть и прохиндейка. Свахой на прокорм зарабатывала. Кофий по утрам с молоком пила, а когда и со сливками. Носила юбку плисовую и тужурку с искрой. У меня не обшивалась, в центр ездила, к портнихе мадам Люли. Мне иной раз мелкую штопку доверяла и за фатеру цену скидывала. И на том великое спасибушко.

Каждое утро у окна я мадамок поджидала, перешивала и перелицовывала. Завсегда в одну сторону мимо окна Афанасий ходил. На шее – шарф, один концом в кармане, а другим как собачьим хвостом по земле мёл. На драном пальте с чужого плеча ни одной пуговицы. На голове малахай. Ох, чучелко! Афанасий всегда шёл медленно, на палку опирался. Когда мимо окошка моего проходил, то завсегда стучал, а я ему в ответ ладошкой махала. Когда он обратной дороге шёл, то снова в окошко постукивал. Поначалу я думала, что он так Христа ради просит, но когда пирожок выносила – не брал и руку отводил.

Афанасий всегда мне пуговицу приносил, знал, что я портниха. Где их только брал? Дня не было, чтобы пришёл пустой. Я энтих пуговиц целую махотку накопила. А его самого Пуговичником прозвала.

Раз Пульхерия Завалишкина сказала мне мне:

– Чего это к тебе малохольный Афанасий таскается? Нету бокогрея, и это не жених.

А я ей ответила:

– Мало в вас жалости, Пульхерия Андросовна.

А она мне:

– Вся жалость, что богом мне отпущена, на тебе, дуре косой, кончилась.

С тем и поговорили.

Инда за Пуговичником бежали мальчишки и дразнили: «Старый Афанасий нос расквасил» или «Афанасий чёртов сын продал душу за алтын». Они его за шарф хватали, за пальтушку. А если шапку сбивали, то ногами в грязь топтали. Тогда он плакал и лицо рукавицей закрывал. Иной раз я не выдерживала, выскакивала и разгоняла дурачьё:

– Пошли вон, паршивцы, вот будошнику на вас пожалуюсь!

А они хохотали и комками грязи кидались.

Люди говорили, что Афанасий был раньше по морскому делу, но в какой-то драке ему голову отшибли, и с тех пор он чучелкой стал. Купцы Замотаевы его приживалой оставили. Злые они были, иной раз напоят Афанасия бражкой, он совсем дурной становится: дорогу не помнит, блукает и воет. А им смешно. По мне, так это не по-христиански, над малохольными издеваться. А что я им скажу? У них деньги и власть, по купецкому делу пристроены.

Как-то по осени Пуговичник мне принёс штучку: камушек мутный, а вокруг золотой ободок. Пуговичник мычит и сует в ладонь.

– Афанасий, заходи, чаю налью. Кишки погреешь.

Не зашёл. А я штучку в пальцах повертела – барская безделка, но не пуговица, и может денег стоить. Вечером спросила у Пульхерии, не видала ли она таковских.

– Сдаётся мне, что это барышня Куделькина потеряла. Я это семейство хорошо знаю, сосватала недавно её за полковницкого сынка. Только как брошка на Саломбале оказалась? Вопрос не риторицкий. А не мог твой Пуговичник скрасть?

– Что ты! – говорю, – бога побойся. Не таковский человек.

– Знаешь-ка, Маремьяна, я в такое дело мешаться не стану. Это не иначе барышня Куделькина к Карпушке бегала.

– Это не штурман разжалованный?

– Он самый.

– Говорят, до бабского полу охочий. Много цвету перепортил.

– То-то ж. Напишу тебе адресок. Сходи-ка сама к Куделькиным. Люди они порядочные. Денег дадут за брошку, потому что камень тут не иначе как аметист.

Тут же к вечеру я и пошла. Мимо церкви святого Мартина, мимо бани на самый конец острова, к наплавному мосту. За проход платить не стала: там как раз Порфирий Солдаткин в будке сидел: по заду шлёпнул да за тужурку ущипнул и вся недолга. А там уж близко до дома Куделькиных. Шла и зубрила наказ Завалишкиной, как в порядочном доме с барышней разговаривать: не тыкать ей, по матушке не упоминать, не гыгыкать, и в пол смотреть. Пришла: дом высокий, лестница чистая. На втором этаже в окошках герани всякие и котик фарфоровый.

На мой стук горничная отворила и тут же меня пузом с лестницы столкнула. Из открытой двери слышно, как на фортепьянах упражняются.

– Я к барышне Куделькиной. С докладом. Об нужном для неё деле.

– Не принимают они, хворые, – и посмотрела с прищуром.

– Тогда передайте барышне, что её потеря нашлась.

Горничная взяла брошку, в лице переменилась и перед носом моим дверью хлопнула, но вскорости возвернулась и сунула десять рублей серебром. Это ж мне месяц за машинкой не разгибаться! Я поклонилась и взяла, а горничная мне разговором за губу плюнула:

– Велено сказать, что барышня брошку не теряла, ошиблись вы адресом. А денег вам Христа ради дали.

И снова дверью хлоп! От, подумалось мне, недорого нынче девья невинность стоит. Захотелось приношение под ноги кинуть да вовремя раздумала: перед кем кичиться?

Шла я, помню тогда и мечтала: «Куплю себе материи всякой, сошью новое платье, а то уж совсем под грудями истлело. Со старого юбку перешью, наставлю верх из другой какой ткани, и будет мне смена. И Пуговичнику пальтушку залатаю. Десять рублей серебром – это вам не мыший хвост. Ещё и останется».

Тем же путём пришла, а уже вечор, а Завалишкина к себе зовёт.

– Иди, милая, самовар горячий.

Сроду такой добренькой не была, сводня старая. Я заявилась и без стеснения чай с блюдца дула, коврижкой чёрствой заедала.

– Что с брошкой?

– По дороге утеряла. Шла по мостку через Кузнечиху, так меня какая-то толстуха толкнула, я из рукавицы брошку и выронила.

– Эх, распустяйка! – с досады Завалишкина прямо по столу ладонью хлопнула! Потом взглянула на меня искоса, – а не врёшь ли? Чего долго шастала?

– С Порфирием Солдаткиным миловалась.

– Ладно, иди к себе, – и губы жопкой курячьей сжала.

На другой день сидела у окошка, а Афанасий всё не шёл – ни туда, ни оттуда. И на другой день, и на третий тоже. Стало сердце у меня тисками сжиматься, подумалось: точно Замотаевы напоили. Встала и пошла к ним прямиком. Стучу в людскую. Повариха открывает и говорит:

– Чего тебя, Маремьяна, чёрт принес?

– Пришла спросить про Афанасия.

– Э, нашла об ком, об убогом. Похоронили с утра. Замёрз третьего дня. До дома не дошёл, в канавку свалился, так и нашли только на заре.

И тут я поняла, как так бывает, когда земля с небом мешаются. Стою, в глазах темно и мнится мне, как в лихоманке перед лицом: шарф собачьим хвостом, брошка барская, десять рублей серебром, Пуговичник в канаве с открытым ртом, а на нём уж мухи сидят.

Повариха не растерялась, взбодрила меня хлопками по щекам и на крыльцо посадила.

– Господи Святый, Господи Святый,– бормочу, – как так?

– Да так уж. Упокой душу, Господи. Да ты жена ему что ль, что убиваешься?– хмыкнула и пошла к своим кастрюлям.

И не стыдно мне за слёзы, пусть смотрят. Поплелась я прочь от дома Замотаевых, насилу дошла до пекарни. Купила сухарей на копейку. Могилку Афанасия на кладбище нашла легко. Серый от грязи холмик с деревянным крестом. Сухари раскрошила, слетелись синицы, стали Пуговичника поминать. И я его вспоминала: «Не дождался пальтушки новой, божий человек. Кто теперича обо мне подумает, кто пуговичку принесёт?».

На другое лето купила столбик известняковый, установила. Вырезали на нём: «Афанасий Пуговичник, усопший 13 сентября прошлого года». Как раз десять рублей серебром и ушли.

Пульхерия Завалишкина долго на меня обижалась, что я обдурила её подношеньицем барышни Куделькиной. Сказала как-то: «Дура ты, дура косая. Хоть бы на себя потратила, машинку бы справила новую, коль деньги лишние».

А я и сама знаю, что дура.

«ЛИТМУЗЕЙ»

ЕЛЕНА ТВЕРДИСЛОВА

ДУША И ЕЁ АРЛЕКИН: УРОК ЛЮБВИ

«Арлекин! – Так Вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть – Пьеро! Я в первый раз люблю счастливого, и может быть в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня – хаос! – а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала человеку права выбора: или всё – или ничего, но в этом *всё* – как в первозданном хаосе – *столько,* что немудрено, что человек пропадал в нём, терял *себя* и, в итоге, меня. Другой должен быть Богом, Бог свет отделил от тьмы, твердь от воды, «ветру положил вес и расположил воду по мере» (Библия, Книга Иова) – другой должен создавать нас из *нас же* (о, не из себя!) и возможно это, конечно, только через любовь. Любовь: Бог. До Вас это у меня звучало: любовь: болезнь».

Из письма Марины Цветаевой Константину Родзевичу от 22 сент. 1923 г.[1]

Жизнь и судьба Марины Цветаевой, величайшего поэта русской, да и всей мировой культуры – трагична и беспрецедентно несчастлива. Будто её преследовал беспощадный рок – наградил страшнейшим недугом, с которым не справится ни один человек. В её собственной семье её, по существу, не воспринимали как выдающуюся личность, ибо, как правило, такими избранными хотят быть все члены семьи. Из близких и родных (исключаю детство, родителей) её мало понимали, а потому и по-настоящему – глубоко и преданно, так, как в этом нуждалась только она, со всем пониманием сложности её характера и уникальности натуры, не любил никто: ни муж Сергей Эфрон, ни дочь Ариадна, ни даже сын Мур, которого она любила больше всех. Эфрон её благородно терпел, вместе со всеми её увлечениями, Ариадна, повзрослев, стала сводить с матерью счёты, правда, впоследствии посвятила себя её памяти, созданию архива, преследуя отчасти цель – восстановить репутацию матери как преданной жены и показать величие любви обоих родителей, что, в итоге, закрывало истину. Иногда, мне думается, Але застили глаза её коммунистические идеи, которым она осталась верна, даже возвратясь из ссылки. Да и Мур, который и слышать не желал о том, чтобы остаться в Париже и никуда не ехать, конечно, не сумел себя найти по приезде в Союз, и это не могло не сказаться на его отношении к матери, переживавшей тяжёлый кризис – и творческий тоже. Допускаю даже, что ТАКУЮ мать – нервную, уставшую что-либо понимать в жизни, постоянно находившуюся в поисках любой, самой жалкой работы, ему даже трудно было воспринимать, хотя её отчаянный шаг он понял и принял: «„Мама покончила с собой“, а следующая фраза: „Я могу её только одобрить“», – вспоминал впоследствии его друг Дмитрий Сеземан[2]. Однако объяснить его страх перед её последним шагом и то, что он не только не пришёл с ней проститься, уже вынутой из петли, но и на похороны, можно объяснить лишь его возрастом и одиночеством.

До сих пор не известна точно могила Марины Цветаевой – лишь кладбище, где её предали земле. Сразу хочу подчеркнуть: я далека от осуждений, я хочу лишь зафиксировать те моменты, которые нам помогают понять её судьбу, и отдаю отчёт в том, что у всех её близких жизнь была тяжёлой, а Марина не принадлежала к тем, кто такую жизнь способен облегчить. Парадоксальность их отношений в

семье, в итоге, сказалась в том, что, жалуясь на деспотичный характер матери, и Аля, и Мур, и Сергей, тем не менее, подчинили её своим эфемерным идеям, и по их настоянию она оказалась снова в Советской стране, всячески в себе превозмогая нежелание быть там – осознанное и прочувствованное прошлыми годами, откуда когда-то сумела вырваться. С её стороны это была жертва – теперь уступить им. И жить было бы не на что, если бы в Париже осталась. После «истории» с убийством Игнатия Рейса-Порецкого, в которой был замешан С. Эфрон, эмиграция возненавидела Цветаеву. И, конечно, в Союзе она никому не смогла стать опорой. Да, жертвы, как известно, не оправдываются.

Так получилось, что её не любила и не ценила ни одна страна: ни родная Россия, ни приютившая потом Франция, проявлявшая, в целом, за исключением отдельных людей, удивительное равнодушие даже к её личности, не говоря о таланте. «В Париже её не признавали. Почему? Царил тогда Георгий Иванов со своими декадентскими темами, был Ходасевич. А все, кто приезжал из провинции, то есть из Праги („Скит поэтов"), или из Бельгии, или ещё откуда-нибудь, должны были пройти два года „подготовительных классов"… Печатали её ужасно. Сколько рукописей лежало в „Последних новостях", ожидая публикации. Сколько писем она писала, требуя печатания, гонорара…»[3].

Исключение составила, пожалуй, лишь Чехия, где впервые и в полную меру она испытала подлинное личное счастье. Словно в ней пробудилась она сама. Короткий период (1923-1924) подарил ей то, что тщетно искала всю жизнь её Душа, казавшаяся ненасытной именно потому, что на смену увлекавшего её чувства быстро приходило разочарование. Мы не знаем своей души, она не знала своего тела. А потому тело нуждалось в повышенной тактильности – тонком физическом контакте с другим телом, ибо в её случае не оно выбирает и решает, как у обыкновенных людей («Игрок, учащий меня человечности»[4]). И ещё: «Необратимая необходимость Цветаевой – потратить свою душу и невозможность этого. Обе поэмы не только о любви, а об отношении к жизни, о требовании к ней. А любовь – точка отсчёта, и плата за любовь – жизнь»[5], – пишет Наталья Шлемова, одна из самых основательных исследовательниц творчества и личности Цветаевой, анализируя её «любовные» поэмы «Горы» и «Конца» в контексте эстетики трансцендентного.

У Души и её Арлекина всё складывалось на основе молчаливой преданности друг другу – в жизни и за гробом. «К.Б. *(Константин Богуславович Родзевич – Е.Т.)* никому ничего не рассказывал – такой легкомысленный человек оказался истинным джентльменом», – говорила о нём Ариадна[6]. Предмет любви Марины открыто заявлял, что не понимает её стихов, ибо подобное педалирование этого вопроса позволяло самоустраниться раз и навсегда, и тут нельзя не отдать должного его виртуозной игре с людьми, что в первую очередь говорит о его наблюдательности, уме и выдержке. Невозможно привести никого больше из всего её «списка» увлечений, кто был бы так предан ей и так глубоко понимал её Душу, как Константин Родзевич – часто даже ценой личной репутации. «Люди поддерживали во мне мою раздвоенность. Это было жестоко. Нужно было или излечить – или убить. Вы меня просто п о л ю б и л и»[7].

Сразу надо заметить: Марина знала свои особенности, но это ей не мешало думать и жить *по-человечески*. «Я на земле стою – лишь одной ногой»[8], – писала она в 1916 г., а ещё раньше – в 1913 г.: «Я одна с моей большой любовью / К собственной моей душе»[9]. Именно встреча с Родзевичем подарила ей редчайшую возможность соединить в себе обе половинки: душевную и человеческую.

О Родзевиче из современников почти никто не сказал добрых слов – за исключением самых Марине близких: дочери Ариадны Эфрон и сестры Анастасии Цветаевой. Обращает на себя внимание и вдумчивое, внимательное прочтение страниц судьбы Цветаевой, предпринятое Ирмой Кудровой, хотя оно предпринято много лет спустя… Но обо всём по порядку.

Не хочется перечислять эпитеты, которыми награждали Родзевича знавшие его лично – их высказывания собирались многими исследователями и мемуаристами, в том числе огромную работу провела Вероника Лосская: по свидетельству ею же записанного Марка Слонима, Родзевич был «красавец», «бабоугодник», «*обаяша*»[10]; по наблюдениям Николая Еленева, Марина Цветаева доверилась «лукавому и лживому по своей природе человеку»[11]. Безусловно, он был разный, а как могло быть иначе, если профессия – разведчик? Он виртуозно владел способностью себя прятать. И невероятно завлекает стремление раскодировать его истинное состояние за теми характеристиками, которыми его награждали. Во всяком случае я вдруг увидела, что верить нельзя ни одному его слову. Может быть, в конце жизни он уже пришёл к какому-то равновесию, да и то в его рассуждениях Марина скрывалась полностью, но в те годы, пока они вместе жили в Праге, а потом в Париже, правды не было ни в одном слове. Сжатые рамки статьи не позволяют взяться за расшифровку хотя бы одного из его высказываний. А ведь их немало.

Из признаний самого Родзевича:

«Она меня выдумала. Я поддавался её образу и очень это ценил. Но с другой стороны, это мешало мне жить. Как лавина!».

«Мои отношения с Мариной были всегда восторженными, радостными, до самого последнего времени. Она иногда мне звонила, и мы всегда радовались друг другу». (…) «Увлечение – обоюдное – началось между нами сразу, „coup de foudre" (любовь с первого взгляда). Оно объяснялось моло-

достью, любовью к жизни. Наша связь длилась два года, в Праге. А потом я и не искал продолжения. Была ли это большая любовь – я не знал, по молодости, по легкомыслию в жизни… А во Франции мы уже почти никогда не виделись»[12].

Благодаря его артистичности всё скрывать его отношение к Марине по-настоящему стало пониматься только после того, как мне предстали сделанные им портреты Марины Цветаевой – для меня это явилось вехой, а уже из признаний Ариадны я узнала, что в 1970-е он прислал в Россию сделанные им её портреты. До этого времени их никто не видел и о них не догадывался, даже сама Марина: в её письмах к нему об этом – ни одного упоминания. Это – красноречивее всего свидетельствует о его глубокой привязанности к ней и всепроникающей любви, оправдавшей её безрадостное бытие. Более того, её образ был живым, реальным и очень ему близким. Он словно её защищал. Да так оно и было! И ещё, чему нет и не может быть никаких доказательств: я глубоко убеждена, а не просто это могу предположить своим мистическим чутьём, что она ему являлась. Приходила к нему. И ни к кому больше. Настолько живые, проникнутые его *сегодняшним* восприятием были её портреты. Правда, я читала иронические замечания по поводу того, что рисовал он с фотографии. Вполне возможно, снимки ему помогали, но нарисовать живую, со своим настроением женщину по фотографии невозможно.

«Марина Ивановна была скрытная. Играла роль и женская гордость. Полюбила она К.Б. *очень*. Были близкие отношения, настоящая и трудная любовь. Трудная из-за её лояльности к мужу, к которому она питала любовь всякую, и женскую, и материнскую… Она была ему верна всегда, даже когда была неверна физически. Просто эта любовь к К.Б. не вышла»[13], – говорил о Марине Марк Слоним. Конечно, он весь роман видел своими глазами и оценивал со своих позиций. Для меня роман у них «не вышел» по самой простой причине: Марина никогда не ушла бы от своего Серёжи, а Родзевич это отлично знал, да и не стоит забывать, что он был ближайшим другом Эфрона, соответственно, обоих могла устроить такая развязка, которая давала мало утешительного обоим. Но, как ни странно, об этом никто не догадывался и никому в голову не приходило, что женитьба на другой для Родзевича была просто поиском тыла и способом подобной развязки.

О К.Б., в связи с наблюдаемым Марком Слонимом эпилогом, он замечал: «Это был милый молодой человек. Умный? Не знаю. Я ведь его всего раза два видел. После того, как он женился, он никак себя не проявил. Они решили расстаться, чтобы он мог жениться на другой *(в действительности, как мне видится, наоборот: чтобы Марина могла остаться с мужем! – ЕТ)*. Это её, конечно, сильно задело *(больше, наверное, расстроило, хотя ей было и не до того: вскоре она родит сына, таким был её компромисс. – ЕТ)*, и она переживала страшно тяжело *(прежде всего собственную несвободу. – ЕТ)*.

Отношение Марины к Родзевичу было проникнуто особым чувством полноты, но не переполненности, когда хочется всё расплескать. И доверием, несмотря на то, что и у них были свои разногласия, довольно серьёзные в отношении ребёнка, но и тут он ей уступил и стал делать вид, что верит в то, что она говорит: ребёнок – Серёжи. Но постепенно и она научилась прятать свои чувства от других людей под личиной поэтического вопля – чего стоили её «Поэма Горы» и «Поэма Конца», включая и то, как последнюю она преподнесла невесте Родзевича в качестве свадебного подарка. Все понимали это как дикую и странную её выходку, кроме них двоих. Марк Слоним считал, что «„Поэма Горы“ достаточно конкретна и ясна. Марина сама говорила: „Для меня эта гора – Голгофа“»[14]. Вероника Лосская в связи с этим приводит и другое мнение – Ариадны Эфрон: «„Поэма Горы“ писалась во время романа, очень легко и одним махом, а „Поэма Конца” – после разрыва и с большим трудом», – очень точное и выражающее особую наблюдательность высказывание.[15] «История конкретных отношений, явившаяся толчком для написания данных поэм, вырастает в лирической системе Цветаевой в философию Любви Универсальной и Безусловной. А Любовь для Марины Ивановны – метод познания жизни, путь Внутрь, самосознание. Атмосфера жизни, природа Души», – считает Наталья Шлемова, полагая, что «путь М. Цветаевой от „Поэмы Горы“ к „Поэме Конца“ – это путь от художественной энергии пересоздания к взаимообусловленности состояния мира внешнего и мира внутреннего, от подчеркнуто романтических акцентов («дай мне о горе спеть / На верху горы»), к достоверности, житейской конкретности («коммерческие тайны», «бальный порошок»)»[16]. Мне очень нравится её анализ, который однако оставляет далеко позади прежде всего реалии их взаимоотношений – очевидные и запрятанные, без знания которых мне, например, не обойтись. А это в первую очередь, – контекст, который вокруг поэм создавался, представлявший собой и сплетни со слухами, какие тогда циркулировали; скрытые или малоизвестные факты, в целом – понимание их жизненной судьбы с точки зрения её завершения, когда была поставлена последняя точка. Без знания этого, часто мало приятного материала, не открыть подлинную глубину отношений любящих людей, вынужденных прятать себя от всех. Родзевичу это отлично удавалось, Марине – с большим трудом.

Недоброжелатели злорадно цитируют Родзевича, поясняя, что свадебный подарок его сильно разозлил: «Злой Родзевич на банкете даже бросил обидные слова, которые донесли брошенной даме: „Не понимаю ваших восторгов перед стихами Марины Цветаевой. Я, например, их вовсе не понимаю, они мне ничего не говорят. У меня, простите, полное отвращение к её творчеству“»[17].

Подобные слова Родзевич – прекрасно воспитанный и знавший нрав Марины, силу её таланта, мог сказать только в одном случае, чтобы всю ответственность за этот поступок взять на себя, выставив себя в неблаговидном свете.

Думаю, что Марина поняла его слова правильно: как всегда, он уходил от внимания к себе и закрывался фразами, какие от него ждали, прервав тем самым всякие пересуды. Таким резким выпадом он прекращал любые расспросы и разговоры с ним о Марине. Он не мог не знать, что затевать роман с женой друга – не по правилам. Написанное Мариной в 1914 году стихотворение «Я с вызовом ношу его кольцо!» и посвящённое С.Э. – своего рода клятва, – подтвердилось впоследствии: Сергей Эфрон действительно закончил жизнь плахой:

В его лице я рыцарству верна,
– Всем вам, кто жил и умирал без страху! –
Такие – в роковые времена –
Слагают стансы – и идут на плаху[18].

Красивое стихотворение! Сколько в нём веры и жажды героического поступка! Другое дело – остался ли Эфрон верным ожидаемому статусу? К сожалению, на допросах он всех выдал – но ведь сошёл с ума! Быть героем в застенках НКВД не получалось ни у кого. Заметим, что и Родзевич не мог видеть Марину разрывающейся между ним и мужем: и это было не по правилам. Может быть, потому, что он был разведчиком, он всегда придерживался правил, вполне возможно, что тут сыграло свою роль его польское происхождение и воспитание: как поляк он прошёл настоящую школу, я бы сказала, «этической повседневности». Вот почему ему нужна была женитьба на другой, которая расставляла всё по своим местам и отнимала всякую надежду на совместную жизнь. Совершенно очевидно, что здесь он шёл за решением Марины.

Семён Извеков приводит и совсем другие слова Родзевича, сказанные им ему «сквозь слёзы» уже на закате жизни, которые он повторяет: «Если бы он решился тогда жениться на Цветаевой, они оба были бы счастливы, а Марина не повесилась бы в 1941 году в Елабуге»[19].

Никто не знает, как было бы на самом деле, но оба понимали, что быть так, как им хотелось, не получится.

К сожалению, его письма к ней не сохранились, но осталась такая запись:

«Марина до конца не расставалась с письмами К.Б., так как они после её кончины оказались, вместе с другими самыми дорогими письмами, в архиве, который Мур привёз из Елабуги в Москву»[20].

Архив, увы, частично пропал. Есть и ещё одна версия (моя): письма могли выкрасть, даже сразу после того, как Марину вынули из петли, энкэвэдэшники, которые, разумеется, следили за каждым её шагом: муж сидел, Родзевич был с обоими связан.

Лишь читая «Поэму Конца» в третий раз, я стала улавливать её ещё один – запрятанный слой: под видом вызова («Как живётся вам с другою…») и припоминания с глубокой обидой того, что было и вроде бы забыто, она раскрывала перед ним, заранее зная, что ТАК поймёт только он, свои чувства, чтобы знал: она по-прежнему помнит его и любит. И если учесть, что жена Родзевича Мария Булгакова называла его, пожив с ним, «аморальным человеком, очаровательной свиньёй» и даже более резко: «совершенное ничтожество»[21], то нет никакого сомнения в том, что к Марине он был обращён совсем другим своим обликом, рискну сказать – настоящей сущностью, всей глубиной и подлинностью своей натуры, о которой кроме неё не знал, пожалуй, никто. Он был абсолютно закрытой личностью. Здесь я никак не касаюсь качеств Родзевича как таковых, которые были разными – должность разведчика обязывала, да и характер, по-видимому, тоже имел место быть, однако не стоит списывать со счетов, что он никого не выдал, ни на одном деле не засыпался и никуда стремглав бежать и скрываться ему не понадобилось. Всё же следует подчеркнуть: мало кто из круга Марины осознавал, с кем имеет дело – Родзевич это уловил едва ли не одним из первых в её окружении. Он был не просто внимателен, а чрезвычайно деликатен и терпим. Представляю, как комфортно она себя чувствовала с ним! И тут я снова высказываю важную для меня, пусть и чисто субъективную мысль: они общались не только экзистенциально, но и мистически. Более того, оба будто бы готовили друг друга для *другой* жизни. И верили в свою будущую встречу.

«Теперь, Радзевич, просьба: в самый трудный, в самый безысходный час своей души – идите ко мне. Пусть это не оскорбит Вашей мужской гордости, я знаю, что Вы сильны – и КАК Вы сильны! – но на всякую силу – свой час. И вот в этот час, которого я, любя Вас, Вам не желаю, и которого я, любя Вас – Вам всё-таки желаю, и который – желаю я или нет – всё-таки придёт – в этот час, будь Вы где угодно, и что бы ни происходило в моей жизни – окликните: отзовусь»[22].

Однако насколько он понимал величие её таланта, останется навсегда тайной. Он всячески уходил от каких-либо вопросов по поводу его оценки её стихов, а потому и принципиально не говорил о ней, разве что в конце жизни, когда никого на свете не было. И если не найдены пока его письма к Марине

Цветаевой, её письма к нему он бережно собирал и хранил. Не без сложностей, но благодаря ему они были доставлены в Москву. По версии Михаила Казакова, снимавшего о Цветаевой и Родзевиче «боевик» под названием «Очарование зла», Родзевич действительно приезжал в Москву в 1967 году по приглашению Ариадны[23]. Казаков на этом настаивает, так как именно к ним в гости тогда приезжал Родзевич, но сам Михаил запомнил его мало.

Эту историю уточняет Аля: «Переписку их я получила через Владимира Брониславовича Сосинского (1900-1987), который передал мне её очень нечестно: он оставил у себя рукопись „Поэмы Горы“ и фотографию, на которой карандашом сделал выписку из письма. Может быть, он себе оставил ещё кое-что. Всё потом выяснилось, и я была возмущена. Я же, когда переписку получила, то пересчитала письма и всё положила в запечатанный конверт. Письма мамины к К.Б. я не читала, только вынула одну фотографию. Письма к другим людям я просматривала из-за необходимых комментариев. (…) Я считаю, что мамины письма к К.Б. не принадлежат мне, в своё время их можно будет публиковать, а сейчас рано: К.Б. жив и не хочет, чтобы имя его попадало в печать, и чтобы его во всё это вмешивали. (…) Марина Цветаева дала ему огромный аванс, который он и оправдал мужеством своей жизни, верностью политическим взглядам и верностью её памяти»[24]. Думаю, не последнюю роль в Ариадниной оценке поведения Родзевича сыграло совпадение их политических позиций.

Итак, письма Марины к К.Б. Аля, в итоге, сдала в «свой» архив, в ЦГАЛИ, который был закрыт до 2000 года. Сейчас все письма Марины Цветаевой к Родзевичу изданы в Ульяновске[25]. Есть сведения (или апокриф), что во время своего приезда он навестил Алю (по версии М. Казакова, она посылала ему приглашение), уговаривал посетить Францию, обещал купить билеты, организовать жилье – никаких трат с её стороны… Всё это вполне могло быть, тут нельзя не увидеть его стремления позаботиться о ней, что-то для неё сделать. Не случайно сказанные ею слова о Родзевиче так контрастируют с большинством вынесенных ему оценок. Вероника Лосская приводит слова Али о том, что ей говорил Родзевич: «Я был глуп и молод, ей надо было служить, стелиться у её ног и от всего освободить – от вас, от быта. Надо было её красиво одевать. А Сережа был слишком святой, чтобы одевать жену»[26].

Есть и непосредственная характеристика Али:

«Герой Поэм („Поэма Горы“ и „Поэма Конца“. – *Сост.)* был наделён редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость – с ироничностью, отзывчивость – с небрежностью, увлечённость – с легкомыслием, юношеский эгоизм – с самоотверженностью, мягкость – со вспыльчивостью, и обаяние это (…) казалось не от века сего, что-то в обаянии этом было от недавно ещё пленявшего Маринино воображение XVIII столетия – праздничное, беспечное, лукавое и вместе с тем, и прежде всего – рыцарственное. (…)

Обаятельна была и внешность его, и повадки, и остроумие, лёгкость реплик и быстрота решений, обаятельна и сама тогдашняя молодость его, даже – мальчишество…»[27].

Приведу сказанные о нём слова Анастасии Цветаевой, которая виделась с КБР (как она его обозначила) в Париже в 1927 году, и заметила:

«Таким – немного таким, только с лицом жёстче и темнее – я представляю себе Андрея Болконского. Но этот человек был тронут крылом польской прохладной пленительности. Невысок, тонок. Обращение Марины с ним было дружески равнодушное, она с ним мало говорила. Марина рассказала мне, что она способствовала его браку и подарила невесте белое платье»[28]. *(Кстати, невеста – Мария Сергеевна Булгакова, этот факт отрицает. – ЕТ)*[29].

Любопытно, но ту же аналогию – с Андреем Болконским, проводит и Алексей Эйснер:

«К.Б. был красивый, изящный человек, небольшого роста, чем-то он напоминал мне Андрея Болконского, семья военных. В 1918 году К.Б. командовал Южной флотилией Красного флота, попал в плен, был приговорён к расстрелу. Потом приговор отменили, и он очутился в Константинополе. Там он познакомился с Эфроном, который его завлёк в Прагу – учиться. Этот человек был абсолютной противоположностью Серёжи: ироничный, мужественный, даже жестокий. К Марине он большого чувства не питал, он её стихов не ценил и даже, вероятно, не читал»[30].

А вот суждение Владимира Сосинского, того самого, кто «нечестным» образом доставил Але письма Марины к К.Б.:

«Нам всем в семье КБ страшно не нравился. Он ведь был секретарём и казначеем евразийцев и их журнала… Мы его тогда очень презирали, а оказалось, что это большой человек, – он прошёл всю испанскую войну и вёл себя как настоящий герой»[31].

«В частных письмах 1976-1979 годов, которые К.Б. мне разрешил цитировать, он говорил то же самое, что и Ариадна Сергеевна», – отмечает Вероника Лосская. И предлагает выдержки из его писем к ней:

«Наша любовь и наша разлука живо отражены в стихах и поэмах Марины Цветаевой. Поэтому я воздержусь от всяких комментариев. Можно ли заурядными словами передать то, что уже стало достоянием поэзии (ноябрь 1978) (…) Пусть стихи – непреложное свидетельство – остаются выше всех житейских мелочей и всяких подсобных истолкований! Не толкайте читателя в преходящую повседневность

(„жизнь как она есть“), позвольте ему нерушимо пребывать в нетленном мире, преображенном поэзией (январь 1979)»[32].

Замечу от себя – в том самом нетленном мире, в котором отныне пребывал он, по-прежнему не раскрывая себя. Не стану приводить все высказывания Родзевича о Марине – их можно прочитать в книге Вероники Лосской, уже цитируемой.

Нельзя не видеть, как меняется риторика, да и сам стиль, отношение к теме разговора у Родзевича после посещения им Москвы, или наоборот – произошедшие в нём перемены подвигли его на поездку и встречу с Алей. Он вроде бы становится более открытым и откровенным, однако в его объяснениях прошлого и пережитого сквозит только личная вина перед Мариной.

В 1982 году Вероника Лосская решилась, наконец, поговорить с ним непосредственно и записала их беседу. Она также есть в её книге[33], в которой она не скрывает своей радости по поводу того, что «К.Б. годами отказывался что бы то ни было говорить, ссылаясь только на стихи Марины Цветаевой, а тут у нас состоялась долгая беседа, в которой он участвовал с явным удовольствием»[34]. Любопытно, что его признание в том, что он «не мог ничего для неё устроить», «был слаб» – закрывают подлинную причину их «расхождения», как он потом назвал их «разрыв», которого по-настоящему никогда и не было. Да и его «оппортунизм» – женитьба на женщине, которая его полюбила, а он был к ней совершенно безразличен, были Марине на руку, несмотря на то, что сама она страдала, изнемогала от вины перед Серёжей: по-другому и быть не могло.

По-видимому, тогда же он и начал её рисовать. Марина не могла к нему не явиться.

Остаётся ещё один непрояснённый вопрос – сын Мур. Вероника Лосская собрала о нём сведения, которые делятся ровно на две части: он был сыном К.Б. или нет. И этот чрезвычайно деликатный вопрос вызывает во мне противоречивые чувства. С одной стороны, не хочется его даже касаться – не только что поднимать. Как Марина сказала – пусть так и будет: сын Эфрона. Она мать, ей решать. С другой стороны – любой запрет закрывает нам не только тему, но и сам объект. Тогда становится заметным, что и Марина умела, подобно Родзевичу, скрывать правду. А вместе с этим возникает недоумение: если понятно, почему Родзевич себя прятал, то зачем это было нужно Марине? Ответ напрашивается сам собой: она знала, что никогда не уйдёт от своего Серёжи, но остаться с ним вместе с Муром ей было не так тяжело, более того, облегчало уход от Родзевича (а никак не его «оппортунизм» тому виной). Так я рассуждаю, но никаких окончательных выводов не делаю.

Есть фотография 1930 г. Эфрон рядом с Родзевичем, и его руки лежат на плечах стоящего перед ним Мура. Разумеется, это – ребёнок любимой женщины, но чувствуется в его руках ещё что-то… Ведь отец ребёнка официально – Сергей, утверждала Марина, и мнения своего никогда не меняла (по крайней мере на людях). Родзевич не без возражений, но в итоге с этим согласился. В любом случае руки красноречивее лица.

Приведу свидетельства тех, кто близко с Мариной общался.

Наблюдения Веры Гучковой-Трейл, ближайшего друга Марины, которая очень ей помогала – и психологически, и конкретно, когда та родила сына, категоричны без обиняков: «Мур, конечно, не был сыном Серёжи. Знал ли он это – не знаю, но он об этом не говорил. К.Б. считает, что Мур от него. Он был очень близок с Серёжей и потом остался его другом. Он, конечно, испытывал угрызения совести из-за Марины. Тогда все считали, что Мур его сын. Он всюду говорил про Марину: „C'était la grand amour de ma vie (Это была женщина моей жизни)“. Когда я приехала, я сказала ему: „Что за чушь, зачем ты бросил Марину, чтобы жениться на скучной Муне Булгаковой?“ А он мне объяснил: „Во-первых, она меня выдумала. Я не был такой. Год мы были вместе и мне было тяжело быть ненастоящим. А во-вторых, мне было стыдно перед Серёжей“»[35].

Наталья Резникова: «В период рождения Мура мама с Цветаевой была очень близка. Тогда говорили, что это сын К.Б. и даже, что он на него похож. А мама была убеждена, что это сын Сергея Яковлевича»[36].

Петр Сувчинский: «История с К.Б. была в Праге. А когда они все появились в Париже, всем известно было абсолютно и несомненно, что Мур был сыном К.Б.»[37].

Любопытно воспоминание, оставленное Александрой Захаровной Туржанской: «Сергей Яковлевич к нам подошёл и сказал: „Правда, он на меня похож?“ Потом был разговор с Мариной. Она при мне сказала: „Говорят, что это сын К.Б. Но этого не может быть. Я по датам рассчитала, что это неверно“»…

По свидетельству Станислава Айдиняна, литературного секретаря и редактора Анастасии Ивановны Цветаевой, она навестила сестру Марину в 1927 году в Париже, и тогда в маленьком Муре разглядела именно цветаевские черты, схожесть с их отцом, Иваном Владимировичем Цветаевым. Но ведь и эта часть, цветаевская, в Георгии-Муре была!.. Анастасия Ивановна видела и приходившего в дом Родзевича, но говорила, что Марина в ту пору разговаривала с ним уже холодно, «через плечо»…

И, наконец, К.Б.: «К рождению Мура я отнёсся плохо. Я не хотел брать на себя никакой ответственности. Да и было сильное желание не вмешиваться. (…) Эта неопределённость меня устраивала. Моё поведение я, конечно, порицаю. (…) Я тогда принял наиболее лёгкое решение: Мур – сын Сергея Яковлевича.

Я думаю, что со стороны Марины оставлять эту неясность было ошибкой. Период жизни с Мариной для меня очень дорог. Но когда родился Мур, мы с Мариной уже не были связаны, наши пути разошлись»[38].

Вероника Лосская приводит и мнения современников Марины по поводу её материнства. Отец Александр Туринцев: «У Марины по-настоящему не было острого материнского чувства ни к сыну, ни к дочери. Она искала и хотела создать *ту душу*, которая её поймет и разделит её чувства до конца»[39]. Остановимся на этом наблюдении отца Александра. Как религиозный человек он уловил в ней поиски *другой души*, которой она могла бы доверить себя, что ещё раз показывает её природную нестандартность и понимание себя.

Что касается детей Марины и прежде всего Мура, то все обязательно отмечали его ненормальную полноту (просто Марина его перекармливала), странный взгляд, умение умно говорить и взрослое отношение ко всему. Он всегда кстати вставлял в разговор иностранные слова, знал их и понимал. Был развит не по годам.

Мур и его судьба – отдельная тема, не коснуться её просто невозможно не только потому, что он был самым любимым у Марины, её радостью и утешением. «Мальчиков нужно баловать, – им, может быть, на войну придётся»[40]. – Увы, в прозорливости ей не откажешь. На редкость умный и начитанный ребёнок оставил ценные Дневники[41]. Казалось, что они близки и отношения между ними доверительные. Однако в Советском Союзе это единство стало трещать.

Не менее важны и воспоминания о Муре его современников, запечатлевших, кстати, некий разлом во взаимоотношениях матери и сына, оказавшихся в трагической ситуации – тотального одиночества, в полной неясности стране: в сентябре 1937 г. арестована сестра Анастасия, она с 1938 г находилась в лагерях, где отбывала срок; Ариадна арестована в августе 1939 г., и арестована в присутствии Марины; затем, в октябре 1939 был арестован и Сергей Яковлевич. Начинается война, а с ней – эвакуация, поиски жилья, работы, смысла жизни…

Приведу отрывки из публикации Дмитрия Сеземана – о том времени, Марине и Муре, об их бытии в Советской стране. Я сознательно останавливаюсь на этих воспоминаниях: Дмитрий Сеземан был едва ли не единственным другом Мура. Ниже – записанная с ним беседа.

«Из всех агентов НКВД в эмиграции самым известным, пожалуй, был Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой…

– …Сергея Яковлевича я очень любил. Он был удивительно приятный человек, благожелательный, совсем не агрессивный, не воинственный, всегда готовый помочь. И когда потом я узнал, что он убил Рейсса *(резидента советской разведки в Европе, который после московских процессов в 1936-1937 гг. порвал с Советами и 4 сентября 1937 года был убит в окрестностях Лозанны – Ю.К.)*, то решил: „Это кто-то другой! Не может быть, чтобы тот Сергей Яковлевич, тот Серёжа Эфрон, которого я знал, которого моя мама очень любила, с которым мы вместе жили в Болшеве на даче, мог по приказу кого-то убить!“ И тем не менее это могло быть».

На вопрос о Марине Дмитрий Сеземан заметил:

«–…Она была очень неприятным человеком в общежитии, труднопереносимым, но это другое дело. Такая деятельность в чью бы то ни было пользу была слишком чужда её глубокому существу.

– Какие же были отношения у Цветаевой с Эфроном?

– Очень странные. Они были на „вы“ – так же, как их сын Мур, мой большой друг, им говорил тоже „вы“… Цветаева жила совершенно своей жизнью, она была совсем не монахиней, у неё были всякие романы, причём некоторые – придуманные. Когда вы читаете её переписку с Рильке, с Пастернаком, то такое впечатление, что это был пламенный роман, а это роман, который мог развиваться только на расстоянии. Когда Марина Ивановна оказалась близко к Пастернаку, то ничего не произошло…».

Запечатлённые Дмитрием Сеземаном страницы совместной жизни его семьи с Мариной и Муром на даче в Болшево драгоценны простой правдой и общей атмосферой, чуждой абсолютно всем здесь собравшимся: все они ожидали увидеть совсем другую страну.

«– Дача была дана нам и Сергею Яковлевичу с дочерью Алей. Марина Ивановна с Муром приехала двумя годами позже.

– Разве Сергей Эфрон за два года не понял, куда он попал? Почему он не остановил Марину Ивановну?

– Он, конечно, всё понял, хотя и не предполагал, что с ним будет, но ему казалось, что такова судьба!

– Как складывалась ваша совместная жизнь на даче?

– …Всем известно, что Марина Цветаева – великий поэт, и об этом люди более компетентные, чем я, уже все прекрасно сказали. Но в общежитии Марина Ивановна была человеком совершенно не-вы-но-си-мым. Она не любила человечество, она не любила человеков. (…) Она меня терпела только потому, что мы с Муром были большие друзья и Мур не позволил бы ей меня с презрением отпихивать. (…)

– Вы заметили, что она читала, как на плахе…

– Это так и есть. Она нас в Болшеве часто приглашала послушать её стихи. И образ Цветаевой, читающей стихи, на меня действовал необыкновенно. Вся она была серой – волосы серые, одежда серая, запястья в сером серебре, дым папиросный серый. Она читала с такой напряжённостью, как будто за каждый стих отвечала жизнью. Мне посчастливилось встречать и слушать Ахматову и Пастернака,

но никто не производил такого впечатления. Но Цветаева читала, словно жизнью клялась за каждый стих, как будто ничего после этого уже не будет. КАК НА ПЛАХЕ!».

Интересно, что к Муру Дмитрий Сеземан стал относиться с такой теплотой после того, как ему передали написанное сразу после самоубийства матери письмо Мура, которое к нему пришло спустя 50 лет!

«Он мне рассказывает в нём о самоубийстве Марины Ивановны… Мура я очень любил. Он был моложе меня на 4 года, но, несмотря на это, гораздо умнее. Его ум был острее, глаз вернее. У нас были удивительные отношения. Я всегда с большим интересом наблюдал, как он на своих родителей смотрел таким критическим и слегка насмешливым взглядом. Он пишет: „Митька – мой единственный друг“. Если бы меня раньше спросили, я бы сказал, что Мур был действительно моим лучшим другом. Но я не думал, что он мог о ком-то сказать – „это мой лучший друг“. Это было не в его характере. Оказывается, мог. И мне стало стыдно, что я о нём мог плохо думать. Нам с ним было действительно хорошо. Мы с Муром рассказывали друг другу абсолютно все. Мур был чрезвычайно жесток в своих суждениях… Когда уже всех посадили – его отца, сестру, моих родителей, мы встречались с Муром весь 40-й год. Мы встречались на Пушкинской, и я читал вполголоса ему стихи Поля Валери «Морское кладбище». Марина Ивановна не любила Валери, поэтому Мур не знал этого поэта. Благодаря этим стихам мы были как бы отделены от всего окружающего нас, в этом заключалась какая-то только ему и мне присущая свобода. Мы уже ни на что не надеялись, и казалось, что ничего худшего с нами случиться уже не могло. Оказалось – могло. Его убили, меня посадили, сослали на каторгу».

К чести автора надо заметить, что наблюдения и сделанные им наброски, если можно так сказать, к портрету Мура, невероятно важны прежде всего потому, что он, как известно, мало с кем был откровенен. Более того, за судьбой этих мальчиков невольно высвечивается царящая тогда в стране обстановка и общая растерянность от непонимания происходящего. Увы, но это неумение распознавать суть ситуации, в которой оказываешься, сохранилось и поныне. Может возникнуть недоуменный вопрос: а зачем так много внимания уделять Муру, когда речь идёт о Марине и Родзевиче? Я в них смысл вижу.

«– С вашей точки зрения, Мур все доверял дневникам или какие-то вещи не решался записывать?

– Я не читал его дневники, а только книгу „Письма Мура“. Я там впервые увидел, как он обо мне часто пишет. Он был человеком, у которого критический настрой ума заглушил всё остальное. Если бы у него было желание или писательская способность, он бы мог стать замечательным, беспощадным портретистом человеческого общества, в котором он жил.

– Мур хотел одно время быть карикатуристом…

– Это он замечательно делал. Причём, никто не оставался вне его внимания, даже мать, отец, сестра – все они его в какой-то мере даже боялись. Он был, если угодно (видит Бог, как я его любил), каким-то инопланетянином. Поэтому такой пустяк, как советская власть, его совершенно не тревожил».

Есть некоторые детали в биографии Марины, которые Д.Сеземан точно запечатлел:

«– Когда вы видели Марину Ивановну и Мура в последний раз?

– …Последний раз я его видел в Ташкенте на железнодорожном вокзале, когда ехал в Ашхабад. Поезд долго стоял, и мы успели обо всём поговорить. …Он мне рассказывал о всех его невзгодах после смерти матери, о том, с каким трудом он возвращался в Москву из Елабуги, как Марина Ивановна после ареста Серёжи пошла к Эренбургу и сказала: „Что же вы меня в Париже уговаривали вернуться? Вы мне говорили – у вас там ваш читатель, ваша литературная жизнь! Что вы здесь в эмиграции прозябаете? Кто вас читает? – И что теперь?“ И Эренбург ей ответил: „Марина, вы не понимаете, что есть высшие интересы, которые над нами, и мы должны смириться и продолжать писать и т.д“. Тогда она сказала: „Вы негодяй!“ и ушла, хлопнув дверь.

– Выходит, именно Эренбург сыграл роковую роль в её судьбе?

– Роковую! И очень некрасивую».

Я специально не сократила текст рамками только Мура, чтобы подчеркнуть тут ещё раз и другое: мало кто по-настоящему любил и ценил Марину. И конечно, зачем Эренбург так уговаривал Марину вернуться, объяснить не берусь, разве что по заданию. Но мне не кажется, что он сыграл «роковую роль» – она всё равно поехала бы. В этом она видела свой долг.

«Арестован мой лучший, закадычный друг, единственный человек, с которым мне было хорошо». Это последняя запись в Дневнике Мура о Дмитрии Сеземане[42]…

Никто из них не заговаривает о Родзевиче. Интересно, а Мур его помнил? Думаю, что да, и не просто помнил, а наверняка с ним общался, хотя, по-видимому, особого интереса к нему не питал. Показательна в этом смысле их последняя встреча, столь же блестяще разыгранная, как и все другие сцены у Родзевича. Марк Слоним так описывает *неожиданную* ситуацию: «С героем „Поэмы Горы“ и „Поэмы Конца“ последняя встреча вышла случайной: Родзевич догнал их с Муром на какой-то парижской улице и, подхватив их под руки, пошёл посередине. На следующий день они уезжали»[43]. Трудно не разглядеть здесь, разумеется, спланированного, а вовсе не случайного прощания накануне большого расставания, которое обернулось вечностью.

По словам Романа Гуля (Берлин 1922 г.), Марина «никак не была литератором… Она была каким-то Божьим ребёнком в мире людей. И этот мир её своими углами резал и ранил…» – точное наблюдение[44]. И далее прозорливо замечает: «Цветаева не выжила в Берлине, не выжила в Праге – уехала в Париж. Она – настоящий поэт – в вечной бедности, в тревоге и без друзей. Она, наверное, нигде не выживет…»[45].

Отношения Марины и Родзевича в их пражский период прослеживает Ирма Кудрова в книге «Путь комет. После России», с привлечением поэзии и писем тех лет[46]. И везде ставит даты.

«Третьего сентября вместе с другими русскими детьми Аля отправится в Моравску Тшебову – начинается учебный год в русской гимназии. Эфрон уедет вместе с дочерью. Седьмого сентября следом за ними отправится и Цветаева – помочь Але войти в непривычную для неё гимназическую жизнь». Марина, в сущности, остаётся предоставленная самой себе, и эта свобода неожиданно дарит ей счастье, в предчувствии которого она пока просто находится, но его фиксируют её стихи, которые приводит Кудрова:

Как бы дым твоих ни горек
Труб, глотать его – всё нега!
Оттого, что ночью – город –
Опрокинутое небо.

С сентября 1923-го по май 1924-го Кудрова обозначает как «второй период чешской жизни Цветаевой – её девять месяцев в Праге. Любовь, ворвавшаяся бурей „во вполне земном её варианте“». Пожалуй, именно этот вариант был исполненной мечтой Марины – союз действительно был земным. И как всё по-настоящему земное, не мог не стать небесным. Наверное, оба это почувствовали почти одновременно. И Марина не может этого не зафиксировать письмом, написанным утром после свидания.

«Мой дорогой друг, друг нежданный, нежеланный и негаданный, милый чужой человек, ставший мне навеки родным, вчера, под луной, идя домой, я думала (тропинка летела под ногами, луна летела за плечом) – Слава Богу, слава мудрым богам, что я этого прелестного, опасного, чужого мальчика – не люблю! Если бы я его любила – я бы не оторвалась…»[47].

Есть огромное искушение на основе писем Марины составить её философию – она в них отчётливо выражена, более того, в таком контексте адресат не имеет никакого значения. Переходя от одного своего корреспондента к другому, она не начинала мыслить заново: она свои размышления продолжает и развивает. Живший в ней философ существует в том же поэтическом русле, внутри которого тоже говорит Душа: «Моя душа – мгновений след» – стихотворение «Молитва» написано в Тарусе, когда ей было семнадцать лет! Её философия – это философия Души, и судьба Марины Цветаевой всем нам – сильнейший пример необычности её присутствия на земле: не человек, а Душа в опоре на Дух. Для нас Душа – что-то непонятное в нас самих, неуловимое, с годами мы научаемся её различать – по тоске, внезапно охватывавшей, неясным помыслам и желаниям, интуиции, наконец, постепенно приходит ощущение её опоры, неожиданных подсказок, и при этом не расстаемся с собственной самоуверенностью. Мы давно привыкли: Душа возникает со смертью тела. Она – воплощение прожитого. А что значит – родиться Душой? Заранее знать свой жизненный путь, но стараться его обогнать?

Душа Марины абсолютно самостоятельна и независима. Лишь тело – её отголосок, может, поэтому она никогда не болела, оно было у неё, как у инопланетянки: крепкое, сильное, здоровое. Вот ещё почему оно нуждалось в соприкосновениях – чтобы чувствовать земную жизнь, которая её, однако, не баловала…

С первых же стихотворений в ней начинает говорить Душа, это она выбирает себе попутчика и средство общения. А потому «понятна во всей её глубине и трагизме реплика Марины Цветаевой на уничижительную рецензию по поводу сборника её стихов советского критика Корнелия Зелинского, охарактеризовавшего поэзию Цветаевой как формализм. Цветаева отвечает на эту рецензию очень коротко: *„Человек, смогший аттестовать такие стихи как формализм – просто бессовестный. Это я говорю – из будущего. М.Ц.“*»[48]. Её язык – поэтический язык общения Души с миром, Вселенной, о чём бы ни писала и что бы ни создавала: стихи, поэмы, прозу, письма, Дневник… Всё пронизано поэтическим, образным, метафорическим языком и, соответственно, видением. Прежде всего мысль и поэтические образы, среди которых метафоре принадлежит едва ли не ведущая роль. «В метафоре раскрывается *метафизическое измерение языка*. В метафоре заключён дух Божий, который веет, где хочет!»[49], – утверждает русский философ Руслан Лошаков. И уточняет, ссылаясь на немецкого учёного Гумбольдта: «Язык – это *энергия*, то есть чистая процессуальность, чистое становление»[50]. При всей многогранности творчества Цветаевой, «главное в нём – „это сотрудничество с высшими силами“», – пишет Наталья Шлемова[51], обратившись к анализу трактовки сверхъестественного у Марины Цветаевой в сугубо научном ключе, но и «в парадигме космической, этико-эстетической философии Живой Этики, эстетический дискурс которой представляет собой по сути метаэстетику нового цикла и необходимые основания для исследования эстетики трансцендентного». Можно предположить, что именно в русле этой эстетики и находится «поэтическая эстетика М.И. Цветаевой»[52].

Приведённые здесь мнения Р. Лошакова и Н. Шлемовой для меня чрезвычайно важны прежде всего своей логикой доказательств: без обращения к высшим сферам Цветаева – не только как поэт, но и как личность – не будет нам доступна.

Уносясь в высь, Марина всеми силами стремилась удержаться на Земле, но Земля и люди её редко воспринимали адекватно. Ещё в переписке с Бахрахом (на которого ссылается Кудрова) из Моравской Тшебовы Марина упредительно высказывает то, что можно назвать формулой исполненности – в плане действия, и вместе с тем выводом – в плане мысли: «События жизни, которых не предугадаешь»[53], ибо «наполненное энергией слово – событийно. Поэзия есть *событие языка*».[54]

Событие для неё – не просто случай или стечение обстоятельств – оно предопределено свыше. Поразительно, но в своём эпистолярном общении с Родзевичем, в частности в письме от 8 сентября, Марина продолжает анализировать случившееся, а не переживать чувства: «Я никогда не смогу сказать Вам, как Вы за эти несколько дней стали мне дороги»[55] (в своём стремлении выявить некую философскую систему Цветаевой на основе именно писем я следую за хронологией её жизни, выстроенной Кудровой, скрупулёзно, по дням воссоздающей её пражский период любви).

Своим чувствам она посвящает стихи, каждый из которых встраивается в определённую линию движения. Особенно показательными в этом плане станут её дальнейшие стихи: «Автобус», но ещё больше – «Попытка комнаты», даже если учесть, что «Попытка комнаты» возникла в ответ на сон, о котором ей поведал Пастернак. Выскажу крамольную мысль: принято считать, что «Попытка комнаты» – отклик на письмо Пастернака, что верно – в ней много образов, даже цитат, напрямую связанных с этим его письмом, но есть и реалии, которые перекликаются с Родзевичем, встречами с ним – ведь они были конкретно до 1926 года, когда стихотворение было написано. И легко встают в один ряд с предыдущими. В её стихах всегда важна каждая строка. Особенно, когда она впрямую обращена к Родзевичу.

Никогда не узнаешь, что жгу, что трачу –
Сердец перебой –
На груди твоей нежной, пустой, горячей,
Гордец дорогой…

Прав, что слепо берешь. От такой победы
Руки могут – от плеч!..

Что победа твоя – пораженье сонмов,
Знаешь, юный Давид?

«Овраг 2»

«Овраг», – отмечает Ирма Кудрова, – она отсылает из Моравской Тшебовы Родзевичу – с просьбой: «Прочтите эти стихи всем существом, как никогда стихов не читали… Ведь это точнейшее отражение часа, которого Вы участник – ежели не творец!»[56]. И добавляет: «Думаю о Вас неустанно, – после чего вполне конкретно: – Вернусь в понедельник, 17-го, с поездом, выходящим в 10 ч. и приходящим в Прагу в 4 ч. 40 мин. (Тот же вокзал.) Никому не пишу о своём приезде. Если можете – встретьте меня»[57].

Ещё одно подтверждение события!

Чем же эта любовь её так пленила? Что в нём такого, чего не переживала ранее? Всё! Она сама!

«Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я и до Вас любила: деревья! Всё любила, всё любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал (…) Отсюда сознание: не-женщина, дух. Не жить – умереть»[58].

Не знаю, насколько можно судить о Родзевиче по его высказываниям – ведь и в них он сознательно уходил от того, чтобы не думать, не размышлять, а просто радоваться жизни, внезапно подарившей им счастье. Ирма Кудрова считает, что «он полюбил в ней живую, земную женщину. И при этом отказывался видеть её такой, какой она сама себя привыкла видеть: „голой душой“, истинно существующей лишь в парении, лишь оттолкнувшись от плоти земли. Жизнелюбивый и энергичный, он назвал слабостью то, что она считала своей силой; восхитившись, он не подчинился ей. Не защищало ли его непонимание стихов, так сильно её огорчавшее?.. Он просто оставался собой»[59].

У меня иное ощущение: он не то, чтобы не понимал её стихов, хотя внешне так оно и выглядело, раз отнекивался, но Марина его не одухотворяла, а благодарила, он открыл ей сферу жизни, которая была ей недоступна. «Я сказала Вам: есть – Душа. Вы сказали мне: есть – Жизнь». И в ответ услышала: «Вы всё можете!»[60]. Это ли не признание в ней всего, и поэта в первую очередь? Он просто не считал себя вправе судить о таких стихах, понимая, что это очень высокая поэзия, если под словом «высокая» подразумевать Вселенную.

«С Родзевичем, – уточняет Кудрова, – она впервые ощущает высоту цельной земной любви, её горние высоты. Он уверенно противостоял её пониманию собственных пределов»[61]. Скорее – не противостоял,

а расширял её личные представления о человеческом существовании, ибо всё в её жизни измерялось Душой, которая не знала, что такое счастье. Сейчас она его испытала, в чём-то себе на горе, поскольку ни с чем подобным её судьба больше не встретится. Да и это событие окажется в её жизни всего лишь эпизодом. Но всё то, что с ней происходит, она фиксирует: главным образом в письмах, продолжая развивать свою философию Души, и тут надо отметить главное – свой опыт она перевоплощала в систему, но рассматривала всё это исключительно как явление личное, индивидуальное, такое только у неё и только с ней. Не случайно она будет просить Родзевича «уничтожить письма, не хранить их. Он её не послушался – сохранил всё»[62]. Ещё одно доказательство не просто его любви – подлинной, глубокой, неповторимой, но и понимания её сути, благородства натуры, а ценил он в ней абсолютно всё: и её женскую сущность, и её умные и наблюдательные письма, и её столь ему *непонятные* стихи: полагаю, ему было неловко высказываться о её таланте, да ещё громогласно, он, в который раз, предпочитал изображать недоросля. Точно так же он не мог не догадываться, что творилось в её душе, потому что и сам не был свободен от угрызений совести перед Сергеем, своим другом.

Кудрова обращает внимание на то, как часто письма Марины, написанные разным адресатам, пронизывает «пронзительно-женская просьба, высказываемая с робкой и страстной надеждой: „Будьте моим оплотом!.. “»[63]. Эти слова она пишет даже двадцатилетнему Бахраху, потом Родзевичу, «так напишет Пастернаку, так – летом 1926 года – Рильке…». Кудрова считает, что «неприспособленность Марины к эмпирическому миру»[64] заставляла её искать защиту. Однако и слабость её, и поиск поддержки – всё это просьбы сильного человека! Примечательно, что не к каждому она обратится с подобной жалобой, если не мольбой, а только к личности выдающейся, которой она может довериться, в виде благодарности за то, что открывают в ней *человека*.

Марина отдавала себе отчёт в том, насколько запутана её ситуация. И не просто запутана, а безнадёжна. И трагизм, свойственный её мироощущению, только усиливался.

Древняя тщета течёт по жилам,
Древняя мечта: уехать с милым!..

Вон хочу! (В час тупящихся вежд
Разве выступаем из одежд?)

…За потустороннюю границу:
К Стиксу!..

Стихотворение написано 7 октября 1923 г., а неделю спустя – 14 октября («Побег») настроение меняется на прямо противоположное.

…Верстовая снасть
Столба… Фонари из бреда…
О нет, не любовь, не страсть,
Ты поезд, которым еду

В Бессмертье…

«Побег»[65]

Таким было её состояние, которое запечатлело написанные ею в тот период абсолютно разные по тону и настроению письма, стихи. И подспудно сверлит мысль о разлуке: она необходима. Собственно, этот страх начал преследовать с самого начала, ведь предчувствие строится на чувстве долга, а его – как побороть?

Всё, что мучает, изводит, бередит, она обязана изложить, сказать об этом – любому. Не адресат важен, а возможность поделиться. Не случайно Ирма Кудрова, рассматривая эти месяцы – сентябрь-октябрь, постоянно даёт их как бы параллельно: Бахрах и Родзевич: не потому, что одного Родзевича Марине было мало (с Бахрахом чисто эпистолярные отношения), но она удивительным образом старалась не замутить свои чувства к Арлекину, а потому почти сразу – в одном из первых писем высказала Родзевичу свои сомнения:

«Ещё не поздно остановиться, дружочек родной. Не дайте мне ввыкнуться и не ввыкайтесь сами. Переболит! Мне нужен врач души, а не друг…»[66].

В эти ещё такие чистые и ясные отношения она не вносит свои сомнения, житейские наблюдения, безжалостность к себе, опирающуюся на феноменальную прозорливость, такие мысли она направляет Бахраху, он – её друг: «…м.б. я действительно сделаюсь человеком, **довоплощусь** *(выделено Е.Т.)*. Друг, друг, я ведь дух, душа, существо. Не женщина к Вам писала и не женщина к Вам пишет, то, что *над*, то, с чем и чем *умру*» (от 29 сентября 1923 г.)[67]. Откровеннее сказать о себе невозможно. Так будем же верны ощущению Марины и примем её исповедальность как истину. Почему-то принято считать, что стихи, поэзия – это нечто придуманное, навоображённое, то, чего нет, но кажется, что есть. В поэзии Марины всё – правда. Скажу больше: она не одна такая, с той лишь разницей, что подобным ей – явившимся в мир с осознанием себя как воплощённой души, обычно ставят специфический диагноз: шизофреник. Между тем, в отличие от них (всё это предположения, но основанные на наблюдениях) она единственная сумела своё состояние осознать, охарактеризовать и даже воплотить в поэзии, это её спасало, её поэтическое чутье и редкая интуиция именно в отношении себя. Обычно у нас интуиция срабатывает в отношении других, реже в отношении себя. Она в этом уникальна. И это очень важно подчеркнуть, поскольку именно эту её уникальность почувствовал Родзевич и шёл ей во всем навстречу. Нам всем – урок любви.

И ещё одно, более общее объяснение: Небо не могло не знать о той катастрофе, которая надвигалась на Россию, и с 80-х годов XIX века направляло свою сверхъестественную силу гармонии на страну, прославившуюся впоследствии невероятным подъёмом в области промышленности, искусства, литературы… Это был период небывалого взлета культуры гениальности. Но и он был сломлен, подавлен чёрными силами революционного беспутства. Разгулу зла невозможно сопротивляться. Оно и убило Марину Цветаеву. **Её** самоубийство было спровоцировано собственным молчанием – в подобном бесправии не только что стихи не писались. Творчеству места не было.

Довоплощусь… Неужели она полагала, что ей, родившейся Душой, – сложившейся и зрелой, надобно достигать какую-то ещё ступень развития?

Борения в ней её не отпускают. И виной всему – её Любовь: ясная, понятная, всё вокруг разрушающая – потому, что ничего подобного с ней не было, но ещё и в силу жесткой системы координат, которую применяла к себе. И правда, любовь к Родзевичу её захватила своей простотой, в которой не было ни лукавства, ни лицемерия. Подготовиться к разрыву она не смогла. И это порождало нервозность, постоянную, преследующую: «пощадны только души…»[68], – словно рефрен, который твердит сама себе, не находя покоя. Неуверенность в будущем, вернее уверенность, что будущего не будет: « – О завтра моё! – тебя / выглядываю – как поезд / Выглядывает бомбист…»[69]. По стихам проносится железнодорожный состав, который не выходит из её сознания: мечта уехать, всё бросить, решиться…

Площадка. – II шпалы. – и крайний куст
В руке. – отпускаю. – Поздно
Держаться. – Шпалы. – От стольких уст
Устала. – Гляжу на звезды.

«Поезд жизни»

Древняя тщета течёт по жилам,
Древняя мечта: уехать с милым! [70]

Прослеживая жизнь Марины, с привлечением её стихов и писем, Ирма Кудрова, которая, мне думается, ближе всех подошла к сути драмы счастья, я бы даже сказала по-романному, выстраивает довольно убедительную логику её ухода от Родзевича, не скрывая, что сама видит: это было расставание в чём-то показное, для людей, чтобы они об этом знали. А в действительности, пока не покинула Париж, они продолжали общаться. По-видимому, не только в переносном, но и в прямом смысле. Не случайно же он «догнал» встретившихся ему Марину и Мура, о чем я уже вспоминала.

Любые воспоминания так или иначе субъективны. Объективны только предметы осязаемости. В итоге, они – единственное доказательство. Как портреты Марины, сделанные Родзевичем, – самый красноречивый знак её присутствия в нём.

«… я могу дать только душу…»[71].

Литература:

[1] Марина Цветаева. Письма к Константину Родзевичу. – Ульяновск: Ульяновский Дом печати, 2001, с. 41. А также: Марина Цветаева. Письма. Собр. соч. – М.: Элис Лак, 1995, Т. 6, с. 659.

[2] Дмитрий Сеземан.«Чужак среди Чужих». См.: Юрий Коваленко. «ЦВЕТАЕВА ЧИТАЛА СТИХИ, КАК НА ПЛАХЕ». – Лицом к лицу, №44 (444). См. также: Марина Цветаева и Франция: Новое и неизданное: Сб. докладов международного симпозиума

«Цветаева-2000» / Под ред. В. Лосской и Жю де Пройар. – Париж, Русский путь, Институт славяноведения, 2002. http://russian-bazaar.com/ru/content/5963.htm
[3] Вероника Лосская. Марина Цветаева в жизни: Воспоминания современников. – М.: ПРОЗАиК, 2011, с. 234.
[4] Марина Цветаева. Письма к Константину Родзевичу, с. 44.
[5] Н.А. Шлемова. Философия любви в «Поэме Горы» и «Поэме Конца» М. Цветаевой. – См. Эстетика трансцендентного в творчестве Марины Цветаевой. – М.: 2007. Приложения. С. 91-109. *(Замечу, что статья написана в 1989 г. – ЕТ).* http://psihdocs.ru/estetika-transcendentnogo-v-tvorchestve-marini-cvetaevoj.html
[6] Вероника Лосская. Марина Цветаева в жизни, с. 95.
[7] Там же.
[8] Марина Цветаева. Сочинения в двух томах. – М.: Худ. лит., 1980, с. 93.
[9] Марина Цветаева. Собр. соч. В 7 т. Стихотворения, т. 1, кн. 1, с. 178.
[10] Вероника Лосская. Марина Цветаева в жизни, с. 94.
[11] Марина Цветаева в воспоминаниях современников. Годы эмиграции. – М.: Аграф, 2002, с. 40.
[12] Вероника Лосская. Марина Цветаева в жизни (Неизданные воспоминания современников). – Нью-Йорк, Эрмитаж, 1989, с.87-88. Издание в России: Вероника Лосская. Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников. – М.: Культура и традиции, 1992.
[13] Вероника Лосская. Марина Цветаева в жизни, с. 114.
[14] Там же. С. 115.
[15] Там же.
[16] Н.А. Шлемова. Философия любви в «Поэме Горы» и «Поэме Конца» М. Цветаевой, с. 91 – 109.
[17] Семён Извеков. Константин Родзевич. Шпион Серебряного века на службе НКВД. https://vatnikstan.ru/archive/rodzevich-shpion/ 21.10.2020.
[18] Марина Цветаева. Собр. соч. В 7 т. Стихотворения. Т. 1. Кн. 1, с. 202 *(замечу, оно написано было в Коктебеле).*
[19] Семён Извеков. Константин Родзевич…
[20] Вероника Лосская. Марина Цветаева в жизни. Воспоминания современников. – М.: ПРОЗАик, 2011, с.114.
[21] Там же… с. 109.
[22] Марина Цветаева. Письма к Константину Родзевичу, с. 11.
[23] «Советское прошлое не забыть!». Михаил Козаков – об интеллигенции и поисках правды: См.: Аргументы и факты. – СПб, 03.02.2010. https://spb.aif.ru/culture/event/132878
[24] Вероника Лосская. Марина Цветаева в жизни, с. 95.
[25] Марина Цветаева. Письма к Константину Родзевичу. – Ульяновск.: Ульяновский Дом печати, 2001. – 200 С.
[26] Вероника Лосская. Марина Цветаева в жизни, с. 95.
[27] Ирма Кудрова. Путь комет. После России. https://coollib.com/b/268646/read
[28] Анастасия Цветаева. Воспоминания. Изд. 3, дополн. – М.: Советский писатель, 1984, с. 693.
[29] Вероника Лосская. Марина Цветаева в жизни, с. 102.
[30] Там же, с. 96.
[31] Там же.
[32] Вероника Лосская. Марина Цветаева в жизни, с. 96-97.
[33] Там же, с. 98-107.
[34] Там же, с. 98.
[35] Там же, с. 111-112.
[36] Там же, с. 112.
[37] Там же, с. 113.
[38] Там же, с. 113.
[39] Там же, с. 157.
[40] Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. – М.: Эллис Лак, 1997, с. 353.
[41] Георгий Эфрон. Дневники. В двух томах. – М.: Вагриус, 2004. / Издание подготовили Е.Б. Коркина, В.К. Лосская.
[42] Георгий Эфрон. Дневники. Т. 2, с. 320.
[43] Ирма Кудрова. Версты, дали. Марина Цветаева: 1922-1939. – М.: Сов. Россия, 1991, с.366.
[44] Ирма Кудрова. Путь комет. После России. https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kudrova-irma-viktorovna/putj-komet-posle-rossii
[45] Там же.
[46] Там же.
[47] Марина Цветаева. Письма к Константину Родзевичу, с. 9.
[48] Из лекции профессора философии и феноменологии Свободного университета Руслана Лошакова, прочитанной им 10 ноября 2022 г.: «Метафизическое измерение языка и вопрос о его начале».
[49] Там же.
[50] Там же.
[51] Н.А. Шлемова. Философия любви в «Поэме Горы» и «Поэме Конца» М. Цветаевой, с. 91-10 .
[52] Н.А. Шлемова. Эстетика трансцендентного в творчестве Марины Цветаевой. – М.: 2007. (Из авторской аннотации к работе).
[53] М. Цветаева. Из письма А.В. Бахраху от 9/10 сентября 1923 г. См. Цветаева М. Собр. соч. Т. 6, кн. 2: Письма, с. 278.
[54] Из лекции профессора философии и феноменологии Свободного университета Руслана Лошакова.
[55] Марина Цветаева. Письма к Константину Родзевичу, с. 20.
[56] Марина Цветаева. Письма к Константину Родзевичу, с. 27.
[57] Там же.
[58] Марина Цветаева. Письма к Константину Родзевичу, с. 41, 43.
[59] Ирма Кудрова. Путь комет. https://coollib.com/b/268646/read
[60] Там же.
[61] Там же.
[62] Там же.
[63] Там же.
[64] Там же.

[65] Марина Цветаева. Собр. соч. В 7 т. Стихотворения. Т. 2, с. 232-233.
[66] Это письмо было в другой тетради М.Ц. и не вошло в число писем, отправленных Родзевичем Але. В нем предполагают несколько черновиков. См.: Цветаева Марина Ивановна. Письма 1905-1923. 47-23. К. Б. Родзевичу. – *ЕТ.* ВикиЧтение. https://document.wikireading.ru/hcH6wg7qAT
[67] Марина Цветаева. Собр. соч. Т.6, кн. 2, с. 288.
[68] «Мужчины и женщины беспощадны, пощадны только души», – из письма Марины Цветаевой А.В. Бахраху от 29 сент. 1923 г. – См. Марина Цветаева. Собр. соч. В 7 т. Письма. Т. 6, кн. 2, с. 289.
[69] Марина Цветаева. Собр. соч. В 7 т. Стихотворения. Т. 2, с. 232. «Побег».
[70] Там же, с.232-233.
[71] «В октябре в дневниковом блокноте появится запись – о себе и Родзевиче, но звучит она уже как заготовка к будущей «Поэме Конца»: «Ты просишь дома, а я могу дать только душу…». – См.: Ирма Кудрова. Путь комет. https://coollib.com/b/268646/read.

МАЙЯ ЛЕВЯНТ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА О ПОЭТАХ-СОВРЕМЕННИКАХ

Объяснять стихи? Растворять (убивать) формулу, мнить у своего простого слова силу большую, чем у певчего – сильней которого силы нет, описывать – песню! Как в школе: «своими словами» лермонтовского Ангела, да чтоб именно своими, без ни одного лермонтовского – и что получалось, Господи! до чего ничего не получалось, кроме несомненности: иными словами нельзя. Что поэт хотел сказать этими стихами? Да именно то, что сказал).

Не объясняю, а славословлю, не доказую, а указую…

М. Цветаева

Трудно назвать поэта серебряного века, о котором бы М. Цветаева не оставила своих высказываний. Стихи-посвящения, статьи, воспоминания, письма адресованы Брюсову, Бальмонту, Белому, Блоку, Ахматовой, Волошину, Маяковскому, Есенину, Пастернаку…

Что это? «Соревнования короста» – как она сама выразилась? Только частично. Почтение к Поэту и Поэзии, понимание, что поэт нуждается в оценке, внимании, смотр состояния поэзии, разговор не только с поэтом, но с читателем. Цветаева расставляет верстовые столбы, указует – где непременно надо остановиться, под каким углом рассмотреть явление. Её внимание к самому поэту безмерно: восхищение, благодарность, бросок на помощь, когда поэт в ней нуждается.

Вот в «Слове о Бальмонте»:

«Господа. Пройдут годы. Бальмонт есть литература, а литература – есть история. И пусть не останется на русской эмиграции несмываемого пятна, равнодушия, с которым она позволяет страдать больному великому поэту».

«Восхищаться стихами – и не помочь поэту ! Пить воду и давать источнику засориться грязью, не вызволить его из земной тины, смотреть руки сложа и даже любуясь его „поэтичной“ зеленью» – это из воспоминаний о Белом.

Он пишет ей, оказавшись в беде, растерянности:

«Голубушка! Родная! Только Вы! Только к Вам. Найдите комнату рядом, где бы Вы ни были – рядом (..). К Вам – под крыло!».

Цветаева подарила нам портреты поэтов, заразила собственным восхищением их творчеством, состраданием к сложности их судеб.

«Пленённый дух» – называется её очерк о Белом, и она одна из тех, кто присутствовал на его панихиде в Париже:

(…) На панихиде по Белому было всего семнадцать человек – считала по свечам – с десяток из пишущего мира, остальные завсегдатаи. Никого из писателей, связанных с ним не только временем и ремеслом, но долгой личной дружбой, кроме Ходасевича, не было.

И никогда ещё, может быть, я за всю свою жизнь с таким рвением и осознанием не повторяла за священником, как в той тёмной от пустоты огромной церкви Сергиевского Подворья, над мерещащимся гробом за тридевять земель сожжённого:

– Успокой, Господи, душу новопреставленного раба твоего Бориса».

Заголовки цветаевских очерков, строчки из её стихов стали направляющими, концентрирующими внимание читателя – «Герой труда» – В. Брюсов, «Царскосельская муза», «Златоустая Анна всея Руси» –

Ахматова, «Боговдохновенный мастер» – Н. Гумилёв, «Молодой Державин» – Мандельштам, «Певец масс», «Первый поэт – оратор» – Маяковский.

«Обаяние Северянина так же неповторимо, как обаяние цыганских романсов. Это танго в поэзии».

«Всё дал тот, кто песню дал» – о Есенине.

Это она рассказала нам о тайном жаре Блока, о Пастернаке как о поэте природы, определила разницу между Пастернаком и Маяковским:

«Мне борьба мешала быть поэтом» – Пастернак, «Песня мне мешала быть бойцом» – Маяковский. *(Строки из стихотворения Н.А. Некрасова «Зине» (1876), которые впоследствии были использованы М. Цветаевой в её статье «Эпос и лирика современной России» (1932) для описания разницы между талантами Маяковского и Пастернака – от редакции).*

Волошин «стихи любил совершенно так, как я, то есть как если бы сам их никогда не писал, всей силой своей безнадёжной любви к недоступной силе.

И, одновременно, всякий хороший стих слушал, как свой. Всякая хорошая строка была ему личным даром, как любящему природу – солнечный луч» – это признание можно принять за объяснение особенностей цветаевских высказываний.

Как личный дар рассматривает Цветаева стихотворение Гумилёва «Мужик»:

«Дорогой Гумилёв, есть тот свет или нет, услышьте мою от лица всей Поэзии благодарность за двойной урок: поэтам – как писать стихи, историкам – как писать историю». И в то же время она характеризует его творчество в целом: «Не мэтр был Гумилёв, а мастер: боговдохновенный и в этих стихах уже безымянный мастер, скошенный в самое утро своего мастерства – ученичества, до которого в „Костре“ и окружающем костре России так чудесно – древесно! – дорос». Для многих литературоведов цветаевская характеристика стала основополагающей в рассмотрении творчества поэта.

В 1918 году Игорь Северянин был избран королём поэтов, в 1931 году он почти забытый, переживший свою славу, приезжает в Париж. После его отъезда Цветаева пишет ему письмо:

«От лица правды и поэзии приветствую, Вас, дорогой!

От всего сердца своего и от всего сердца вчерашнего зала – благодарю вас, дорогой.

Вы вышли. Поднимаете лицо – молодое. Опускаете – печать лет. Но – поэту не суждено опущенного! – разве что никем не видимый наклон к тетради! – всё: и негодование, и восторг, и слушание дали – далей! вздымает, заносит голову. В моей памяти и в памяти вчерашнего зала – Вы остаётесь молодым…

Вы выросли. Вы стали простым. Вы стали поэтом больших линий и больших вещей. Вы открыли то, что отродясь Вам было приоткрыто – природу».

Можно только сожалеть, что Северянин не прочёл этого письма – Цветаева его не отправила.

Блоковский и ахматовский циклы достаточно проанализированы, хочу сделать лишь одно замечание. Цветаева словно подслушала Пушкинскую речь Блока, она как будто вернула поэту его слова об имени Пушкина:

«Наша память хранит с малолетства весёлое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни», – сказал Блок.

Какое совпадение с первым стихотворением Цветаевой ее блоковского цикла… –

Имя твоё – птица в руке,
Имя твоё – льдинка на языке,

– вот он звук весёлого имени, вот его поэтизация.

Послушаем Блока дальше: «Пушкин так легко и весело умел нести своё творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не лёгкая и не весёлая, она трагичная».

И это запомнит Цветаева.

Чуть подробнее остановлюсь на цикле стихов, посвящённых смерти Маяковского. Они многоаспектны. Здесь и констатация самого факта смерти как главного события дня.

…Сбит передовой
Боец. Каких, столица,
Ещё тебе вестей, какой
Ещё передовицы?

Здесь Маяковский – поэт революции. Сапоги, подкованные железом, – символ этого образа:

В сапогах, подкованных железом,
В сапогах, в которых гору брал –
Никаким обходом ни объездом
Не доставшийся бы перевал –

Тут и полемика с эмигрантами, не видящими в Маяковском поэта:

Владимир Маяковский? Да – с
Бас, говорят, и в кофте
Ходил

И шутливо бравурная часть о любовной лодке, как причине самоубийства:

Фуражечку б на бровишки
И – прощай, моя джаным!
Правнуком своим проживши,
Кончил прадедом своим.

Имя Лили Брик не названо, но можно предположить, что она имеется в виду, когда упоминается Елена:

Молодец! Не прошибся!
А женщины ради – что ж!
И Елену паршивкой
– Подумавши – назовёшь.

В последней части описана посмертная встреча Маяковского и Есенина. Весьма характерно начало диалога, где один говорит о России, второй – о СССР:

А что на Рассее –
На матушке? – То есть
Где? – В Эсэсэре
Что нового?

Автор стихов знает о разногласиях между поэтами относительно будущего страны. Не хотел Есенин «жить единым человечьим общежитьем» – без Россий, без Латвий, он предпочитал сохранить Россию.

Известен эпизод: когда Маяковский звал Есенина в ЛЕФ, тот соглашался с условием, что в его распоряжении будет отдел, который он назовёт «Россиянин», на что Маяковский возражал: «А почему не „Советянин?“».

А вот разговор о певчей стае несколько странен – Есенин ушёл в 1925 году и знает о смерти Блока и расстреле Гумилёва (1921). Сологуб умер в 1928, но своей смертью. Маяковский вопросам не удивляется, возможно, видит в них посмертную забывчивость Есенина. Ну а автор цикла скорее всего таким образом показывает состояние послереволюционной России, и главную причину ухода из жизни поэтов – жёсткое разочарование в революции – «не из-за водки», «не из-за юбки».

Многоаспетность цикла, его виртуозность, кажется, снижает боль потери, личное горе затушёвывается и вообще бы не чувствовалось, если бы не эта строчка:

Враг ты мой родной.

Не назову стихи безучастными, но анализ в них превосходит чувства. В этом они сопоставимы со стихотворением Пастернака «Смерть поэта». Нет, не анализом, – отсутствием глубокого переживания, что так не похоже на Цветаеву.

В 1926 году Цветаева задумала написать реквием, посвящённый Есенину. Её отношение к поэту было противоречивым – от восторженного до уничижительного. Замысел осуществлён не был, но сохранившиеся фрагменты свидетельствуют о том, что мысль Цветаевой кружилась вокруг самоубийства, его обстоятельств:

Брат по песенной беде,
Я завидую тебе.
Пусть хоть так она исполнится
– Помереть в отдельной комнате.

Она пережила эту оглядку на самоубийство, и хотя строчки про крюк выглядят обобщённо – отстранённо, её судьба включена в это обобщение:

Жить (конечно не новей
Смерти!) жилам вопреки,
Для чего-нибудь и есть
Потолочные крюки.

В стихах о Маяковском об этом уже можно было не говорить. Оба поэта были *рядом* с Цветаевой, когда она последовала их примеру, так она прочитывала их стихи и судьбы.

———

СТАНАСЛАВ АЙДИНЯН

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ – ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

эссе

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) был самым музыкальным поэтом Российской империи. Жрец музыкального поэтического ключа, он в русской литературе создал равенство поэзии и музыки. Дар его многие сравнивали с даром певчей птицы. По отношению к таланту Бальмонта это столь же естественно и справедливо, сколь неестественно сказать подобное о Маяковском, или Кручёных. Экспромтальность и темперамент его поражали… Характеризуя Бальмонта, современники говорили об «эмоциональности, воздушно-трепетной впечатлительности»…

В литературном журнале «Ежемесячные сочинения» (за июль 1900 года), издаваемом И.И. Ясинским, характерен отклик на поэтический сборник «Горящие здания», в котором рецензент пишет: «Бальмонт поэт оригинальный, глубокий, необыкновенно музыкальный. О нём можно сказать его же словами: *«Слава создавшему песню из слез роковых, / нам передавшему звонкий и радостный стих»* (с. 243).

Паустовский, побывав на лекции Бальмонта «Поэзия как волшебство», годы спустя вспоминал о поэте: «Он заговорил тягучим голосом. После каждой фразы замолкал и прислушивался к ней, как прислушивается человек к звуку рояльной струны, когда взята педаль… После перерыва Бальмонт читал свои стихи. Мне казалось, что вся певучесть русского языка заключена в этих стихах» (К.Г. Паустовский «Золотая латынь»).

О силе влияния поэта на своё поколение свидетельствовали многие. «Кто жил в годы начала бальмонтовской литературной деятельности, тот отлично помнит, как сильны были эти впечатления, как могущественна и непобедима была власть его стихов. До него такой музыки мы не слышали, русский слух никогда не был избалован дотоле такой изумительной напевностью», – писал, в частности, Пётр Пильский в юбилейном очерке «К.Д. Бальмонт» (к 50-летию литературной деятельности), «Сегодня», 1936, № 33, 18 февраля.

Талантливейший писатель Борис Зайцев вспоминал о той искренности, с которой Бальмонт читал свои стихи: «Что именно, какие стихотворения он читал – не помню. Но отлично помню и даже сейчас чувствую то волнение поэтическое, которое и из него самого изливалось, и из стихов его, и на юные души наши, как на светочувствительные плёнки, ложилось трепетом. Кажется, это было из книги (ещё не вышедшей тогда) „Только любовь “… На некоторых нежных и задумчивых строфах у него самого дрогнул голос, обычно смелый и даже надменный, ныне растроганный. Что говорить, у всех четверых глаза были влажны».

А поэт Юрий Терапиано в очерке «К.Д. Бальмонт» писал, что однажды при выступлении – «…цитируя Баратынского по памяти, в двух местах Бальмонт ошибся, и тотчас же с места присутствующий на собрании пушкинист М.Л. Гофман его поправил. Первую поправку Бальмонт принял, но вторая его рассердила: – Вы всё время поправляете меня, – обратился он к Гофману, – но я ведь специалист по Бальмонту, а не по Баратынскому!». И в то время это звучало не столько как иронический парадокс, но как прихотливо выраженная истина.

В том же очерке Терапиано приводит важное свидетельство самого Бальмонта о начале, о истоке его поэтического творчества. Озарение и ощущение себя поэтом пришло к нему вдруг, от переживания пейзажа: «Мне было тогда 16 лет, я ехал в санях по широкой, покрытой ослепительно-белым снегом равнине. На горизонте виднелся лес, стая ворон перелетала куда-то в прозрачном воздухе. И вот, совсем неожиданно для себя, я с какой-то особенной остротой, грустью, нежностью и любовью почувствовал этот пейзаж и понял, что я должен быть поэтом».

Природа и именно природа стала и была основой его поэзии. *Разомкнутость* в природу с детства, делали стихотворения его не только напевными, но именно естественным при всей изящной и прихотливой внезапности его эпитетов.

Детство вообще определяет весь дальнейший жизненный путь человека. Живя в подсознании, оно возвращается, порой нежданно – звуком, запахом, воспоминанием. Бальмонт в стихотворении «Ночной дождь» писал: «…*Я вспоминал. Младенческие годы. / Деревня, где родился я и рос. / Мой старый сад. Речонки малой воды. / В огнях цветов береговой откос*». Здесь он, конечно, пишет о родной ему деревне Гумнищи, о имении родителей под старинным городком Шуей. О ней же пишет он и в своей автобиографической прозе.

Дорофей Бохан в «Новой искре» не без основания писал в 1936-ом году: «Бальмонта, по нашему мнению, напрасно считают родоначальником какой-то новой эры русской поэзии: как раз наоборот –

он является завершителем, последним поэтом, непревзойдённым творцом прежней пушкинской эпохи русской поэзии».

Мы можем обратить внимание на то, что эта воздушность, свобода, лёгкая непринужденность и естественность действительно свойственны как А. Пушкину, так и К. Бальмонту, рождённым в июне – Пушкин 6-го, Бальмонт 15-го… Оба под знаком Близнеца… Оба сыны неба, воздушной стихии, оба эпикурейцы, дети Солнца.

Это вовсе не говорит о том, что у Бальмонта не было поэтических новаций. Многие знатоки стихосложения, в том числе и Вячеслав Иванов, признавали, что «некоторые размеры он даже впервые ввёл». Бальмонт был, конечно, во многом новатор-первопроходец, но не новаторство было в Бальмонте главным…

Особенность литературной судьбы Бальмонта именно в том, что он был особенно актуален в те времена, когда чувство изящного было необходимой составляющей правящего класса. Образованность была в обществе эталонирована. Широта интересов уважалась и поощрялась. А общественной силой, противостоящей аристократизму, близкому миру изящных искусств, было мещанство, о чём можно подробно прочитать в «Истории русской общественной мысли» у другого современника Бальмонта, у Р.В. Иванова-Разумника. После социалистической революции именно мещанство стало советским чиновничеством и коммунистическая идеология стала лишь щитом, за которым прятались чиновники-мещане. Демократичный Бальмонт вскоре увидел – революция не дала России свободу. И в 1920 году ему выхлопотали командировку в Париж, из которой он не вернулся.

Несмотря на всю свою раннюю декларативную революционность, Бальмонт серьёзным последовательным революционером-политиком не был. У него всё кончалось эпатажными поступками и высказываниями. Хотя, как мы знаем, были в его биографии и гласный надзор полиции, и ссылка, и изгнание…

Впрочем, ещё один современник, Д. Философов писал: «Подлинный поэт всегда „в эмиграции“, если не внешней, то внутренней. Когда поэт *(Фёдор Сологуб – ред.)* говорит: „Быть с людьми – какое бремя!“, он показывает, что он и сам понимает, какая пропасть между вещим поэтом и людьми повседневности, людьми „расписания поездов“ и биржевых бюллетеней…» (Д. Философов. «Бальмонт» // За свободу! 1927, № 93 (2125), 23 апреля.). Сологуб имел в виду то, что те, кто не вдохновляет, в общении тяжелы… Это вполне приложимо к Бальмонту.

Подтверждение находим у знакомца Бальмонта по Парижу, еврейского поэта Довида Кнута: «Да, одним своим обликом и повадками Бальмонт производил впечатление „настоящего поэта“, и это приковывало к нему внимание прохожих. Одеяние его было таково, будто он только что вышел из костюмерной оперы „Богема“, а внезапные переходы от отчаяния к радости, от покоя к беспокойству, грому и молниям в глазах и звуках его необычайно певучего голоса – непредсказуемыми», – писал он.

Правильно и многократно констатировано, что в России поэты больше чем творцы рифмованных строк. Порой современники Бальмонта – Вячеслав Иванов, Андрей Белый достигали истинного ясновидения. Пророчески звучат и слова Бальмонта, когда ещё в 1914 году, говоря о футуристах, он буквально сказал о «…проявлении того кричащего, безвкусного, рекламного американизма, которым отмечена вся наша изломанная русская жизнь» (Г – нъ, «Беседа с К. Д. Бальмонтом», Северо-Западный Голос. 1914. № 2692, 20 марта).

Сказано это задолго до времени, когда в России телевидение стало проецировать в сознание россиян американские жизненные стереотипы, а улицы оделись вретищем навязчивой рекламы…

Бальмонт, не жалуя индустриально-буржуазные атрибуты западной мишуры, тем не менее вовсе не замыкался в родной речи и литературе. Напротив, он интенсивно занимался художественным переводом, перевёл, можно сказать, целый книжный шкаф мировой классики – Д. Философов говорил об этой части его наследия: «Бальмонт не переводит. Он рассказывает о том, что именно он полюбил в переводимом поэте. Он вновь творит и заражает. Прочтёте вы точный, научный, перепертый, перевод, и остаётесь равнодушным. В переводах же Бальмонта переводимый поэт магически соединяется с самим Бальмонтом. И если вы любите Бальмонта, вы не можете не полюбить и того, кого он перевёл. Для настоящего перевода нужна конгениальность между переводчиком и автором».

И эта черта делает особенно ценным его переводческое наследие. Во Франции, ещё при жизни поэта, пропала целая корзина его рукописей, среди которых было немало переводов. Случайная находка её могла бы стать подлинной сенсацией…

Мария Викторовна Каспрович, вдова польского писателя Яна Каспровича, которого Бальмонт переводил, рассказывала Сергею Поволоцкому о хрупкости душевного мира знаменитого русского поэта: «Бальмонт восхищался чудесными горными видами, но когда пришлось возвращаться, он неожиданно побледнел и приостановился». Испуганная его видом и состоянием Мария Викторовна спросила, что с ним. Бальмонт ответил ей не сразу, еле переводя дух, слабым и тихим голосом. Оказалось, что поэт страдал болезненной «боязнью пространства» и не мог заставить себя сойти даже с небольшой высоты. Он забыл, а вернее, не хотел предупредить об этом Каспрович. Теперь, когда при возвраще-

нии на «Харенду» им пришлось сходить с горы, Бальмонт не смог преодолеть охватившего его страха. «Мне пришлось буквально тащить его на руках за собой» (Копия автографа воспоминаний из семейного архива Сергея Поволоцкого (Лодзь, Польша).

О странностях, неизбежно сопровождающих выдающиеся натуры, записано во многих биографических очерках и мемуарах. Вот и Андрей Белый в мемуарной книге «Начало века» оставил о своём собрате по перу сходное свидетельство: «Раз он (Бальмонт – Ст.А.) в деревне у С. Полякова полез на сосну: прочитать всем ветрам лепестковый свой стих; закарабкался он до вершины; вдруг, странно вцепившися в ствол, он повис, неподвижно, взывая о помощи, перепугавшись высот; за ним лазили; едва спустили: с опасностью для жизни. Однажды, взволнованный отблеском месяца в пенной волне, предложил он за месяцем ринуться в волны; и подал пример: шёл – по щиколотку, шёл – по колено, по грудь, шёл – по горло, – в пальто, в серой шляпе и с тростью; и звали, и звали, пугаяся; и он вернулся: без месяца. Е.А., супруга, уехала раз в Петербург; он остался в квартире один; кто-то едет и – видит: багровы все окна в квартире Бальмонтов: звонились, звонились, звонились; не отпер – никто; и вдруг – отперли: копотей – чёрные массы; сквозь них – бьют вулканы кровавые из ряда ламп с фитилями, отчаянно вывернутыми; среди чёрно-багровых Гоморр – очертание чёрного мужа, Бальмонта, устроившего Мартинику (т.е. извержение вулкана – Ст.А.) – не то оттого, что он выпил, не то от каприза, мгновенного и поэтического».

Поэт и переводчик Марк Талов в своей вышедшей (к сожалению сокращённо) книге «Воспоминаний» пишет о Бальмонте не только как о человеке увлечённом, но и как о человеке большой душевной чуткости и сострадания: «Бальмонт познакомил меня с Мережковским, которого очень любил, часто бывал у него. В одну из встреч Константин Дмитриевич подарил мне свою книгу „Дар Земле“ с надписью: „Марку Владимировичу Талову с чувством искренней симпатии. К.Бальмонт, 1921, 9 мрт.“ Вручив книжку, Константин Дмитриевич попросил подождать: „Я переоденусь и мы с вами пойдём к Мережковским“. Был холодный день, и я пришёл в пальто, оставил его в передней. У Мережковских мы пробыли до 12 ночи. Распрощавшись, вышли на улицу. Я машинально сунул руки в карманы – в одном – два апельсина, в другом – 3 пачки английских сигарет и 50 франков. Это Константин Дмитриевич мне положил. Он добрейшей души был человек, об этом просто не все знали» (М. Талов «Воспоминания. Стихи. Переводы», М., «Мик», Париж «Альбатрос», 2005, с. 26).

М. Талову вторит близкий друг Бальмонта, Марина Цветаева, знавшая его ещё в молодые её годы в Москве, оставившая посвящённые ему очерки-свидетельства их искренней и безоблачной дружбы: «На Бальмонте – в каждом его жесте, шаге, слове – клеймо – печать – звезда – поэта… Бальмонт мне всегда отдавал последнее. Не мне – всем. Последнюю трубку, последнюю корку, последнюю щепку. *Последнюю спичку.* И не из сердобольности, а всё из того же великодушия. От природной – царственности. Бог не может не дать. Царь не может не дать. Поэт не может не дать». (М. Цветаева «Слово о Бальмонте». Собр. соч. в 7-х тт., М.: «Эллис Лак», 1994, т. 4, с. 273). Так писала она о друге в своей неповторимой, чисто цветаевской, афористической манере…

А сдержанная и методичная Н. Берберова, автор известной и ёмкой воспоминательной книги «Курсив мой», рассказывает в ней, среди прочего, случай, как из Москвы в 1927 г. пришло фактически неподписанное письмо, от безвестной «Группы русских писателей», имевшее обращение «Писателям мира». Это был вопль о помощи, в нём были «ноты отчаяния», связанные с запрещением многих дореволюционных писателей и изъятием их из библиотек, с жестокостью всеподавляющей советской цензуры, убившей в стране свободу слова. Письмо было напечатано в русской парижской газете «Последние новости». Но большинство побоялось открыто на него отреагировать. Особенно не поняли его те, к кому оно было обращено, писатели Запада, французские писатели. «Наконец Бальмонт и Бунин написали письма-обращения к „совести“ французских писателей». (Н. Берберова «Курсив мой», М., «Согласие», 1996, с. 276). Они двое бесстрашно осмелились открыто выступить в защиту свободы и человечности, они-то верили в возможность несправедливости и репрессий, знали о них. И тогда на этих защитников жертв произвола обрушились – Ромен Роллан и М. Горький, к которому Роллан по этому поводу обратился с письмом… На Западе не ведали, что делалось за железным занавесом в советской России, но зато это знали Бальмонт, в революционные годы голодавший и замерзавший в Москве, и автор «Окаянных дней» И. Бунин… (Надо в скобках сказать, что Бунин в своих «Воспоминаниях» нелестно писал о Бальмонте, однако в них трудно найти человека, о ком бы *нобелевский лауреат земли русской* отозвался бы доброжелательно…).

И, последним аккордом, нежданное и высокое свидетельство о христианском покаянии Бальмонта перед его кончиной 24 декабря 1942 г. в городке Нуази ле Гран под Парижем. Свидетельствует Борис Зайцев: «…этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, её утехам и блескам человек, исповедуясь пред кончиной, произвёл на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния – ведь он считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить».

И всё-таки есть надежда, что Бальмонту много простится за ту гармонию его лирической души, которая протягивала людям ладони, полные тепла и света. И забудутся бальмонтовские страсти и неистовства,

которые были ведомы его родным, знакомым и близким. Для людей его поколения он был и остался автором любимых книг, которые бережно передавали из рук в руки, и которые потом, уже в другой России, стали антикварной редкостью, за которую книголюбы отдавали немалые деньги, «собирая» Бальмонта, жившего в той старой, легендарной России…

Завершить же хочется фразой из виленчанина Д. Бохана, красноречиво писавшего: «Но в ком бьётся любящее сердце, кто любит красоту, природу, кто живёт и любит жизнь – тот всегда будет упиваться стихами Бальмонта, погружаться в лазурное море его дивной поэзии». В наши дни, когда в России последовательно и широко отмечаются юбилеи автора «Белого зодчего» и «Горящих зданий», эти слова, сказанные к давно прошедшему, прижизненному юбилею (пятидесятилетию литературной деятельности в 1936 г.), сегодня столь же актуальны.

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

В ПОИСКАХ СВОЕГО КИТА

(Нина Баландина, Поплавки стихов. – М., Издательство РСП, 2021. – Серия: Лауреаты национальной литературной премии «Поэт года» – 262 с.)

Книга Нины Баландиной «Поплавки стихов» – своего рода исповедь, выражение благодарности за сопричастность великому таинству жизни, простому земному труду и творчеству. Название выбрано неслучайно и вызывает различные ассоциации, но, пожалуй, самая верная из них подсказана стихотворением-предисловием. *«У меня под рукой нет времени»*, – говорит Нина, подразумевая скоротечность времени земного. Не имея возможности «опереться» на существующий порядок вещей и осознавая бренность, непостоянство многих жизненных явлений, она силой творческого воображения создаёт свою вселенную, своё альтернативное пространство, над которым время не властно. Поймать мгновение жизни и зафиксировать его в вечности, сделать абсолютной величиной – вот главная задача автора. Так возникают особые времена года и особые понятия, которые отличаются от реальных, заключая в себе бессмертные смыслы.

Так однажды появилась осень, из которой никогда не улетала бабочка.
Листопад, сумевший не коснуться земли.
Поплавки стихов…

Поплавок, дрожащий, когда «добыча» клюёт – символ ввода в другое измерение, логический переход от поверхностного, явленного, в область неявного, неочевидного, лежащего где-то на глубине и связанного с подлинной, духовной основой человеческой жизни.

Постепенное прозревание истины в простых, бытовых вещах, устремлённость от конкретного к общечеловеческому и желание познать жизнь в её взаимосвязях – главные темы разделов «Эта память черёмух, замешанных на облаках» и «Никчемушка». Они полностью посвящены теме памяти и семьи.

Лирическая героиня Нины Баландиной не мыслит себя вне истории своего рода, вне конкретных духовных и географических привязок к месту, где она родилась, выросла и обрела личное счастье. Она чем-то напоминает Дарью Пинигину из повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Главная черта этого персонажа – сильная привязанность к малой родине, острое чувство генетической памяти. *«Род – это нитка с узелками. Одни узелки распускаются, умирают, а на другом конце завязываются новые»*, – говорила Дарья, и таким же узелком, связанным как с прошлым, так и с будущим, ощущает себя автор книги «Поплавки стихов».

«Подлинно духовное рядом, даже в неприглядных бытовых вещах – надо только уметь его увидеть» – как будто говорит нам Нина Баландина. Так, в стихотворении «Помидоры не зрели» деревенская атрибутика пятидесятых годов становится осознанием высших ценностей – нематериального, но сущего:

– Были брага и шаньги. Не драки: частушки и мат.
И леса – не леса, а огромные мира подворья,
Где под ягоды брали ни много, ни мало – бурак.
И творилась там жизнь, как хлеба,– без поспешности и суесловья.
……
– Что ж так тянет туда, в эту мокреть, куда без сапог
Не шагнуть. Где как символ прощанья согретый пирог из-за пазух.
Где у кромки дороги стоит нами узнанный Бог:
Деревенский остаток – доверчиво ждущий нас август.

В другом стихотворении женщина, потерявшая на войне сына, несёт в себе всенародную боль: за всех и вся. Личная трагедия становится для неё общечеловеческой. Героиня на интуитивном уровне понимает, что чужого горя не существует и что «колокол звонит по каждому из нас»:

По дворам всё скиталась, в шали кутая крик.
Голосила за дальних, за убитых чужих:
С Горбунихи – Олешка, с Горки – целый пятак,
Большедворских, Макарцевских рыжих робят.
Баб, оставленных стынуть, несочтённых сирот…
Что ни спросишь – всё мимо: от ворот поворот.
Что и помнит: – Ты Борьку не видал ли, солдат?
Пусть он мамку-то вспомнит да вернётся назад.

Персонажи стихов Нины Баландиной глубоко преданы своей земле. У них нет конкретных имён, но они живы своей верой и любовью:

Так сквозь тяготы наши, утраты
Нескончаемо тянется нить:
Быть твоим неизвестным солдатом.
Не считаться. Не числиться.
Быть.

Из двух разделов книги мы многое узнаём и о самом авторе: о родных краях, где прошло его детство, среди красивых пейзажей Северной Двины, в окружении друзей и близких. Даже диалектные черты этого региона, его специфическая лексика находят отражение в поэтических строках: *«где-то у вас половик мой остался, баско ложились на нём узорки…»*. Узнаём мы и о предках и близких родственниках Нины. Например, о прадеде *(«в третьем колене, в четвёртом колене прадед мой был до земли неизменен»),* о матери, вечно занятой бытом, о «крёстночке», у которой *«сегодня был бы день рожденья. Сто двенадцать!»*. Память об этих «земных исповедальнях» прорастает в сознании лирической героини благим семенем. Это и есть поплавки – духовные константы человеческой жизни, маленькие островки, становящиеся ориентирами в поиске великого и несомненного, вечного и непреложного, таящегося в обыденном и повседневном: *– И вот я – тропинка, ведущая в прошлое,– память, Хранящая времени неопалимые знаки.*

Ощущая себя частью родовой истории, Нина Баландина видит её продление в своих детях и внуках. В «Никчемушке» опыт общения внука с бабушкой становится первым этапом духовного взросления – приобщения к жизни в семье, где все идут «одной тропой», живут «одной судьбой», к первым понятиям взрослой жизни. Но самое важное – передать ребёнку те ценности, которые станут основой его будущего мировоззрения, посеять в нём ростки добра и созидания:

А вечером добраться до прочтенья
Искомых истин: книга, стол, тетрадь
И сказки, где не станут умирать,
А выживут назло предназначенью

Отдельного внимания в этом разделе заслуживает образ птицы. С ней отождествляет себя лирическая героиня, причастная к таинству творчества, ощущающая свою крылатость, стремящаяся преодолеть границы земного бытия. Пусть даже в суете повседневности иногда не остаётся времени для разговора о самом важном, пусть *«слишком тянет земное. Господи… слишком»* – частичка бессмертной души, заключающей в себе высшее знание о мире, должна быть передана по наследству как высший дар:

– Птица ли, не птица – частичка сердца,
Память, при которой шипы и розы.
Просто Новый год открывает дверцу
Прямо в небеса…Ты становишься взрослым

«Внутренняя птица» Нины Баландиной, преодолевая земное притяжение, стремится обрести своё небо, в котором всегда найдётся место для близких людей, дорогих сердцу воспоминаний, высших истин и непреходящих ценностей. Этот поиск становится лейтмотивом книги и наиболее отчётливо выражен в разделах «Сопричастность», «Время ню» и «Краткие повествовательные».

В разделе «Сопричастность» автором успешно пересечены границы земного времени: здесь дуют ветра Гарсиа Лорки, небо смотрит на землю с живописных полотен Ивена Лю, двери раскрываются под мелодичные напевы Пабло Неруды, а подсолнухи оживлены магической кистью Винсента Ван Гога. Это уже совсем другие небеса, и в них парят совсем другие птицы.

Опыт посвящений великим предшественникам важен для автора с точки зрения освоения новых территорий в области творчества. Здесь уже начинается эксперимент со словом, работа над формой, обусловленная «включённостью» в стилистику адресата. Нине Баландиной удаётся создать общее поле творчества, в котором, при сохранении черт своего идиостиля, она воспроизводит индивидуальную манеру письма, интонацию и образный ряд тех, с кем вступает в диалог. Погружаясь в иную языковую среду, автор обогащает собственную речь новыми приёмами ритмической и образной организации текста, Например, в посвящениях Гарсиа Лорке «Ветер листву полощет» и «Посередине мира» ощущается особая мелодичность, напевность поэтических строк, организованные лексическими и звуковыми повторами:

Старый колодец крепок, –
Вновь нас перезимует
И на пороге лета
Вскроется новой жаждой.
Той, что таит в глубинах
Звёзды.
Всего лишь звёзды.

В разделе «Время ню» эксперимент с формой продолжается. Здесь Нина Баландина превращается в философа-созерцателя, восточного хайдзина, чьи минутные экзистенциальные прозрения умещаются в лаконичную форму японского хойку. Весна, лето, зима и особенно осень – всего лишь повод увидеть мир в его едва уловимых, мистических связях:

Птицы унесли всё лишнее
Души обнажились.
Ноябрь. Время ню.

Вновь возникающий образ птицы, ассоциируемой с иной, духовной, ипостасью героини, становится указателем того предельного откровения, которое приближает и автора, и его читателя к постижению глубинных основ жизни и собственного существования.

Эти «глубины» материализуются в заключительном разделе книги «Краткие повествовательные». Здесь уже возникает безграничное поле творческого эксперимента, пространство для мифотворчества. В жанровом отношении предложенные автором тексты трудно определить однозначно: по способу формальной организации это скорее философские эссе, прозаические зарисовки. Наряду с этим каждый текст обладает своим особенным ритмическим рисунком, что сближает его с акцентником или верлибром. Намеренный отказ от силлабо-тоники свидетельствует о том, что автору, склонному к философским обобщениям, уже трудно оставаться в границах традиционной речи. Его мысль развивается свободно и хаотично, каждый раз преодолевая инерцию письма с его нерушимыми грамматическими законами.

Сумерки – нежное грехопадение всего телесного и осязаемого: стадность человеческая, когда ты и «всё», и «никто» одновременно… Солнце, опрокинутое прямо в подставленные ладони. Море, забирающее и отталкивающее от себя.

Время, когда у тебя есть выбор: погасить или продлить свет.

«Краткие повествовательные» – логический итог авторских раздумий о мире. Здесь используется уже иная форма поэтического высказывания – не от имени представителя своего рода, а от имени творца, живущего в ином измерении. В этом вневременном сакрализованном пространстве земные реалии заменены универсальными категориями, относящимися к области вечных, непреходящих ценностей. «Болевое чутьё красоты» становится для Нины Баландиной главным художественным мерилом, с помощью которого любой объект реального мира преобразуется в нечто иное, заключая в себе идею вселенской гармонии и божьего промысла:

Неуёмные стебли провоцировали движение.
Им как будто было всё равно,
Что по этому поводу думают оставшиеся цветы,
Потихоньку освобождающиеся от тесных одежд.
Заражая всех патиной и ускользающей красотой времени.

Каждое утро я нахожу в них что-то новое.
Другое расположение теней.
Беспомощность одних и неуязвимость предназначенного,
Некоторого «вдруг», которым так полна жизнь…

Я учусь икебане…

Указанные в названии книги поплавки стихов появляются и в самом конце, проясняя замысел автора. Он – вечный рыбак, в житейском море которого самое главное – «остановиться и просто ждать». Своего кита, встреча с которым может быть отложена на неопределённое время, но в конечном итоге случится обязательно – потому что таков замысел творца:

Поплавок не успевал подавать сигналы о рвущейся ко мне добыче. Лодка не успевала принимать её. А я знал, что это приплыл мой кит <…>
Мой кит! Завтра мы обязательно увидимся с тобой, и я спою тебе песню, которая родилась сегодня.

НА ТЕНЕВОЙ СТОРОНЕ РЕЧИ

(Марина Чиркова, Смородиновый лес. Стихотворения. – Волгоград: Перископ-Волга, 2020. – 60 с.)

«Поэзия Марины – ворожба на звук», – написала в предисловии к её книге Петра Калугина. Это очень точное замечание, потому что ворожба – это магия и волшебство. А Марина Чиркова – волшебница, создающая безграничное пространство языковой игры, экспериментирующая не только со звуком, но и со словом. Ключевая художественная черта её поэзии – поиск структур и смыслов, выводящих поэтический текст за пределы традиционного грамматического строя. Ибо речь, как сама жизнь, протяжённа и недискретна – она не может заканчиваться за границами заданной формы и преобразуется в нечто иное. Отсюда любовь к протяжённой фразе, абстрактной лексике и неточной рифме (точная рифма, по словам автора, «слишком громко стучит»).

Есть дом, а в нём – окно, за которым открываются иные виды. Можно мельком бросить туда взгляд, а можно осмелиться и выйти через него наружу – в иную реальность. Именно так и поступает лирическая героиня Марины Чирковой – в её мире много таких окон, сквозь которые проступает подлинная жизнь, скрытая от окружающих. А творчество – это окно в окне, поэтому внутри поэтического текста у автора книги «Смородиновый лес» зашифрованы иные, тайные послания. Так робко, но в то же время и решительно заявляет о себе ещё до конца неопознанная вселенная языка, где «слова не ломаются о слова», приглашая нас в индивидуальный космос автора:

в красный трамвай и ехать. разума с кулачок,
рюха твоя, прореха, ореховый мозжечок.
<….>
кричный, коричный город, каменный шоколад,
улочки (злить и спорить), дворики (целовать),
дерево – сеть и дверца, кость и живучий альт –
солнечными младенцами сыплется на асфальт…

Удивительный мир незаезженных и не «зацелованных насмерть» метафор поражает свежестью авторского восприятия. Всего несколько мгновений – и читатель уже оказывается на теневой стороне речи, где каждый привычный объект становится порталом в иномирие: город не город, а «каменный шоколад», а дерево – звучащий инструмент, с которого осыпаются листья-младенцы. Ухватить теневую, субъективную сторону слова и дейктически материализовать его в художественном тексте – редкое умение, отличающее настоящего мастера. И Марина Чиркова владеет им в совершенстве: её языковая игра не наносит ущерба смыслу, а используется с целью его приумножения, расширения границ заданной реальности. В целом такое творчество представляет собой оригинальный сплав метареализма и постмодерна – образно-информативная плотность текста просто зашкаливает.

Само название книги – «Смородиновый лес» – фактически уже метабола, в контексте которой происходит сближение и взаимопроникновение удалённых друг от друга предметов. Образно-ассоциативный ряд одноимённого с названием поэтического текста причудлив и многопланов: здесь слова тяни-толкаи тянут свои лучики-смыслы от пластической конкретности образов природных объектов к ассоциативно-смысловому полю лирической героини, чувства которой преобразуют мир окультуренного и дикого пространства в универсальное измерение для двоих – а другим в этот лесной сад путь заказан:

нет, мы другая половина неба,
где край листа двуручною пилою
<….>
плести смородиновый лес… прилипших мошек,
мышей летучих с тонкими резцами,
грызущих нежный сахар полнолунья
и распускающих одежду у влюблённых
до нитки, до последнего, до «кто ты?»

Полусферы, полусмыслы, ребусы и игра в потузначения – вот характерные черты постмодернистского художественного мышления автора. Марина Чиркова не боится «расщеплять» слова и заново соединять их в другом качестве, угадывая в одном понятии тень другого, делая поэтическую речь протяжённой, цельной, намертво спаянной сиюминутными и культурными смыслами, рождающими истину из первородного хаоса, из камлания и шаманизма:

дрожит конь-
ячно… выпей луну ли-
бо тотчас сойди с у-
дачной тропинки в к-
рай куда пе-
ром раж-птицы вольной ле-
тишь словами лья-
сь вот так легко ли бо-
льно…

Переносы строк здесь используются как постмодернистский приём, создающий эффект недискретного и нелинейного пространства, в котором причудливые сочетания слов – проекция мира, увиденного «фасеточным зрением стрекозы» – здесь всё устремлено к единой и одновременно множественной «метарельности», сближающей далековатые понятия, которые легко обмениваются своими свойствами и значениями. Нередко тексты Марины, подобно стихам Александра Петрушкина, напоминают шпионскую шифровку, скрывающую один текст внутри другого. Читатель должен напрячь не только физическое, но и духовное зрение, чтобы расшифровать скрытое послание, понять авторский замысел:

Всё потому, что губы – те же страны,
а ст[раны] – это встречи, то есть у[часть],
родство, какое [боль]ше чем медвежий
косматый космос но и [мель]че крохи…
А наши кр[ох]и – те, кто нам острее
и нас самих, и самой близкой речи…

То, что названо Петрой Калугиной «сумбуром ассоциаций» при отсутствии «нормальных грамматических конструкций», правильнее будет назвать тем «высоким косноязычием», при котором поэтический текст перестаёт быть лубочной картинкой, набором стандартных образов – отдельных составляющих авторского замысла. Это уже живой организм, в котором все намёртво спаяно: хребты фраз, сухожилия слов, дрожащие нервы звуков. И неточность рифм, и спонтанность речи – объект недовольства некоторых издателей – более чем уместны здесь, поскольку речь идёт не о Буратино, деревянной кукле, а о живом существе, которое есть проекция самого автора, отнюдь не пытающегося быть безупречным.

И ни в коем случае не советую читателю пытаться понять тексты Марины Чирковой на уровне их традиционного осмысления – это моментально убьёт всю прелесть её поэзии. Вначале надо просто довериться автору и спокойно плыть по волнам его образно-звуковой вселенной, вслушиваться в поэзию, как в раковину, внутри которой – целый безразмерный океан: живой, очеловеченный, шумящий свою истину, далеко не сразу различимую на фоне иных шумов беспокойной цивилизации. А потом многомерные смыслы и ассоциации нахлынут сами, как волны, и вслед за этим придёт радость открытия нового уникального мира.

Не случайно первая версия книги Марины Чирковой называется «Сняв ненужную суперобложку» – в этом названии кроется ответ на вопрос, как именно следует читать и воспринимать такие стихи: уйдя от очевидностей, формальностей, банальностей привычного мира, отказавшись от всего внешнего, наносного. Всё истинное, настоящее, всегда находится внутри, а не на поверхности.

Иногда в личных наших разговорах Марина сетовала на то, что ей не хватает у себя масштабности, что необходимо расширять тематику текстов и стремиться к философским обобщениям. Но что есть масштабность и что есть широта темы? Мне кажется, что понятия эти обретают конкретный смысл только в границах авторского стиля. Марина Чиркова масштабна на атомарно-молекулярном уровне своего личного мироздания, и в этом – неповторимая особенность её стиля. Она – Алиса в Зазеркалье, однажды нырнувшая в кроличью нору, да так и оставшаяся там вечным постояльцем удивительной страны, где правят законы творчества, любви и красоты, скрытой «на теневой стороне речи»:

какого цвета след во след,
на слух рассыпанное слово?..
как снежный порох, белый свет
и чистый лист – неизрисован.
иди сквозь белое, пока
январь (моргнёшь – и сразу лето):
вся мимо пальцев, языка…
но – кружево: полураздета
в предчувствии и сквозняках…

ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ РЕЧЬ

(Арман Комаров, Нерчь и заречь. Стихотворения. – М., ЛитГОСТ, 2022. – 48 с.)

Известный критик Ольга Балла отозвалась об Армане Комарове как о поэте, «тончайше чувствующем органику и пластику языка». Небольшая книжечка молодого поэта убедительно доказывает этот тезис одним уже названием. «Нерчь и з*а*речь» – нечто противостоящее языку в его традиционной, номинативной и грамматикализующей функции, сводящее любое речеговорение к шаманизму, камланию, бессвязному бормотанию.

Слово, когда оно ещё не является словом (не-речь), либо перестаёт быть таковым, превратившись в за-речь, обладает мощным энергетическим потенциалом, способностью к бесконечному продуцированию миров, а точнее мира единого и протяжённого в своей недискретности и взаимосвязанности всего со всем. Этот первобытный синкретизм, возвращающий читателя к истокам цивилизации, является и ключевым образом, и принципом композиционной организации, и главной темой книги Армана Комарова.

Как опытный хирург, расщепляющий больные волокна и ткани, сохраняет при этом целостность анатомического строения тела, так и автор книги «Нерчь и з*а*речь», бесконечно экспериментируя с языковой формой, дробя слова на звукосочетания, либо наоборот стягивая фразу в единый и необычный звукокомплекс, не наносит вреда всему речевому организму – напротив, он вдыхает в него новую жизнь, возвращая омертвевшие имена и понятия к их первоисточнику – «исходной тьме первоназваний», выражаясь словами Ольги Баллы. Поиск звуковых первоначал в магическом, заворожённом лесу значений и смыслов – сюжет книги, удивительно цельной по своему замыслу:

За тридевять далей манит меня луна,
Вынимая из памяти имена,
В чёрные пряди мои серебро вплетая,
Как печаль в мою грудь – в небеса влитая.
Странный зов во снах холодит мне плечи –
Трепет невнятной, полузабытой речи.

Ключевая тема задана, путешествие началось, и читатель не успокоится, пока не пройдёт вместе с автором путь обретения речи и смысла в их глобальном, надмирном воплощении. Если внимательно изучить все разделы книги – «Трепет речи», «Успеть сказать», «Золото нречи», «Ханаанские воды» – становится очевидной логика движения лирического героя, чей путь включен в контекст культурной мифологемы, воспроизводящей в своих узловых моментах духовную историю человечества и неотделимую от личной истории самого автора. Стихи книги не должны читаться в произвольном порядке, поскольку это – «роман в стихах», продуманный от первого до последнего пункта сюжет о паломнике, идущем «от смерти к лесу», пробирающемся «по слову, по звуку» «из снега в снег, из леса в лес, да в лес». В пути этом угадывается поступь средневекового Данте, заблудившегося в лесу грехов, или языческого князя Игоря, который и в своём дерзком поступке не утратил первозданной, тотемной связи с природным и растительным миром.

Думается, что сюжет «Нерчи и З*а*речи» отчасти воспроизводит каноническую модель средневекового текста в сочетании с романом-травелогом, где всегда присутствует мотив дороги, в её не столько географическом, сколько эзотерическом воплощении. Мы не оговорились, говоря о сюжете применительно к сборнику стихов – он здесь присутствует со всей очевидностью, и композиционная структура достаточно чётко выдержана. Здесь есть завязка, кульминация и развязка – конечный пункт духовного путешествия. Нерчь-З*а*речь – это направление маршрута лирического героя, бегущего, подобно Данте, из «сумрачного леса» словесных заблуждений в лес обретённых заново смыслов и далее – за речь, как за реку. То есть по ту сторону речи. Чтобы совершить этот путь, герой погружает себя в состояние транса, вещего сна, отрешается от собственного «я», пробуждая в себе надмирное, надличностное, универсальное начало:

О, как уйти от смерти к лесу?
И видеть сны, писать слова,
Чтоб, выше кедров, мутьзавесу
Пробила Бога голова.

Вполне органичными кажутся здесь и отсыл к Мандельштаму *(Отравлен хлеб и воздух выпит)*, и упоминание строк поэта-современника Михаила Рантовича *(Жизнь коротка, длинна дорога…)*. Арман Комаров открыт любому культурному влиянию, откуда бы ни произрастал этот источник. Его художественное сознание лишено конкретных пространственно-временных координат и обретает себя в категориях вечности. Исключительно важно, что постепенное «перемещение» художественного повествования в зону сакральных смыслов, приближение к заветной цели у автора «Нерчи и з*а*речи» воплощено именно на языковом уровне. С каждым новым «шагом» героя речь становится всё менее внятной, грамматически протяжённой и оформленной – ей на смену приходит неподдающийся традиционной логике шаманский гул, язык мистических заклинаний и, в итоге, лепет младенческой речи – голос человечества на заре его цивилизации. В этом смысле автор перенимает традицию будетлян и дадаистов, но его цель – продемонстрировать не абсурд и деградацию языка, а изначально ему присущее, стихийное природное начало:

Заучить пустоту
Свою ли? Его ли? Ту?
От боли найти бы гу…
Б-бы – гул:
Агу-агу, Богу, багу-
Льника лик
Льнул, но сник.

Созданный автором «новояз», где приём умолчания и многочисленные неологизмы лишний раз подчёркивают идею заведомой непроговариваемости, неосознаваемости сакрального, превращает объекты в точки пространственной ориентации, «кирпичики» дихотомически выстроенного мироздания. Здесь город – профанный низ, а то, что находится за его пределами – иная явь, мир в его цельности и неделимости, некогда утраченных людьми:

Перетечь слезой в мокрый снег дорог,
Город-ад широк, но над нами Бо…
Замолчать – молчу,
Не теперь в слова.
Кругопад – лечу,
Снеговерть – нова.
Любовьэтом сне – явь иная снит…
Там песок воды – не в реке шумит.

Главным объектом духовного поиска лирического героя Армана Комарова и конечным пунктом духовного странствия становится Ханаан, что абсолютно не случайно. Это одна из модификаций земли обетованной. «Земля Ханаанская» – одно из тех словосочетаний, что часто встречаются в Священном Писании. Там сказано, что Бог Яхве обещал её «в удел» сынам Израилевым. Но в рамках авторского художественного замысла особенно значим тот факт, что именно Ханаан является родиной алфавита, который произошёл от протосинайского письма и впоследствии стал основой греческой и латинской письменности. Это – колыбель цивилизации и языка, собственно тот протоязык, который сродни и «лепету птичьему», и лесному шуму, и первородному молчанию:

вот по реке плывёт пророков кит
и ивы натянули тетиву
и всё как в первый день молчит
и как в шестой из камня человечество зовут
вскипают воды ханаана
готовясь к речи обращаясь в речь

в живое слово слишком рано
в иное море перетечь

Так герой, «серый схимник в сонном лесу междометий», превращается в подлинного творца, обретая себя там, где рождается речь, где можно самому обратиться в речь, в стихийное явление, *«ветром стать или стать ручьём, в Ладогу впасть», «из сонной лебеды выползти в себя»*.

Конечно, Арман Комаров совсем не одинок в своём повиновении «странному зову невнятной, полузабытой речи» – до него на этот зов устремлялись и Цветаева, и Блок, и Мандельштам, и ранее живущие Пушкин и Лермонтов. Но вслед за Юрием Казариным согласимся с тем, что книга «Нерчь и З*а*речь» содержит *«наиважнейшие качества, свойства и признаки поэзии»*, среди которых самые главные – *«новизна и свой индивидуально-авторский язык»*. Без них путь к Заречи был бы поэту заказан:

я буду петь и говорить пока ты
со вдовьим нет не свыкнешься со мной
ну а сейчас луна горда перед восходом
так любит нас так раны бередит
звенит и слёзы превращает в воды
годов где Пушкин не убит

ШАЖОК МИНУТНЫХ СТРЕЛОК

(Денис Ткачук, Самосуд. Стихотворения. – Волгоград: Перископ-Волга, 2022. – 72 с. – ил.)

У автора этой книги, соединившей в себе традицию и новаторство, явно непростые отношения со временем. С одной стороны, время – главный герой практически каждого стихотворения. Его дыхание, приближение и скоротечность лирический герой Дениса Ткачука ощущает во всём: в стуке колёс поезда или шуме авиационного двигателя, в каждой отдельной судьбе, в повседневных занятиях и событиях исторического масштаба. Человеческая жизнь настолько коротка, что её легко можно уместить в коротенький пробел между датами рождения и смерти, да и само небо, как бы высоко оно ни находилось, всё равно напоминает о земле:

небо – братская могила
и всё меньше близких
чьи голоса могут меня в этом
переубедить

С другой стороны, тема, обозначенная в названии поэтического сборника («Самосуд») предполагает отрицание всех временных измерений, поскольку автор определяет значимость человеческой жизни и её ценность не в терминах земного существования, а в категориях вечности, даже если она «цвета ржави». Человек есть не то, чем он является при своём рождении, а то, что останется от него после смерти. В содержании книги, представленной тремя разделами («Бог на верхней полке», «Регулировщик движения облаков» и «Хорунжий») вскрывается внутренняя полемика между временным и вечным, земным и небесным, смертным и бессмертным. Эти антиномии порождены самой человеческой природой, представляющей собой неделимый сплав духовного и материального. Что же человек, живущий так недолго, должен сделать для того, чтобы не окончательно кануть в забвение? И есть ли в мире что-то, способное продлить его существование и существование его близких? Ключевой онтологический вопрос в целом решается автором традиционно, однако новизна самой книги определяется её жанровым разнообразием, о котором пишет в предисловии Юрий Казарин. *«Открытая»* и песенная лирика сочетаются у Ткачука с *«короткими поэтическими вербализованными озарениями»*, и эта стилевая разнородность, в конечном итоге, даёт различные ракурсы в раскрытии темы.

В первом разделе («Бог на верхней полке») автор вполне традиционен. Традиционны здесь и обусловленные литературной преемственностью образы скоротечного времени (движущийся поезд, улетающие

на юг птицы, опустевший дом, кладбищенские кресты, стрелки циферблата), и элегические мотивы, и ностальгическая интонация, связанная с непрерывным ощущением утраты:

Шёпот и перестуки,
белый песок, руда,
жизни моей разлуки –
разные города.

Тлеющий свет плацкарта,
гул самолётных дюз,
не отмечай на карте –
я туда не вернусь <…>

Берущие за душу, понятные каждому строки как будто сами ложатся на музыку, но и в них уже ощущается поиск иных путей и иных форм высказывания, тяготение к инореальности и экзистенциальному началу творчества. Само по себе это уже означает выход за пределы очевидного, в сторону мифотворчества, где возможно «досотворение иного», близкого по духу времени и пространства:

через иллюминатор,
через оконный лёд
смотрит в меня утрата,
так же, как я в неё.

Доказательством подобной метаморфозы становится стихотворение о троллейбусе, внезапно сошедшем с рельс и устремившемся прямо в небеса, на глазах у восхищённого автора. Тут уже эстетика парадоксального одерживает верх над естественным порядком вещей:

Троллейбус с линии сошёл:
назло дорожной сетке
погнул на Петроградской столб
и вышел за разметку.
<…>
и пролегла по небу вдаль
троллейбусная трасса –
лишь светофор вослед мигал
прозревшим третьим глазом.

Таким образом, читатель уже подготовлен ко второму разделу книги, где авторский голос становится более уверенным и самостоятельным. Поэзии уже тесно в границах силлабо-тоники, и она пускается в свободное плавание по водам верлибра, создавая пространство для постмодернистских ходов, неожиданных ассоциаций, неявных зон смыслов. И вот уже на смену обычному проводнику в плацкартном вагоне приходит регулировщик движения облаков, и постепенно стираются границы земного и вечного, объединяясь в сакрализованном пространстве универсальных культурных значений, свободных от конкретных привязок и традиционной логики:

есть ли в мире более важная работа,
чем у регулировщика движения облаков?
<…>
машин почти нет
суховей гонит тёплые облака
их тени несутся по асфальту:
внимание стой проезжай

Поэзия, не только воссоздающая, но и пересоздающая мир становится, говоря словами Юрия Казарина, «духовным поступком». В таком контексте уже возможно искать опорные точки, с помощью которых преодолевается смертная природа человека, уступая дорогу непреходящему, нетленному. Денис Ткачук находит разные способы решения этой проблемы – например, можно осознать себя неким вместилищем, открытым любому знанию о мире, любой идее и форме, одновременно не подчиняясь ни одной из них:

а я состою из пустоты
вонзай в сердце крючки, рыболов
перемкни провода, телефонный мастер
молчи со мной, архивист

С ещё одним интересным авторским открытием мы сталкиваемся в стихотворении о самолёте, летящем *«на высоте десять тысяч триста метров»*. Оказывается, одним мгновением можно уравновесить вечность, стать неуязвимым. Да и как может быть страшна смерть тому, кто думает не о ней, а о настоящем – просто наслаждается жизнью и её текущим моментом, наполненным прелестными мелочами:

И как бы ни трясло
в воздушных ямах самолёт,
я знаю точно, что бессмертен,
пока размешиваю ложкой
сладкий чай.

И всё же главным эликсиром бессмертия для автора книги «Самосуд» становится творчество – только благодаря этому феномену можно беспрепятственно слушать, как читает стихи Николай Гумилев: *«с той стороны экрана <…> не стесняясь пулевых ноликов рядом с двумя крестиками»*.

«Поэт победил человека» – таков основной вывод второго раздела книги. Поэт всегда побеждает человека, а человек всегда «остаётся снаружи», когда *«шкаф закрывают на ключ»*. Потому что всё подлинно важное в нас находится за пределами материального. Пусть это – зыбкая и едва ощутимая, неявная и эфемерная субстанция. Именно она – фундамент духовности, обеспечивающей целостность мира, его «текучесть» и одновременно неизменность.

В заключительной части книги раскрывается ещё одна грань личности автора. Ему как члену Поискового движения России и руководителю архивных работ в Астраханской области доподлинно известно, что такое история рода. Только сохраняя связь со своим прошлым, порой легендарным, можно ощутить себя одним из звеньев непрерывной цепи, по которой духовное знание передаётся из поколения в поколение.

Несколько стихотворений последнего раздела, «Хорунжий», посвящены дальнему родственнику Дениса, младшему уряднику 1-го Астраханского казачьего полка Никите Васильевичу Яненкову. Так совершается ещё один самосуд – сравнение собственной жизни с легендарной историей предка. Повествование ведётся от первого лица, что говорит о глубокой эмоциональной вовлечённости автора в происходящее. Он полностью отождествляет себя со своим героем и смотрит на события его глазами:

нещадно время: вот уж свергнут царь,
наганы заряжают новой датой…
Ну а пока – далёкий год. Январь.
Стена Кремля. И кровь моя. Не чья-то.

Поэзия Дениса Ткачука, названная Казариным «духовным поступком», со временем может стать и чем-то большим – например, духовным подвигом. Стремление автора определить своё место в жизни, обнаружить в самом себе нечто неподвластное распаду и объединяющее его судьбу со множеством других судеб явно говорит о неравнодушии и способности воспринимать мир в его подлинной сущности. И пусть каждый шажок минутных стрелок напоминает о скоротечности бытия – наши чувства и мысли никуда не уходят, перетекая в нечто иное, продлеваясь в пространстве и времени, отзываясь в других вещах и объектах:

Деревья
растущие на кладбищах
гладят корнями волосы наших любимых
обнимают за плечи машут ветвями
у деревьев много времени
чтобы сделать то
что не успел
сделать
я

ПОКА УСКОЛЬЗАЕТ МГНОВЕНИЕ…

(Мария Затонская, Миниатюры. Книга стихотворений. – М., издательство «СТиХI», 2021. – 48 с., ил.)

Поэтическая брошюра Марии Затонской, выпущенная издательством «СтиХи», в серии «Сингл», продолжает развивать ключевые темы книги «Дом с птицами». Мир автора узнаваем и самобытен, и в нём по-прежнему доминирует идея человека как меры всех вещей, средоточия духовных ценностей. В сущности, никого, кроме человека, его бессмертно-смертной природы, в поэзии Затонской нет, его присутствие ощущается во всём, заполняет собой атмосферу. *«Я – это лица, в которые вглядывалась»,* – позиционирует себя автор с самой первой строки книги. Уже здесь заданы основные «параметры» лирической героини – она мистический наблюдатель, несущий на себе духовные отпечатки чужих жизней, осознающий, что и сам является чьим-то отпечатком. Человек, явленный в человеке, сохранённый в нём как нечто уникальное, неповторимое – главная тема и ключевой тезис «Миниатюр».

Автор пристально, в упор, смотрит в лица случайных прохожих, как будто не видя их физической оболочки, изымая из неё экзистенциальное содержание. Это особое созерцание жизни – «из тех пределов», где земная система ценностей не имеет уже никакого значения:

женщина тонкая тащит свой чемодан,
пухлые губы, глаза раскосые,
такая привычная для кого-то,
что не различить черты.
И всё-таки было, было:
снег летит, свет падает на одеяло.
Наверное, так только мать на неё смотрела <…>

Прозревание вечного в сиюминутном, сакрального в повседневном, исключительного в обыденном – таков вектор авторской «человечности», способной «различить черты», скрытые от окружающих, увидеть духовную ипостась даже в самом непритязательном внешнем облике случайного человека.

Все стихи «Миниатюр» – облачённые в форму верлибра коротенькие зарисовки из реальной жизни, нередко из прошлого лирической героини Затонской. Значимо то, что картинка, нередко вполне заурядная, внезапно становится масштабной и объёмной, как будто на заднем плане сцены открываются внутренние кулисы. Зритель вслед за автором попадает в зазеркалье, наблюдая, как материальный мир преобразуется в пространство универсальных значений. Достаточно мельчайшей детали – какой-нибудь ветки сирени над лысой головой техника Ивана Петровича. И вот он уже не техник, а часть мироздания, мельчайший атом ускользающего мгновения, в котором он обессмертил своё существование:

Техник из ЖЭКа Иван Петрович
слушал апрельских птиц
от дома к дому,
снимал показания счётчиков,
топтался в луже в резиновых сапогах,
изучал отражение:
синий бушлатик, чистый такой,
чёрная шапка на лысине, вот
скоро сирень над головой
расцветёт.

Амбивалентность бытия и диалогичность – ещё две важные характеризующие черты творчества Марии Затонской. В «Миниатюрах» она не просто открыта для разговора с читателем – она вступает в своеобразную полемику с самой собой, сравнивая себя прежнюю и нынешнюю:

У Маши из девяностых
юбка жёлтая, в пёстрые васильки.
Качели подбрасывают коленки,
дедушка охает: «высоко летаешь»
и поправляет кепку.
Она с каждой минутой от меня всё дальше –
уносится на самолёте времени

Главный онтологический вопрос, на который лирическая героиня пытается ответить в книге – что в ней самой является временным, подверженным тлению, а что сохранится как часть бессмертной, нетленной субстанции? И получается, что старые платья, сшитые *«из бывшего мужа», «поисков психолога», «странных товарищей», «любовника, о котором и вспоминать неудобно»*, неизменно устаревают, становятся «не по размеру». *«Неужели голой теперь оказаться нужно»,* – на этот риторический вопрос, как будто брошенный автором в зал, находится ответ. Не просто нужно, а иногда и необходимо, потому что именно тогда в человеке обнажается главное – то, что освобождает его от неизбежных ошибок, временных привязок, ничем не примечательных, одинаковых внутри самой героини *«сосудов человеческой жизни»*. Пусть это главное эфемерно, почти неуловимо, текуче и зыбко, но только оно неподвластно распаду, только в нём человек способен сохранить свой неизменный облик.

Что же это? Что остаётся в нас незримым присутствием другой жизни, и чем мы сами становимся для людей, близких или чужих? Ощущение полёта, *«светло-зелёный звон истончённых крыльев», «или отзвук какой»*, или просто внезапная вспышка памяти.

Единственная сила, делающая память долгосрочной, сохраняющая «человека в человеке» – это любовь. В книге Марии Затонской любовь, понимаемая как особое свойство души, делает даже самое хрупкое существование неуязвимым. Поэтому так важно не забыть, не утратить память о том, что действительно дорого:

Страшно, что я тебя забываю
в шуме дороги нелётной зимней,
в голосе диктора из магнитолы,
иногда только
или отзвук какой напомнит,
или мужик, мнущийся у светофора,
который в зеркале заднего вида
всё отдаляется,
отделяется,
превращается в точку.

В жанровом отношении поэтические зарисовки Марии Затонской немного напоминают японские хокку – в них та же созерцательность, тот же нарочитый уход от каких бы то ни было умозаключений. Есть только жажда жизни, пристальное вглядывание в неё, озирание «земных окрестностей», за пределами которых – особое пространство, отождествимое разве что с белизной строки. Потому что всё самое интересное происходит там, где начинается слово, строка, творчество – ещё один залог человеческого бессмертия.

В сущности, весь мир – это текст, который нам, осознающим себя неотъемлемой его частью, предстоит читать всю жизнь. Главное – правильно понимать язык ускользающих мгновений, сиюминутность которых лишний раз подчёркивает постоянство мира в его изменчивости и становится залогом новой бессмертной строки:

Пока ускользает мгновение
коварно, в приоткрытую форточку,
чтобы стать скамеечкой, детской площадкой,
слиться с Иван-Иванычем, семенящим
за своим внуком и звоном велосипедным, –
издалека крадётся ещё одно
про травинку, найденную в кудряшках мальчишечьих,
как случайное слово, которым вот-вот начнутся стихи, –
только бы не исчезло,
только бы снова возникло.

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«Я ПРИШЁЛ ИЗ ЭПОХИ ВЕЛИКОЙ ЛЮДСКОЙ ПЕЧАЛИ…»

(Константин Кедров-Челищев, Бесконечность внутри юбилея. Стихи юбилейного года. – М., ИИздательство РСП, 2022. – 176 с., ил.)

Кедров не просто долгожитель и патриарх русской поэзии. Он продолжает активно писать и сегодня, ведь смысл поэзии – вечное обновление. Атмосферный столб почтенного возраста совершенно на него не давит. Поэт боится «замолчать», пусть даже условно и ненадолго. Он говорит, что ему сложно жить, не выставляя постоянно новые стихи на фейсбуке.

Константин Кедров родился в семье актёров. Я думаю, что это кардинальным образом повлияло на становление поэта. Вся классика мировой литературы разыгрывалась перед глазами рано повзрослевшего мальчика. «Самый умный русский поэт» – так охарактеризовал Кедрова Андрей Вознесенский. Но тяжесть энциклопедических знаний нисколько не довлеет над его лирикой. Он умеет быть простым и убедительным. Кедров – это Хлебников XXI-го века. У него верлибр – голос духа, а душа поёт и плачет в рифму. Юбилейная книга поэта составлена из стихов прошлого года, дополненных некоторыми важными стихами прошлых лет. И впервые представлен цветными иллюстрациями Кедров-живописец.

Бой за поэзию был длителен без дат
Так с глухотой сражается Бетховен
Виновен я не в том, что виноват
А в том, что я и вправду невиновен

«Параллельные прямые – пересекаются!» – учил великий геометр Лобачевский. Кедровское «виновен в том, что невиновен» так же парадоксально, как и прямые Лобачевского.

Кедров – человек щедрый и отзывчивый. В Литературном институте я учился у него, в узком смысле, литературе. А в более глубоком смысле – учился у него свободе. «Свобода – это родина поэзии», – говорил Кедров. Масштаб поэта зависит от его масштаба его личности. Константин Кедров жизнью своей демонстрирует нам образец существования во враждебном поэзии социуме.

По комнате бродит медведь тишины.
Я заброшен сюда из другого, светлого века.
Мне смешно, когда 4 стены
На одного свободного человека.
Нет, я не строил клетку из кирпичей.
Это не я придумал замазывать солнце стеклом.
Люди, хотите, я позову врачей,
И они прикажут разрушить каменный дом.
А я… я заброшен сюда из другого, светлого века.
Для меня ваше здание – каменное ничто.
Мне смешно, когда на одного свободного человека
Надевают железное и каменное пальто.

Это одно из ранних стихотворений, которое поэт также включил в новую книгу. Кедров за время долгой жизни пережил так много общественно-политических потрясений, что украинские события, шокировавшие многих людей, он воспринял с изрядной долей выдержки и спокойствия. Всё это уже «было, было, было» в недавнем прошлом. «Все стихи мои ныне – беженцы», – говорит поэт.

Есть на свете страна мировой печали
там тоскливые мамонты качают гибкие ветви
там на гибких ветках печальные обезьяны
из стеблей лиан вяжут мамонтам гибкие петли

Я пришёл из эпохи великой людской печали
я ходил со слонами по диким лесам разлуки.
И меня обезьяны как маленького качали
на ветвях тоски на ветвях мировой печали

Не страшит поэта и возможное забвение: «Хоть на тысячи лет позабудут / Незабудки меня не забудут / Гуси лебеди лебеди утки / Не забудут меня незабудки». Визуально кажется, что Кедров идёт путём Пастернака – от сложного к простому: «Голый Голем голая поэтика / Такова теперь моя эстетика / Давнее простое как мычание / Правильней простое как молчание». Но, пожалуй, не может нечто развиться из пустоты. Значит, эти стилистические моменты случались у поэта и раньше. И действительно, тут же вспомнилось: «Земля летела по законам тела. / А бабочка летела как хотела!». Если приглядеться, разницы между «Незабудками» и «Бабочкой» практически нет. До поры до времени простое пребывало в тени сложного. В новом стиле письма поэта, в отличие от его поэм, написанных верлибром, появляется много эмоций, оценок. Некоторые стихи из «Бесконечности внутри юбилея» могут показаться нам царственно небрежными. Но настоящие жемчужины, которых и в новой книге очень много, вполне компенсируют нам этот кажущийся недостаток: «Я Цербер света в царстве тьмы / Пёс охраняющий умы», «С Леной мы свили гнёздышко в Гнездниковском», «Когда исчезнет мир телесный / Останется мой мир словесный / Мой бестелесный мир словесный / Всегда земной всегда небесный». И, конечно, всегда с поэтом открытая им метаметафора: «Перо упало – Пушкин пролетел».

Поэзия Константина Кедрова основана на чистой импровизационности и потому героична в век прагматичного возделывания авторами каждой строчки. Нужно иметь большую смелость, чтобы писать быстро и оставлять стихи в первоначальном виде – «как пришло». «Как стихи могут быть несвободны?» – спрашивает Константин Александрович, и, мне кажется, для него свобода – это ещё и ненасилие над собственной строчкой. «Мой финиш это вечный старт», – говорит Кедров-Челищев. Поэзия позднего Константина Кедрова – своеобразное акынство духа, когда поток сознания нисколько не озабочен формой, в которую он облечён. «Я мыслю – значит, я конста*н*тирую» – так можно сформулировать творческий метод поэта. Однако цена такой лёгкости письма – высока. Даже «впавший в неслыханную простоту» поэт необычайно интересен: в нём есть такая широта и глубина, что, даже если её сузить, мало не покажется. «Говорит Википедия.орг / Что фантазией жил Сведенборг / Ну а что на земле не фантазия / Подскажи мне Европа и Азия».

Есть у Константина одно важное, на мой взгляд, качество, о котором почему-то никто никогда не упоминал. Это чувство юмора, которое присутствует у него и в стихах.

Генетический код динозавра
Расшифруют учёные завтра
Ну а наш генетический код
Ни один динозавр не прочтёт

Иногда, мне кажется, что юмор у Кедрова – это просто игривое настроение: «Не играйте моими нервами / Все последние будут первыми / Я и сам на нервах играю / И скорей всего проиграю». И далее: «Трансвеститы седьмого дня / Разодрали в клочья меня». Юмор у Константина – «с развитием»: с каждой строчкой становится всё смешнее. Гомерически смешные произведения писал он и раньше, например, «Анафему Льву Толстому». Юмор у Кедрова носит абсурдистский характер, это его отличительное свойство. Часто смешное идёт у поэта под руку с трагическим. Если поздний Пастернак во всём пытался дойти до самой сути, до сердцевины, поздний Кедров часто пытается, исчерпав пространство, выйти за его пределы: «Понапрасну брюзжат лицемеры / Что ни в чём я не ведаю меры / Да не ведаю меры ни в чём / Потому что мне всё нипочём / Что почём я и вправду не ведаю / Лишь поэзию проповедую». Это какая-то предельная свобода, импровизационность и страстность мысли. Ведь, согласно Кедрову, именно свобода – родина поэзии. Неформатный гений поэта ни на какие препятствия не обращает внимания. «Я давно превратился в слово», – говорит он. А как остроумно перефразировал он Булгакова: «С котами в коммунизм нельзя». И слышится: скотами… в коммунизм… («Стансы»).

Константин Кедров космичен и в любовной лирике. Его инсайдаут – не просто взаимозаменяемость внутреннего и внешнего, большого и малого.

Его Вселенная – продолжение тела человека.

Сеют семя чем глубже тем выше
Ввысь стремится сквозь недра земли
Вы вошли в моё сердце и вышли
Жаль, что вышли не жаль что вошли

Так случилось ну так оно сталось
Эта ниша тобой занята
Пустота в моём сердце осталась
Но ведь это твоя пустота

На мой взгляд, и простое, и сложное сосуществуют в душе одарённого человека. Просто в какой-то период жизни «вперёд» вырывается то одно, то другое. Но изначально они – одновременны. В этом и заключается богатство души поэта.

Пройдя сквозь всё на миг остановись
и поднимись в распахнутую высь

КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА

К. Кедрову

Поэт играет со всем миром
Частями этого мира
Галактиками – в звёздный конструктор
Все фигуры играют со всеми
На доске гроссмейстера Кедрова
Набоков превращается в бабочку
Лужин прячется от Турати
В шахматной коробке обскура
Чёрный параллелепипед Малевича
Сияет изнутри несказанным светом
Кедров – это художественная гимнастика ума
(Упражнение с лентой Мёбиуса)
Гроссмейстер сделал ход e2-e4
Старые Васюки и Нью-Москва
Навсегда стали городами-побратимами
Шахматы играют в Человека
Кедров – это звучит гордо
Земной гражданин Небесной России
Верный своему многоликому «Я»
Человек впереди своего лица

«И НЕБОМ ВСПЫХИВАЮТ ГОРЫ…»

(Эльдар Ахадов, Ожидание чуда. Избранные стихотворения. – М., Издательские решения, 2022. – 224 с.)

В стихах Эльдара Ахадова есть цельность, которую сложно разбить на квадратики катренов. Они льются, как льётся река, завораживают, как чудо. «Ожидание чуда» – так называется новая книга известного поэта, прозаика и исследователя творчества наших классиков. Это избранное, которое не боится быть дополненным и переизданным. Избранное из уже ранее избранного. Если авангардисты постоянно норовят удивить читателя каким-нибудь броским словом, то Эльдар Ахадов остаётся преимущественно в пределах традиционной эстетики. У него – иные аргументы: пронзительный лиризм и высота духа. Метафоры и эпитеты – приветствуются. Ахадов пишет обо всем на свете, однако среди случайного ищет красивое, гармоничное, возвышающее душу. Это сознательный выбор. Жизнь порой бывает фантастичнее самой изощрённой выдумки. И вся жизнь – в «ожидании чуда, явившегося ниоткуда». Но поэт не просто ждёт его. Он его постоянно приближает, трудясь, как папа Карло, чтобы чудо состоялось. Немногие творческие люди могут похвастать работоспособностью, которую демонстрирует на протяжении долгого времени Эльдар Ахадов. А ещё он – открыватель новых смыслов, свежего взгляда, новой оптики в литературе и философии. Лермонтовская муза поэта поднимает вечные темы.

Туда, где ангел пролетел,
И зверь крылатый возносился,
Я в бездну звёздную глядел,
Глядел и плакал, и молился,
Взывая истово всю ночь
К Тому, Кто милостив и светел,
И в силах каждому помочь…
И я просил. И Он ответил…
Волной вздымается заря,
И небом вспыхивают горы,
И, воздухом животворя,
Сияют вечные просторы.

Вспоминаются крылатые строки Михаила Юрьевича: «По небу полуночи ангел летел». А ещё Эльдар Ахадов – прекрасный живописец в стихах и прозе. Скажу больше: он – «последний романтик» 21-го века. Лирика Ахадова во многом чувственна, а это не так широко распространено среди представителей сильного пола. Чувственность и ранимость у Эльдара – одна из составляющих его поэтического облика, его авторского стиля. Мир, лишённый чувств, механистичен и никому не нужен. Автор делится с нами своим удивлением. Удивление заразительно! Вместе с автором приобщаешься к радости бытия.

Речных огней косая линия
На воды зыбкие легла…
Туманно-серебристо-синяя
Колышется ночная мгла,
И кажется – ещё мгновение –
И в нарастающей тиши
Раздастся трепетное пение
Живой неведомой души.
И чудится её дыхание
Издалека-издалека,
Где лишь тумана колыхание
Да молчаливая река.

Эльдар – поэт, который много пишет о высотах. Иногда – в прямом смысле слова, как в этом стихотворении о горном лесе: *«Лес – весь как птица на весу: / По сопкам длится. / Любое деревце в лесу / Дрожит, как птица. / Любое – в снежной пелене, / Где даль предельна, / Стоит лицом к чужой спине. / И все – отдельно. / Гуляют ветры по стволам, / Ветвям и судьбам; / Здесь равнодушны к похвалам / И глухи к судьям. / Здесь ни на время, ни на быт / Нельзя сослаться. / Здесь нужно кем-нибудь, но быть, / А не казаться. / Пустить слезу, проспать грозу, / Поклясться ложно: / Всё, что возможно там, внизу, – / Здесь – невозможно».* «Быть, а не казаться» – важный постулат для поэта. Лирика Ахадова ценна тем, что, вопреки Козьме Пруткову, он объемлет необъятное. И красоту мира, и страх лишиться жизни, и трагичность бытия, и кристальную чистоту души. Поэт не выбирает между мажором и минором, он может дать их одновременно. Он умеет удивляться и удивлять.

Снег изысканно искрится,
Острым блеском устлан путь.
Снег ложится, как страница,
Чтобы вспыхнуть и уснуть.
Ветер снежной пылью крутит,
Тянет тонкую змею:
Это он в колодце мутит
Воду чистую мою.
Это он в дверные щели
Загоняет сквозняки…
В тёмных окнах – свист метели
И безумие тоски!..

Удивительно, но Эльдар Ахадов, который родился и вырос в Баку, где снега не бывает, так ярко, сочно и точно передаёт дыхание русской метели. Стихов о снеге в книге очень много, и простое их перечисление займёт, наверное, с полстраницы. Секрет на самом деле прост: южанин Ахадов значительную

часть своей жизни проработал на Крайнем Севере, а сейчас живёт и трудится в Сибири, в Красноярске. Он тонко чувствует стихию снегопада: *«Шёл и падал снег без ног / На ветра / Там, где мир – сплошная ночь / Без утра. / Шёл прозрачный в темноте, / Как слеза. / Во все стороны метель – / Ни следа. / Всё смешалось: миг и век, / Низ и верх. / Ничего святого нет – / Только снег!»*. Интересно, что во многих стихах метель у Эльдара соседствует со свечой. Помните, у Пастернака: «Свеча горела на столе…»? И у Рубцова во время метели – «тихий свет, пригрезившийся, что ли?» («Русский огонёк»). Я думаю, человеку обязательно нужен свет во тьме, пусть даже тьма – белая. И Эльдар Ахадов тонко чувствует эту связующую нить между зимней природой и человеком:

Зимы истаяли недели,
Как затерявшийся в ночи
В белёсом пламени метели
Мгновенный обморок свечи.
Но, о минувшем не гадая,
Всё оживлённей и смелей
Струится зелень молодая
По иероглифам ветвей.
И, словно осеняя чудом
Мир, узнаваемый до слёз,
Пылает жидким изумрудом
За полем облачко берёз.

Вы, наверное, уже обратили внимание, что многие стихи Ахадова – песенные. Это – внутреннее внимание к звучащему слову, присущее таланту поэта. «У каждой реки свой плеск. / У каждой души свой дождь. / Ты веришь не в то, что есть, / А в то, чего вечно ждёшь. / …А рядом играют гимн / И ставят вопрос ребром… / У каждой трубы свой дым. / У каждой судьбы свой дом».

Невзирая на то, что автор «Ожидания чуда» – традиционалист, не могу сказать, что русский авангард прошёл мимо Ахадова. Это не так. Поэт испытывает жгучий, неподдельный, искренний интерес к творчеству Велимира Хлебникова, которому посвящено в новой книге несколько стихотворений: «Веет вечер-зинзивер: / Веер-ветер-велимир… / Индивеет индивер, / Засыпает зинзилир. / Зимневеет и звенит, / Зинзивает и скользит. / Сквозникают сквозничи, / И чихают чихачи! / У свечи – / За тенью тень – / Зинь-зивень… / Зивень. / Зи- / Вень».

Я уже говорил о том, что стихи Ахадова всегда идут одним цельным потоком, без разбивки на отдельные части. Он – лирик широкого профиля. Эльдар всё время идет вперёд, ищет себя в чём-то новом. Это и есть его восхождение к вершинам. Помните – «небом вспыхивают горы»? Это была не случайная строчка. Альпинизм увлекает испытанием себя, своего мужества. Вспоминается фильм «Вертикаль» с песнями Владимира Высоцкого. А ещё горовосхождение – это метафора бытия.

Туда, где ледяные сны.
К вершинам, грозным от рожденья,
По зову сердца и весны
Мы начинаем восхожденье.
Долины взорваны травой.
На гребнях снег ещё дымится:
Объятый ветром, но живой.
Он обжигает наши лица.
Ещё не выдохлась пурга:
Лавины эха, шпаги свиста.
И за альпийские луга
Тропа крута и камениста,
За каждым выступом скалы
Риск отступленья неизбежен.
Но там, внизу, кипят котлы,
И золотистый воздух нежен.
Там искры листьев занялись,
Там день язычески неистов…
А перед нами – только высь,
Где небо цвета аметистов.

За каждый шаг, за миг, за треть,
За приближенье к вечной цели –
Не страшно вспыхнуть и сгореть
В белёсом пламени метели…
Короткий выдох. И – вперёд.
А там – пускай судьба превратна.
Но нет уже пути обратно
Тому, кто этот изберёт.

Ахадов – лирик широкого профиля. Я достаточно давно знаком с творчеством поэта, однако ему удаётся время от времени меня искренне удивлять. Посмотрите на эту драматическую жанровую сцену. В монологе героя ощущается непосредственная авторская вовлечённость. Это и есть правда жизни:

Хозяева! На посошок – вина!
Всё было вкусно, чинно, благородно.
Я не смотрю: целуйтесь, что угодно…
Ах, да! Я – рад, что ты – его жена.
Что эта речь нелепа и смешна,
Что роль моя, бесспорно, неуместна,
Не объясняй, я знаю, если честно,
Но чашу пью, как водится, до дна.
И что теперь? На посошок? Вина?
Нет. Покурю сначала – у окошка.
Что странного? Ну, выпил я немножко.
Случаются такие времена.
И всё же чашу надо пить до дна,
До дна – чтобы текло по подбородку.
О, сколько нужно на такую глотку,
Чтобы забыть, что ты теперь – жена!..
«Хозяева! На посошок – вина!».
И хлопнет дверь. И вздрогнешь ты невольно.
Не притворяйся, что тебе не больно.
Уже темно. И дует от окна.

Любовь, в трактовке Ахадова, – понятие объёмное. Где-то рядом бродит и ненависть, где-то затаились и зависть, и неприятие чужого мнения, и агрессия, и зло. Крушение любви – маленькая смерть, и тот, кто однажды сумел пережить этот эшафот, будет жить долго и счастливо. Но горечь утраты, как фантомная боль, нахлынет и долго не отпускает. Человек – базис любого творческого начала. В случае с Эльдаром Ахадовым человек конгениален поэту. Он готов бесконечно дарить своё время друзьям. Мне доводилось бывать у Эльдара в его родном Баку. Радушный хозяин уделил мне всё своё время, и я тоже две недели пребывал в «ожидании чуда».

ДЕВОЧКА НА МАГИЧЕСКОМ ШАРЕ

Татьяна Богданова (Аксёнова), Магический шар. Стихотворения. –
М., Издательство «У Никитских ворот», 2022. – 252 с.

Татьяна Аксёнова с корзинкой цветов на голове на обложке новой книги больше похожа на древнегреческую богиню, нежели на современную поэтессу. Но женская красота Татьяны – такая же данность, как и её поэтический талант. Порадуемся за неё: женская привлекательность не мешает ей совершенствоваться в слове. «Магический шар» – книга во многом для автора знаковая и переломная. «Земную жизнь пройдя до половины, / Я отсекла остатки пуповины / И поменяла имя и страну», – пишет Аксёнова. Точнее, Татьяна поменяла не имя, а фамилию. Но именно фамилия у поэта является именем.

У меня сложилось впечатление, что в «Магическом шаре» Аксёнова вышла на новые рубежи. «Если вы не создаёте свой мир, то обслуживаете чужие», – афористически пишет Аксёнова в своём авторском предисловии. Там же она говорит о своём заново найденном стиле письма: это романтический реализм. Звучит как оксюморон, но в этом, похоже, есть свой смысл. Романтизм, в традиционном понимании, – это жизнь, сожжённая поэтом во имя творчества. В своём авторском предисловии Татьяна зарекается пускаться во все тяжкие, прожигать жизнь ради слова. В этом, на мой взгляд, и заключается её

«реализм». В целом особенности её стиля поэта остались теми же, что и раньше, просто они укрупнились и отчеканились. Лирику Татьяны Аксёновой всегда отличала высокая энергетика. Энергичная звуковая просодия даёт ей возможность писать широкими цветными мазками обо всём на свете. Но, пожалуй, главное достижение нового издания – вся книга, собранная преимущественно из новых стихотворений, написана автором на уровне её собственного «гамбургского счёта». То есть «лучших» стихов набралось на целую книгу, а «проходные» – практически отсутствуют.

У Татьяны слово всегда идёт за музыкой. Чёткая интонация. Она и читает свои стихи прекрасно. Мало кто из женщин читает так хорошо, как Татьяна.

И свет, и звук – дуэт. И выбор узок:
Очнувшись, не поверить никому,
Но быть в плену трофейного союза,
Служить ему! («Когда струится свет…»).

В «Магическом шаре» Аксёнова несколько меняет оптику своего поэтического взгляда: если раньше взгляд её был устремлён часто вовнутрь, на перипетии своей женской судьбы, то теперь она много пишет и о том, что находится вне влюблённостей и разочарований. Это уже не только любовь женщины к мужчине, но и просто Любовь, с большой буквы.

Татьяна хорошо знает историю, биографии поэтов, художников, композиторов. Вся мировая культура у неё – как на ладони. Незаурядная эрудиция! «Ужель та самая Татьяна?», – наверное, воскликнул бы взволнованно при встрече Александр Сергеевич. Она словно бы оживляет словом судьбы известных людей – Ван Гога, Чюрлёниса, Волошина, Паганини, Цветаевой, Северянина и других. В стихотворении о Чюрлёнисе у Аксёновой звучит оригинальная мысль о том, что Бог покровительствует дилетантам, поскольку сам тоже был дилетантом: творил мир впервые в жизни.

Стихи Аксёновой о выдающихся личностях – не просто дань уважения классикам. Все эти стихи – объёмные и живые, о гениях поэт говорит довольно-таки пристрастно. Я вот, например, не согласен с тем, что у Ахматовой был роман с Модильяни в Париже (с Чулковым – возможно, с Модильяни – точно ничего не было). Не согласен я и с тем, что по масштабу таланта Ахматова значительно уступала Гумилёву. Но все эти моменты авторского пристрастия придают чтению книги дополнительный интерес. Всё это – тоже своеобразный «романтизм», предпочитающий одних поэтов другим, переоценивая одних и недооценивая других. Причём всё это написано на голом нерве.

Обилие жанров у Аксёновой – не «полистилистика», а широта души поэта, разнообразие её талантов. Она одинаково уверенно чувствует себя и в любовной лирике, и в жёстких военных сценах, и в портретах выдающихся деятелей культуры, и в народных напевах. Одинаково хорошо удаются ей и элитарные вещи, например, стихи о Брамсе или Моцарте, и народные, поскольку сама она – тоже «из народа»: «Бубенец плескался, цокал / Под раскидистой дугой: / Где ты, где ты, ясный сокол? / Не умчался ли к другой? / Едут саночки с невестой, / Едет свадьба-балаган. / Полный месяц катит честно / Снежным комом к сапогам!». Причём народность у Татьяны не есенинская, не кольцовская, не рубцовская, а своя собственная, присущая только ей, хотя и выдержанная в русской традиции. Богатый язык и точный звук очень ей в этом помогают.

В новой книге поэт часто обращается к строгим формам: сонетам, секстинам, катренам, октавам и т.п. Высокий уровень версификации позволяет ей делать это хорошо. Есть даже совсем редкие жанры – такие, как монорим, акрокаре. «Магический шар» – книга мастеровитая. Не чужда Татьяне Аксёновой и живопись. «Снег жил ещё в утробе неба / И на моей ладони не был». Красиво и поэтично! Посмотрите, какими поэтическими красками расписала она снегирей:

Отражается небо в снеге
Синевой, белизной – облака…
И снегирь, точно отсвет некий
Сокровенного огонька.

Тени тёплые в промежутке,
Точно взлётная полоса…
Красной зорькой пробьются в грудке
Чьи-то райские голоса!..

Он взовьётся флейтовой песней,
Что зима ему, что – весна,
Этот яркий и сочный персик…
Гроздь рябины ему вкусна!

Звук прекрасных его элегий,
Что в слова начнут облекать,
Отразит синеву на снеге
И зеркальные облака…

А когда все трезвоны смолкли –
Млечный путь потеряет нить…
Спит снегирь, как фонарь, на ёлке,
Продолжающий всем светить…

В стихах Татьяны много чувственной любви, с привкусом эротики:

Знаешь, я так без тебя замёрзла:
Жизнь замерла без прикосновений…
Ветер порывист, зима промозгла,
Кровь прорастает цветком по вене…

Татьяна пишет, что стихи сочинять помогает ей «третий глаз», который всегда есть у поэта: «Писание моё – святое таинство / Которое не кажется святым? / Оно совсем, такое вот, рабочее, / Простое, словно репа и ботва…/ Но музыка, что слышу среди ночи я, / Наутро превращается в слова!». Метафорически, слияние маленьких талантов автора в один большой – поэтический – действительно подобно открывшемуся третьему глазу.

Совсем коротких стихов у Татьяны Аксёновой немного: почти все они длиннее 20-ти строк. Вдохновенный поэт тяготеет к «длинному дыханию». У меня сложилось впечатление, что она стремится объединить лирическое и эпическое начала. А на пространстве носового платка этого не сделаешь, одним катреном тут не обойдёшься. Выбранная автором стилистика остро нуждается в протяжённости строк. Но и «некраткость», на мой взгляд, может быть «сестрой таланта», если для этого подготовлена почва. На что ещё обращаешь внимание в стихах Татьяны? В них есть восторженность восклицательных знаков. Она словно бы на цыпочках привстает: ловите меня! Несмотря на то, что лёгкой судьбу поэта не назовёшь, дар души у неё – светлый, пушкинский.

Строки Аксёновой переливаются, словно бы догоняя друг друга. Лира у поэта – щедрая, не экономная. Жизненные испытания романтичный человек переносит нелегко, зато они хорошо питают его лирику. «Успокойте меня, урезоньте, / Гиацинтов добавьте в букет, / Что цветут на моём горизонте / И поют на моём языке. / Я сама на восходе сгораю, / Мне восставший из пепла – чета… / О, весна без конца и без краю! / Без конца и без краю мечта!». Последние две строки – узнаваемо блоковские. Татьяна не боится быть с классиками «на дружеской ноге». Её перу принадлежат интереснейшие портреты наших писателей. Вот, например, стихи об Игоре Северянине: «Галантным и галантерейным / Он словотворчеством увлёк! / Так хочется впитать скорей нам / Сверхгениальность странных строк!.. / Им восхищался даже Блок, / Гадают нынче Волгин с Рейном: / Кого билетом лотерейным / Одарит Бог?..». Татьяна Аксёнова – энерджайзер и знаток литературы. Далеко не все стихи в «Магическом шаре» возвышенно-романтичны. Есть в книге и строгие строки про войну:

Как найдёшь? Вокруг то рвы, то надолбы,
Трупов мёрзлых, детских – штабеля!
К эшелонам подоспеть бы надо бы!
Чёрный лёд когда-то отбелят?

Через всю книгу Аксёновой проходит и Пабло Пикассо, его «Девочка на шаре»: Теперь я – девочка на шаре / Стеклянных зим: / Тряхнёшь – и стылый пар ошпарит, / Дохнёшь – и дым!». Русская зима у Татьяны – тоже «шар», только – «стеклянный»: «Пройти обряд инициаций – / Лови, пурга, / Сильфиду, что могла касаться / Руки Дега!..». Магический шар перевоплощений, выведенный автором в заглавие новой книги – сочетание в главной героине земного начала с небесным, чистого и непорочного с земным и страстным.

А завершается эта большая книга стихов венком сонетов. «Жизнь создаю, похожую на миф», – говорит автор. Я не помню, чтобы Татьяна уделяла так много внимания в своём творчестве строгим формам и делала это так эффективно. «Магический шар», на мой взгляд – качественный скачок в её творчестве. Читатели книги будут приятно удивленытворческим изобилием, фонтанирующим у поэта в «Магическом шаре».

«СВЕТ ВСЕГДА ВАЛЯЛСЯ ПОД НОГАМИ…»

(Борис Фабрикант, Багажные наклейки. Серия «Поэтическая библиотека». – М., Время, 2022. – 152 с.)

Поэт Борис Фабрикант придумал для новой своей книги нестандартное название. Багажные наклейки – татуировки чемодана у человека, который, путешествуя на самолётах, посетил много городов. Говоря современным языком, это кьюаркоды в недавнее прошлое. Борис словно бы сравнивает содержимое такого чемодана с объёмом человеческой памяти. Это чемодан жизни, наполненный воспоминаниями. Вся книга Бориса Фабриканта состоит из девяти поэтических разделов. С особой теплотой читаю в книге стихи, посвящённые детству поэта. «Свет всегда валялся под ногами», – говорит Борис. Детство, в трактовке Фабриканта, – это маленький рай. Вместе с тем, у поэта это не «потерянный рай», как у Адама и Евы, а рай «забытый». Это важная поправка: забытый – не окончательно потерянный. Его можно вернуть – например, воспоминанием. Что меня особенно трогает в детских стихах Бориса? Он воссоздаёт саму атмосферу детской жизни:

Как хорошо всё это начиналось.
Как ожиданье праздничных часов.
И книжка перед сном запоминалась.
И дверь не закрывали на засов.

Про беды и обиды забывая,
Ныряя в сон, выплёскивался в день,
Где было утро без конца и края,
Хлеб с молоком и солнце, свет и тень…

Детство – это безразмерное и блаженное время, которое сложно отформатировать. Это шагреневая кожа наоборот. «И самолёт не запустить до неба, / И двор не перейти за целый день», – пишет Борис. Бесконечность – как по вертикали, так и по горизонтали. Поэтому и возникает у поэта стойкая ассоциация детства с библейским раем. У Фабриканта есть несомненная одарённость в отображении видеоряда. Поэтому в его стихах – всегда яркие картинки: зрительная память помогает ему всё это запомнить и не забыть. Детство всегда остаётся с нами: «Мой самолётик в тучах бродит, / Не улетая от меня».

У нас не запирали дверь.
Замок английский только на ночь.
«Дверей всего у жизни две», –
Так говорил сосед Иваныч.
Он зимним утром на снегу
Меня привязывал к овчарке:
«Держись, сейчас я побегу,
Она тебя на лыжах в парке
Потащит быстро за собой.
Держись за палку, не теряйся».
И мчались я и снег сухой.
«На повороте наклоняйся!»
И я стоял, летел сквозь снег,
Там всё осталось, как в начале:
Собака мчится по лыжне,
Снег белый, в мире нет печали

В детскую картинку поэт вводит, используя ассоциативное мышление, философскую присказку. Читателям хорошо с Борисом в его детстве, потому что детство – страна, общая для всех. Поэзия способна объединять людей. Если перевести стихи Бориса Фабриканта на другие языки, это будет востребовано и представителями других народов. Конечно, из ретроспекций помнится далеко не всё: забвение – такая же важная вещь для человека, как и память. Регулировка баланса между ними происходит самопроизвольно, часто во благо самому человеку. Невод памяти Бориса Фабриканта не просто захватывает в свои сети крупную рыбу. У него возникает с памятью философский диалог. Мне кажется очень важным этот посыл поэта – «спросить и простить свою память», и не только в отношении детского периода жизни. Простить память – и за то, что многое забыла, и за то, что многого не забывает.

Пробел в пространстве залатать стихами,
Заштопать строчкой, подбирая цвет,
Не наглухо, чтоб облака мехами
Дышали вслух и пропускали свет.

Снег утоптав, и шаркая в калошах,
Тереть его до льда, тереть до льда.
И каждый день останется хорошим,
И целый год, который навсегда.

А снег и память, тонкие листочки
Кладут в следы, не оставляя звук.
Я запишу, поставлю даты, точки,
И осторожно выпущу из рук.

Те давние и клятвы, и обманы,
Как подпись в небе дымом из трубы,
Растают к лету, йодом смажем раны,
Всё заживёт до свадьбы у судьбы

Детские стихи поэта были опубликованы в советское время в «Пионерской правде». Так, ещё в детстве, началась его творческая биография. А дальше – бескрайность детства куда-то испаряется, улетучивается, когда человек становится взрослым. «Багажные наклейки» – это книга о памяти и бессмертии. «От забора чужое ложится начало, / по следам под дождём не найти никого, / ничего не забыть – это много и мало, / это – много и мало – нести каково?».

В стихах Бориса Фабриканта много воздуха и спрятанных смыслов. Много бытовых подробностей, вплоть до предметов в доме, ухватившись за которые, кинолента памяти начинает раскручиваться обратно. Иногда в гостях возникает неожиданное чувство, что всё здесь знакомо, словно бы сам ты сажал здесь цветы – настолько окружающая обстановка соответствует твоим вкусам. Так и с воспоминаниями Бориса Фабриканта.

Поэт мыслит книгами, и лучшее впечатление о его стихах можно сформировать именно из книг. Внутри книги существует своя жизнь, от каждого стихотворения идёт эхо. Авторский выбор даёт им многое. Новые смыслы могут открыться читателю на стыке разных стихотворений, раздвигая пространство. Фабрикант пишет о главном, но не впрямую – через предметы, осязаемо, вещественно, духовито. Борис не даёт готовых рецептов, как жить. Но с его лирикой хорошо думается о жизни читателям.

У Бориса Фабриканта багажные наклейки – как будто следы жизни, её шаги. Память прихотлива: на одно и то же событие у разных людей она отзывается по-разному. «Дней воздушные пузыри / Надуваются. Подождём. / Очень яркие у зари, / Очень мокрые под дождём. / Рассыпаются – подышать / Крошкой, брошенной воробьям. / Понедельники не спешат, / Собираются по краям. / В небесах дыра, медный грош, / Солнце раннее, шагом марш! / Ливень утренний – не пройдёшь! / Тучи к вечеру – мятый фарш. / Без команды никто, нигде, / Даже ветер пустой не крут. / Кто вообще бы на них глядел, / Если б мы не дышали тут?». Взгляду поэта присущ метафорический объём. Действительно, большинство наших дней – лопаются, как мыльные пузыри: вроде был – и нет. Редкий день остаётся в памяти на всю жизнь. У Фабриканта сквозное ощущение жизни, проходящей через человека. Герой Бориса живёт порой в срединном положении между раем и обрывом:

Но куда ни пойдёшь в этом старом краю,
Отмывая окно и сквозняк запирая,
Ты на шаг у обрыва стоишь на краю
В расстояньи руки от забытого рая («Забытый рай»).

В новую книгу поэта вошло запомнившееся и памятное. Но память всегда можно раздвинуть ещё глубже, ещё дальше. Всё подвластно киноплёнке памяти: «И видишь, идут пионеры в походы. И слышишь, не слышишь, крадётся беда. А хочешь, не хочешь, потеряны годы. Но их не вернёшь никогда». Потерянное у поэта равняется обретённому. Память неожиданно оказывается амбивалентной, и Борис замечательно передаёт это ощущение «двойными» глаголами: «хочешь, не хочешь, слышишь, не слышишь». И то, что вспоминается Борису, актуально и в наши дни: к сожалению, всё возвращается, и в том, что возвращается, плохого больше, чем хорошего.

В лирике Фабриканта сочетаются мыслитель, лирик, эпик и живописец. У него необычный взгляд на жизнь – одновременно и снаружи, и изнутри, и сверху – как бы уже из будущего. «Как будто я, бинокль у самых глаз перевернув, / гляжу глазами в душу», – говорит Борис. Плюс ко всему в его стихах есть мудрость. Поэт чувствует дистанцию между правдой и вымыслом. Он изображает жизнь объёмно, ничего не утаивая, не выдавая желаемое за действительное: «Кино – окно, глядишь, не верится, / Так всё красиво от любви! / Оно недолго плёнкой вертится, / Всё остальное сам живи».

У Бориса Фабриканта – обширный поэтический инструментарий. Вот, например, он рассказывает о том, как слушал в юности виниловые пластинки. И вдруг – говорит о том, что теперь сам он как пластинка – крутится и уже не может остановиться. Метонимия здесь отлично работает, как художественное средство. У Бориса есть в поэзии личный набор инструментов, и он из выбранных кирпичиков строит своё здание.

Интересна и обложка новой книги поэта. Помните «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи? Эта работа продемонстрировала миру идеальные пропорции человеческого тела, так называемое «золотое сечение». Так вот, рисунок гения высокого Возрождения, где человек вписан в квадрат, а квадрат, в свою очередь, вписан в круг, переосмыслен поэтом. Художник книги Михаил Евшин немного даже «приодел» витрувианского человека. А Борис дополнительно окольцевал рисунок да Винчи своим собственным стихотворным кольцом, в котором угадываются названия глав новой книги. Особенно запомнились из его стихотворного послания строки о бессмертии: «И помню, что я никогда не умру».

В стихах Бориса дышит живой человек. Для него стихи – связующая нить между людьми: «Стихи, как взгляд, живое средство связи, / И бесконечно мы передаём / Простые строки по словам, по фразе. / Любимые! Приём! Приём! Приём» («Азбука Морзе»). Причём «любимые» для поэта – это не только самые близкие люди – отец и мать, но и все люди, с которыми удаётся установить мысленную связь. «Если позвать негромко – перелетает эхо».

Борис – человек театральный: дружил с Виктюком, сочинял либретто для музыкальных спектаклей. Ему родственно шекспировское отношение к жизни: весь мир – театр, и все мы в нём – актеры. И кино, как младший брат театра, тоже символизирует у поэта кратковременность жизни.

Любовь и смерть, рождение и детство,
Набор страстей, еда, красивый вид,
Друзья, беда, привычное соседство,
И сердце – и болит, и не болит.

Рассыпанные дни, как снимки, маски
И карты – неразгаданный пасьянс,
До старости мы, плача, смотрим сказки,
До смерти наша жизнь – один сеанс.

Мы указаний ждём от режиссёра,
Кинотеатр старый, небольшой,
И аленький цветок растёт из сора,
А после называется душой

Театральных стихов в книге очень много («Второй состав», «Он был на равных с небесами…», «Трагикомедия» и др.). Поэт избегает чеканности строк, но природная музыкальность проникает в его стихи. Стержневая тема новой книги Бориса – свойства человеческой памяти. По мнению поэта, память человека трансцендентна: «Так и мы, здесь остаёмся памятью, / От рожденья бывшей нам душой, / и уходим ветром, цветом, замятью. / А за нами дождик небольшой».

Конечно, новая книга Бориса Фабриканта – не только о памяти. Она – и о сталинских репрессиях, и о современном выборе человека – «между миром и вождём, меж честью и бесчестьем», и о вечных поисках истины. «Багажные наклейки» – книга для внимательного чтения. На мой взгляд, это лучшая на данный момент по качеству книга стихов Бориса Фабриканта. Думаю, её будут читать и перечитывать. В добрый путь, новая книга!

«КРЕСТОМ СЕБЕ ПРОКЛАДЫВАЮ ПУТЬ…»

(Антонина Белова, Зовущая даль. Стихи. Предисловие Н.А. Листопадова. – М., Нусантара, 2018. – 163 с.)

Стихи Антонины Беловой обращают на себя внимание «высоким» звучанием: дух поэта обитает в горних сферах и оттуда на грешную землю спускаться не очень любит. Сейчас, в сложное время, мечтая

о мире, люди стремятся сберечь в себе душевное равновесие, найти дополнительные источники силы, создать вокруг себя творческую атмосферу. Человек неагрессивный, миролюбивый, светлый не только спасает сам себя, но и создаёт оазис теплоты, доброты, великодушия. Всё это имеет прямое отношение к Антонине Беловой и её творчеству.

Так задумчиво даль светлела,
и лежало море у ног,
и душа тайной птицей пела,
и горел от зари восток.

Всё – молчанье, и в мире целом
беспредельная тишина,
лишь волна, в пенном платье белом,
поднималась внизу со дна.

И несла тишине навстречу
тайны древние бытия,
и с небес, будто пенье певчих,
нисходила Любовь Твоя.

«Зовущая даль» – это книга путешествий. «Многообразные впечатления, как увидит читатель, наполнены личными переживаниями, ретроспекцией и порой рефлексией – желанием заставить память вернуться в прошлые события, не оспаривая известный тезис о том, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды», – пишет в авторском предисловии Антонина Белова. Путешествия дают возможность человеку взглянуть на себя со стороны. Есть нечто такое, что связывает между собой страны, в которых побывала Антонина. Она находит в самых разных уголках мира присутствие Святого Духа.

Настоян полдень сосною,
прозрачна неба вуаль,
индиговой пеленою
вновь море уходит вдаль.
Рву персик, кизил. И смоква –
осенний итог земли.
Но жатва ещё не смолкла,
и в море все корабли.
И кажется, в свете зыбком
небесный огонь исчез.
Но Сеятель жнёт с избытком,
и сети полны чудес.

В этом стихотворении у поэта – радостное мироощущение, единение со светом. Очень хороший звук. «Смоква – смолкла» – отличная рифма. Мир в душе героини достигается упорной работой над собой. В другом стихотворении, которое стоит в книге рядом с предыдущим, царит совсем другое душевное настроение: «За этой серой пеленой / нагих рассветных окон / ты не узнаешь, что со мной – / живой и одинокой. / И я к тебе не долечу / через моря по краю, / а злой разлуке-палачу / не видно, как сгораю / от безысходности в душе, / от ожиданья злого. / Стою на роковой меже / дня нового земного». Поэт черпает душевные силы не только в вере и надежде на лучшее будущее, но и в светлых воспоминаниях о счастливом детстве, в образе родного дома:

И золотило душу всё окрест –
и заливало счастьем до предела,
и ликовало маленькое тело,
и не казался непосильным крест.

«Зовущая даль» – стихи воцерковлённого православного человека. Это ощущается во многих строчках Антонины Беловой: «Я замирала, как трава, / пред миром Божьим в раннем детстве», – пишет Антонина. Это особый мир, который стремится обуздать стихийное начало в человеке, упростить в нём сложное. Но страстность – важная часть природы человека. Вера тоже может быть страстной! «Крестом себе прокладываю путь. / Кого боюсь? Как совладать с душою? / И страшно, и легко, как будто суть / чего-то открывается большого» («Над Иорданом нестерпимый зной…»).

Ахматовская муза Антонины Беловой не может остаться равнодушной, когда звучит музыка, в данном случае – композиции Эдварда Грига: «Музыка, муза / – свет и печаль / тайного груза / – дара печать. / Музыка, рви же / цепи судьбы! / Радость всё ближе – / в звуках мольбы». Порой сама норвежская природа звучит для путешественницы, как музыка: «И всюду фьорды, фьорды, / их влага будоражит глаз – / живые всплески и аккорды, / в них кобальт, яхонты, алмаз».

Лирика Антонины – первородна и вдохновенна. Она умеет удивляться. Во всех странах, которые она посетила, а их с добрый десяток, она находит отклик в своей душе. Но, кажется, Италия занимает в этом списке особое место. Поэт сетует, что нельзя импортировать красоту Вечного Города:

Вместе с шумом ночного прибоя,
вместе с пеньем предутренним птиц,
тайну Рима не взять мне с собою,
не раздвинуть надменных границ.
И зачем глубина доказательств,
и зачем расставанье до слёз,
если рамки сухих обязательств
упраздняют наивный вопрос
о почуявшей жажду разлуке,
о бессилии суженных глаз,
о свободе, ликующей в звуке
итальянских отрывистых фраз.

(«Всё со мною осталось, со мною…»).

Антонина Белова – филолог-русист с учёной степенью. Она даёт некоторым из своих стихов латинские названия, что придаёт этим текстам ещё одно измерение. Я, например, знаю несколько иностранных языков, но латыни, к сожалению, не обучен – и немного завидую знатокам. Именно в итальянских и французских стихах латынь Беловой, на мой взгляд, наиболее уместна. Suum cuique – так называется стихотворение (каждому своё – лат.), которым я хочу закончить краткий обзор лирики Антонины.

Странница моя, легко ли крылья
по нездешнему пути плывут?
У разлуки вечное бессилье
перед временем, его обычай крут –
разрезать, сужать, делить и мерить
всем судьбу, но каждому – своё.
Чужестранка, не считай потери:
твоё имя значит «не моё».

…А судьба? Она тебя достойна.
Примешь всё – ведь каждому своё.
Как река глубокая спокойна,
пусть таким и будет бытиё.

СЛОВО О ВЫСОЦКОМ

(Владимир Высоцкий. Малое собрание сочинений. – М., Азбука, 2022. – 608 с.)

К 85-летнему юбилею Владимира Высоцкого издано его «малое собрание сочинений». И будет издано ещё немало новых книг, в этом у меня нет никаких сомнений. Вот только Владимир Семёнович – тот редкий классик, которого полностью лучше не издавать: он начинал с дворовых песен откровенно любительского характера. И разница между его вершинными и юношескими произведениями слишком велика, чтобы её игнорировать. В этом плане издатели оказывают читателям медвежью услугу, публикуя ранние и несовершенные стихи Высоцкого. Наверное, поэт и сам не ожидал, что ему удастся взобраться на высоту «Охоты на волков», «Коней привередливых» и других замечательных произведений. Он начал писать стихи уже в зрелом возрасте, во многом из-за неудачного начала актёрской карьеры. И пошло-поехало: в фильме «Вертикаль», который вышел на экраны в 1968 году, стихи Высоцкого не только вполне профессиональны, но и оригинальны по акустике: «Если друг оказался вдруг / И не друг, и не враг, а – так; / Если сразу не разберёшь, / Плох он или хорош, – / Парня в горы тяни – рискни! / Не бросай одного его: / Пусть он в связке в одной с тобой – / Там поймёшь, кто такой». Как хороша здесь ритмика, как здорово

согласуется она с внутренними рифмами! Но даже от «Песни о друге» ещё далеко до того Высоцкого, которого мы знаем и любим. Почему бы не издать избранное самых лучших его произведений? Лично я хочу читать у автора только самое лучшее. Но беда в том, что я – в меньшинстве. Миллионам менее притязательных читателей слабые и несовершенные произведения классиков нравятся едва ли не больше, нежели сильные. И такие читатели, к сожалению, «правят бал»: их больше, а, значит, издательства будут ориентироваться именно на них, чтобы получить максимальную прибыль.

Удивительно, что Высоцкий пел свои стихи, а не читал их. Он был настолько хорошим чтецом, что и на фоне Евтушенко с Вознесенским, думаю, не потерялся бы. Скорее всего, на этом поле он бы их переиграл и затмил. Но, очевидно, авторская песня привлекла его возможностью исполнять со сцены свежие стихи, не согласовывая тексты с союзом писателей. Советское время требовало от творческой личности принадлежности к какому-нибудь союзу. Иначе человека запросто могли арестовать, как Бродского – «за тунеядство». Член Союза кинематографистов Владимир Высоцкий мог петь везде свои песни, а вот свободно читать стихи – не мог. Парадокс. Но такое положение дел открыло в нём талантливого композитора. Как и у Окуджавы, у Высоцкого попадаются музыкальные композиции, которые жизнеспособны даже отдельно, без стихов. С первых же аккордов мы легко узнаём эти мелодии. Пример – песня «Я несла свою беду». После перевоплощений поэта в неживые предметы – такие, как самолёт или микрофон – перевоплощение автора-мужчины в женщину совсем не шокирует. Этим «баловался» ещё ранний Макс Волошин. Высокая песенная драма написана автором в «народном» стиле.

Я несла свою беду
По весеннему по льду.
Надломился лёд, душа оборвалася.
Камнем под воду пошла,
А беда – хоть тяжела –
А за острые края задержалася.

И беда с того вот дня
Ищет по свету меня,
Слухи ходят вместе с ней, с кривотолками.
А что я не умерла,
Знала голая земля
Да ещё перепела с перепёлками.

Кто из них сказал ему,
Господину моему,
Только выдали меня, проболталися.
И, от страсти сам не свой,
Он отправился за мной,
А за ним беда с молвой привязалися.

Он настиг меня, догнал,
Обнял, на руки поднял.
Рядом с ним в седле беда ухмылялася.
Но остаться он не мог,
Был всего один денёк,
А беда на вечный срок задержалася.

1972 г.

В чём необычность этого текста? Мы по старинке полагаем, что реалистичные произведения существуют отдельно от символистических. А вот Высоцкому удалось «повенчать» символизм и реализм. Это ведь не единственный у него образец «смешанной техники». Чтобы не быть голословным, приведу ещё один пример, «Расстрел горного эха».

В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха,
На кручах таких, на какие никто не проник,
Жило-поживало весёлое горное эхо,
Оно отзывалось на крик – человеческий крик.

Когда одиночество комом подкатит под горло
И сдавленный стон еле слышно в обрыв упадёт –
Крик этот о помощи эхо подхватит проворно,
Усилит – и бережно в руки своих донесёт.

Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья,
Чтоб не был услышан никем громкий топот и храп,
Пришли умертвить, обеззвучить живое ущелье –
И эхо связали, и в рот ему всунули кляп.

Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха,
И эхо топтали, но звука никто не слыхал.
К утру расстреляли притихшее горное эхо –
И брызнули слёзы, как камни, из раненых скал…

Символистична по своей сути и «Притча о Правде и Лжи». Но Высоцкий не снискал бы и малую толику своей славы, если бы ограничился в творчестве символистическими произведениями. Думаю, не ошибусь, если скажу, что изрядной долей своей славы поэт обязан правильно выстроенному в творчестве балансу между драматическим и развлекательным. Ни один русский поэт, прославившийся, в первую очередь, произведениями драматическими, не уделял до Высоцкого столько внимания юмору. Возможно, у них этот дар просто отсутствовал. Либо – казался чем-то «низким» и потому компрометирующим. Высоцкому же удалось развернуться здесь во всей красе своего таланта. Порой его юмор на грани фола. Он с особым удовольствием обыгрывает в стихах обсценную лексику, причём делает это настолько качественно, что матерные слова слышатся, но не произносятся. «И ведь, главное, знаю отлично я, / Как они произносятся, / Но что-то весьма неприличное / На язык ко мне просится» («Возле города Пекина…»).

Юмор у Высоцкого часто носит игровой характер (ну актёр же, что с него возьмёшь?). Например, жители Тау Кита у него – «тау-китайцы» («В далёком созвездии Тау-Кита»). Это особый юмористический дар – найти фонетическое сходство между китом и Китаем, да ещё так, чтобы было заразительно смешно. А какая весёлая вещь получилась у него о загранпоездке в Будапешт («Инструкция перед поездкой за рубеж»)! Кузнецу-стахановцу вовсе не обязательно досконально знать географию стран Европы. «В мире есть много вещей, которые мне не нужны», – говорил ещё Сократ. В результате Будапешт у Высоцкого оказывается то в Чехии («в этом чешском Будапеште», то в Болгарии, то вообще в Бангладеш. Я думаю, что Высоцкий как юморист был не менее популярен, чем Аркадий Райкин.

Невзирая на всенародную славу Владимира Семёновича, против него всегда существовала фронда. Рафинированные интеллигенты при упоминании имени Высоцкого до сих пор неодобрительно морщатся. Думаю, Высоцким нас ещё и «перекормили» в последние десятилетия. Примерно так же, как в советское время перекормили читателей Маяковским. Если судить о Высоцком по таким популярным текстам, как «Я не люблю» или «Большой Каретный», его пребывание в первом ряду лучших наших поэтов действительно выглядит спорным. Но для меня Высоцкий – прежде всего драматург. Там, где у него есть драматургия, второе дно, нестандартность подачи – там он по-настоящему хорош и не имеет конкурентов. Но кто будет фильтровать его произведения, отсеивать зёрна от плевел? Каждый выберет для чтения или прослушивания то, чего сам достоин. Читатель может расти вместе с поэтом, постепенно выбирая у него более зрелые произведения. Универсальность классики – залог её долгой жизни в новых поколениях читателей.

«ШКАФ»

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

О ПОЭТИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ АЛЕКСАНДРА КРАСОТКИНА

(Александр Красоткин. Дорога к свету. Стихотворения 2014-2021. – М., Центр полиграфии «Радуга», 2021 – 152 с.)

Свежестью первозданности, далью давно забытого и утерянного времени веет от поэтических страниц Александра Красоткина, поэта и фотохудожника, рождённого с обострённым чувством Природы и её красоты. Стихи его могли бы показаться вневременными, но это если прочесть одно или два отдельно взятых стихотворения, но если читать их во множестве, то становится явной отнесённость к традициям русской литературы дореволюционного времени, в которой была и цвела тенденция – живописать и передавать Природу, из неё черпать вдохновение.

Если есть в стихотворениях А. Красоткина философия, то это подспудная философия Природы, то есть её длящийся временной *континиум*, её неспешная, как русская равнина, длительность. Его Природа будто говорит своим дыханием – как сказал наш поэт – «…О вѣчной подлинной свободѣ, / Что недоступна для людей». Вот это чувство духовного, обретённого свыше, придаёт силу подлинности избранным стихотворениям и избранным строкам поэта.

Многие стихи Александр Красоткин не лишены живой эмоциональности, но они *не погружают* во глубину души такого автора, в ком глухо и мрачно рокочут фаустианские бездны чувств. Это не стародавняя европейская байроническая романтика. Выбор Александра – созерцать Природу, как Творение Божие. И Творение это вполне самодостаточно, оно совершенно уже тем, что величаво и мирно дышит под небом.

По большей части спокойная, даже негромкая поэзия, оснащена особой естественностью, а порой даже дрёмной вкрадчивостью, в которой окрашенные чувством художника картины *проявляются* строками и тогда рождаются образцы традиционной русской лирики.

Иной раз даже кажется, что строчки на глазах исчезают, растворяются под ровным и нежарким солнечным светом или проявляются в мерцании зимней вьюжной дороги. Раздумчив и углублён взгляд и благородно сдержанны переживания.

Красоткин действительно обладает, как он сам пишет, «сердцем чутким», которым он «полюбил навеки» свою Русь – «Ея безкрайнихъ далей тихій свѣтъ / И хрупкимъ льдомъ покрывшіеся рѣки…». И он вместе с тополями – «оплачет горько солнечное лѣто». Его ветер, плача «под сурдинку», в слезах тоскует о весне. Так возникает спонтанный, жизненно оправданный антропоморфизм образов поэта, когда силам природы, растениям придаётся человеческое звучание, человеческий голос. И возникает стройная напевность строк.

На острие чувства проходят у него во многих стихотворениях смены времён года, особенно переход осени в зиму. Показательно в этом отношении, среди многих, стихотворение «Ушла за горизонтъ полночная звѣзда» Но и в зиме поэт находит свою прелесть, своё поэтичное, чуть печальное очарование. Вот строки из стихотворения «Зимний день»:

…Подъ мягкимъ снѣжнымъ покрываломъ
Сномъ одинокимъ спитъ ковыль,
Въ закатномъ свѣтѣ нѣжно-аломъ
Мерцаетъ древній монастырь.

Все въ мірѣ дремлетъ, лишь летаетъ
Надъ дальнимъ озеромъ метель,
И вѣтеръ, какъ дитя, качаетъ
Природы спящей колыбель.

В пейзажной лирике поэта есть черты простого, безыскусного изящества, которое возникает и без принятой в современной русской поэзии метафорической густой насыщенности и неожиданных смысловых поворотов, затемнённых, непроявленных смыслов, которыми стал

литературно богат XXI век. А. Красоткин, напротив, по мысли своей, лирически выраженной, по-старинному вполне определён, конкретен, реалистичен. Ни неосимволические, ни тем более эгофутуристические черты ему не свойственны…

В своём интервью известному российскому журналу «Фома», данном в 2013 году, Александр Красоткин, говоря о своих литературных вкусах, прежде всего назвал имена Бунина, Шмелёва, Зайцева… Простую, прямую соотнесённость с Природой мы видим именно у Ивана Бунина – например в стихотворениях «Осень», «Первый снег», «Октябрьский рассвет»… Но по духу поэзия Красоткина нам кажется, близка своими мотивами и природным чутьем к прочувствованным творениям поэта К.Р, великого князя Константина Романова, внука императора Николая I, на стихи которого народ русский, даже не зная имени автора, слагал песни… Оба поэта – прирождённые лирики, несшие в звуке своей лиры шепот Природы… Они оба – душою устремлены в небо, в которое смотрят золотые купола и кресты православных церквей. Недаром в том же интервью «Фоме» А. Красоткин сказал: «Всё в этом мире имеет Божественную природу, но среди этого Красота, увиденная и выраженная в искусстве, занимает особое место. Через красоту мира, запечатленную художниками, мы познаем красоту духовную, возвышенную, ту, что в христианской литературе называется добротолюбием…». Эта цитата взята нами из высказывания, посвящённого художественной авторской фотографии, но она вполне приложима и к поэтическому творчеству, поскольку ни стихи, ни фотографии не являются для А. Красоткина самоцелью – «а лишь средством запечатлеть эту красоту и передать тем, кто способен её оценить». (Журнал «Фома», 2013, октябрь, с. 5).

Стихотворение «Послѣднія настали нынче времена» несёт на себе явственные признаки гражданской лирики. Автор в нём с горечью пишет о разделении некогда единого в духе и вере народа, о том, что нынче забыто покаяние, и – «Разладъ, двуличье, зависть правять балъ / Въ душѣ померкнувшей, забывшей Бога…». Да, страшны времена безверия и богооставленности, когда легко в разделении скользнуть в пропасть гражданской войны, и могут сбыться самые безвозвратные, страшные апокалиптические предсказания…

В стихотворениях А. Красоткина редки отнесения к определённым географически местам. Но в процитированном нами стихотворении «К родине», где есть образы моста, «сходящие к воде ступени», по двустрочию – «Надъ биржей чайки жалобно кричатъ / Въ лиловой млѣ небеснаго простора» – позволяет предположить, что тут речь идёт о Петербурге, Петрограде. Тем более, что в сборнике есть и стихотворение «Летний сад». Сам автор постоянно живёт в Москве. Однако для него понятие Родины, России, Руси намного шире, вознесённее, духовнее и ценнее, чем определённая точка на обширной географической карте. Его Родина одновременно и надмирно-идеальна и духовна, и природно-реальна. Она в поэте живёт и из его души рождает прочувствованную живую русскую поэзию, традиционную в лучшем смысле слова, живую лирику!..

Напоследок необходимо сказать ещё об одной несовременной, причудливой, но благородной черте творчества А. Красоткина. Тексты он пишет и набирает в дореформенной орфографии; той, которая была в ходу в России до 1918 года. Тогда из русского алфавита были исключены несколько букв алфавита, некоторые из которых при употреблении проявляли духовный смысл слов. Вместо исторической основательности настали времена упрощения. По этому поводу поэт сказал: «Для меня это важно. Это не только дань традиции. Это эстетика и глубинное чувство, в котором заключено богатство языка, его сокровенных смыслов и мерцающих оттенков. Я бережно храню в своей библиотеке прижизненные книги русских поэтов, а в новых и новейших изданиях вижу грубую орфографическую усечённость и, как следствие, опрощение и частичную потерю смыслов в изданиях тех же поэтов по „новой“ орфографии. Поэтому я хочу сохранить первозданность нашего языка, нашей словесности даже в правописании…».

ВЛАДИСЛАВ КИТИК

ЗАВИДОВАТЬ ЛИ ГЕНИЮ?

(Вероника Коваль, Художники-евреи Парижской школы. – Одесса, Бондаренко М.О., 2022. – 116 с.)

В литературный бомонд вышла новая книга. Её герои – аристократы духа, чья популярность при жизни достигала невероятных масштабов, а по прошествии времени их имена остались впечатанными в скрижали мировой культуры. Название как парадоксально, так и интригующе, как красноречиво, так и удивляюще – «Художники-евреи Парижской школы». Так задумала автор книги одесский писатель, журналист и просветитель Вероника Коваль.

Открываем обложку, как дверь к тайникам творчества, представленного галереей образов признанных и любимых художников. Читатель получает возможность заглянуть в тесноту мастерских и вырваться оттуда на просторы залов мировых выставок и музеев.

По признанию Вероники Анатольевны, мысль о создании такого сборника пришла к ней как к ведущей собственного авторского проекта «Дневные звёзды». Она освещала деятельность людей искусства: и наших современников, и работавших в минувшие года. Извлечённые из забытья, их биографии являются достоянием энциклопедий.

В связи с неординарностью личностей их искусствоведческому исследованию пришлось бы посвятить тома. Поэтому задача книги иная. Её составляют новеллы-встречи, новеллы-напоминания о людях, создававших своим творчеством плодородные пласты современной культуры.

Живописцев Парижской школы, столь различных, в целом отличает смелость авангардных решений, поиск новых форм живописи, способов и техник самовыражения и… отменная незаурядность. Именно эта сторона более всего увлекла автора книги и, конечно, сопереживание тому, что их преследовала горечь непризнания, хранила вера в свою исключительность, чужая зависть компенсировалась пониманием собственной значимости. Да! Гении не без амбиций!

Наконец, укором нынешнему депрессивному времени может служить то, что иудейские гены описываемых художников питали каждого жизнелюбием, наделяли стойкостью к невзгодам и непокорным характером, чуждым пессимизма и отчаяния. Когда в их креативные принципы не верили, они их утверждали. Слухи о них превращались в легенды. Легенды, подкреплённые биографическими фактами, переосмыслены и превращены в короткие, но ёмкие новеллы, образующие книгу-антологию.

Первый, о ком ведётся рассказ, – Марк Шагал («Прогулка над городом»). Его художественное восприятие исходит из детского ощущения себя «между жизнью и смертью». Отсюда – мотивы полёта в картинах, определившие оригинальность его новаторства. Улочки родного Витебска продлены идеей создания еврейской национальной культуры.

…А вот по парижским мостовым прогуливается эстет и баловень судьбы, который хоть и в «рабочих брюках и дешёвых рубашках, вечно расстёгнутых», возвышается над обыденностью, над миром. Это Амедео Модильяни, «олицетворение вольного союза художников» («Амедео»). Его портреты, не схожие с натурой, мановением таланта превращались в символы. Эренбург назвал его судьбу «назидательной, как притча».

…Нищета шла об руку с посмертной славой Хаима Сутина. Но художник не бежал от преследований нужды, а передавал в картинах страдания, вызванные ею, видя для себя «один фетиш: цвет». Его портреты, ощутимые как плоть и кровь украшают лучшие музеи мира.

…В истории изобразительного искусства имя Леона Бакста (настоящее имя Лейб-Хаим Израилевич Розенберг) связано с эпитетом «блистательный» («Блистательный Бакст»). Неутомимый рисовальщик, вдумчивый поклонник и ярчайший представитель стиля «модерн», ознаменовавшего начало XX века. Дерзкий отказ от консервативности академизма не помешал, а, наоборот, способствовал ему стать как дизайнеру законодателем европейской моды…

Бесспорно, книга была бы неполной, а возможно, и лишена шарма, если бы Вероника Коваль не подчеркнула присутствие в творчестве художников женского начала. По версии автора, творческие судьбы одухотворены присутствием в них женщин, без которых сами творцы не мыслили своего творчества. Сиделки, секретарши, поклонницы, натурщицы незримо давали побудительный импульс к творчеству, на много лет становясь спутницами живописцев, их советчиками, законодателями тайны. Шедевральные портреты документально подтверждают их высокое звание муз.

Это были женщины выдающиеся сами по себе. Например, Амедео обратил внимание «на молодую даму в облегающем платье и широкополой шляпе». И дальше мы словно смотрим его глазами на прекрасную модель: «Она не шла – она несла себя. Когда дама села, обнаружилось, что она состоит из острых углов. Колени, локти. Обнажённые ключицы, нос с горбинкой…». И вот уже перед глазами изысканный портретный набросок Анны Ахматовой, эстетной, горделивой. Из рисунков Модильяни, подаренных русской поэтессе, сохранился один. Но он известен всем!

В этом же кругу творила и горячила умы Мария Воробьева-Стебельская, восторгавшая Диего Риверу, Илью Эренбурга, Горький на прощанье подарил ей имя Маревна, под которым она вошла в память потомков.

Совершенно удивительна история любви Эйнштейна к одной из представительниц прекрасной половины человечества. В миру Маргарита была официальной женой советского скульптора Конёнкова, направленного с нею на долгие годы в Нью-Йорк. Но будучи притягательной для мужчин высших светских кругов, она по поручению органов вела наблюдение за настроениями творческой интеллигенции, выступая под агентурным псевдонимом «Антонина». Ей удалось растопить сердце учёного, казалось бы наполненного одной лишь безапелляционной цифирью. Но – тем не менее, чудо произошло! Благодаря ей лауреат Нобелевской премии со своей гениальностью «вывел формулу Бога» («Формула любовного треугольника»).

Замысел и бдения за письменным столом – не всё, что предваряет появление книги. Огромную

организационную работу взяла на себя руководитель Культурного центра Благотворительной фундации «Хесед Шаарей Цион» Анна Розен. По её словам, Вероника Анатольевна выступала лектором в публичной программе «Художник и его муза», существующей в рамках общего проекта «Университет без границ» и вызывающей к этой теме огромный интерес.

Самопроизвольно внимание сфокусировалось на художниках начала XX века, творивших в Париже. И хотя понятие «Парижская школа» была интернациональным сообществом художников, многие представители в этом кругу были с иудейскими корнями. Рассказы о них составили содержание книги и определили её название «Художники-евреи Парижской школы». Объяснение этому – в «Предисловии».

Одной из причин появления евреев Российской империи во французской столице стало, по словам автора, лишение их на родине права оседлости в больших городах. Учиться живописи они могли только за границей. С другой стороны, «творческой молодёжи стало тесно в устоях еврейских общин», где бытовали религиозные ограничения, и не приветствовалась профессия художника.

Остаётся только сожалеть, что нам недоступно лицезрение подлинников. Но и репродукции несут отпечаток духа и идеи картин. Собранная в книге коллекция цветных иллюстраций позволяют побыть в кругу избранных. Быть в отсветах гениев, проникнуться силой творческой интуиции.

Чтение о них заставляет задуматься о цене, заплаченной за право быть знаменитым. Эквивалента ей нет, несмотря на космические взлёты ставок на аукционах: за картину платят долларами или гульденами, за работу над картинами – судьбой. Любого заставит задуматься, так ли велика потребность в самовыражении, чтобы жертвовать тем обычным человеческим счастьем, которое называется комфорт и благополучие? Но – проникнуться уважением к тем, кто поднялся над стандартами жизни.

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

ТЕАТР БЕЗ ГРИМА

(Валерий Александрович Иванов-Таганский. Неубитый театр. – М.: Серебряные нити, 2023, – 524 с.)

К читателям приходит книга в своём роде уникальная. По своей жанровой природе она представляет собой одновременно и театральные мемуары, и остросюжетное повествование, и публицистические размышления, и инвективы – о судьбах русского искусства.

Автор, Валерий Иванов-Таганский, заслуженный артист России, был в своё время одним из ведущих таганских актёров на протяжении большого отрезка времени – до второй половины 1970-х годов.

На подмостках прославленного театра ему довелось сыграть такие разноплановые роли, как Лаэрт в «Гамлете», император Николай I и кавалергард Дантес в пушкинском спектакле «Товарищ, верь!», Глумов в «На всякого мудреца довольно простоты» («Бенефис») А.Н. Островского. Многие годы он играл министра-председателя Керенского в «Десяти днях, которые потрясли мир», Дамиса в «Тартюфе», Согрэдо в «Жизни Галилея», Весовщикова в «Матери» – как видим, всё это ведущие роли в важнейших, этапных спектаклях театра.

Впоследствии Иванов-Таганский серьёзно занимался и режиссурой. Без малого пять лет был главным режиссёром академического театра им. Лермонтова в Алма-Ате. В театре «Содружество актёров Таганки» с успехом поставил спектакль «Исповедь хулигана» по С.А. Есенину, «Полковник-птица» по пьесе болгарского драматурга Христо Бойчева. А также стал телеведущим на Первом канале. Многие годы ведёт цикл передач «Искатели».

Но театральная ипостась – это только одна сторона творческого облика Иванова-Таганского. Он, кроме того, ещё и известный писатель-прозаик – автор 9 романов, повестей, рассказов. По его роману «Семя отечества» по заказу московского правительства режиссёром Ю. Карой снят прекрасный четырёхсерийный фильм «Репортеры».

Иванов-Таганский также и драматург, автор таких пьес, как «Барашек в бумажке», «Прощёное воскресенье» – в первой из них явственно слышны интонации драматургии А.М. Горького.

Поэтому вполне естественно, что Иванов-Таганский с полным правом выступил в жанре театральных записок – ему есть что вспомнить о своём театре.

Конечно, с тех пор, как Иванов-Таганский был любимовским актёром, прошло много лет. Однако с временной дистанции события, как правило, представляются более выпукло, пропущенными сквозь «магический кристалл» огромного жизненного и творческого опыта. Ведь «большое видится на расстоянии», по известной строчке Есенина.

Трудно понять, как рождаются такие книги.

Возможно, поводом стала кончина великого Маэстро и его так и не разрешённый конфликт с труппой театра, вспыхнувший незадолго до ухода Юрия Любимова.

В книге он фигурирует полным сил красавцем и одновременно почти 100-летним стариком, находящимся на пороге небытия. Во всяком случае, всё перечисленное в какой-то степени явилось живым источником для создания этих записок, названных автором «Триумф и наваждение».

На страницах воспоминаний Иванова-Таганского проходит целая вереница событий, происходивших в театре, показаны очень колоритные зарисовки его основных деятелей – в первую очередь, конечно, Ю.П. Любимова, представленного в книге разносторонне, а подчас и нелицеприятно. Затем это, конечно, Владимир Высоцкий, занимающий, естественно, в книге одно из ключевых мест. Особенно интересны и уникальны те страницы, где автором введены казённые, официальные документы, связанные с попытками изгнания великого актёра и поэта из театра.

Очень живо и зримо выписаны фигуры Валерия Золотухина и Леонида Филатова, и, конечно же, самого автора, главного героя, выведенного под фамилией «Самойлов».

Автором блестяще воссоздана очень непростая, во многом каверзная театральная жизнь поздней советской эпохи, когда во всё вмешивались разных рангов партийные чиновники от искусства и всё, собственно, зависело от их произвола. И в этом смысле, пожалуй, особенно удачны и выразительны те страницы, где рассказывается о посещении Театра на Таганке тогдашним министром культуры Е.А. Фурцевой или известным сталинским сподвижником, бывшим в то время уже глубоким стариком-пенсионером, – В.М. Молотовым.

Ярко выписано посещение двумя актёрами Театра на Таганке писательского городка Переделкино и общение с живым классиком советской литературы В.П. Катаевым, поделившимся с ними бесценными воспоминаниями о С. Есенине.

К тому же ряду можно отнести и эпизоды, рассказывающие о поездке студентов-щукинцев для показа в ленинградский БДТ и театр Комедии, и общение молодых артистов с корифеями театра Г. Товстоноговым и Н. Акимовым.

Следует отдельно сказать и о тех местах книги, где речь идёт о гастролях Театра на Таганке в Болгарии. Здесь присутствуют очаровательные подробности и детали, связанные главным образом с Высоцким, посещение спектакля Тодором Живковым, тогдашним болгарским лидером. При этом нельзя не заметить, что содержание книги полностью отражает её заглавие, – с одной стороны, это триумфальные творческие успехи одного из самых интересных театров страны, а с другой – автор нисколько не скрывает и всевозможных внутритеатральных трений, столкновений характеров, самолюбий, амбиций, творческих и человеческих несовместимостей. Одним словом, всего того, что в огромной мере определяет, как мы уже сказали выше, очень непростую, а иногда и жёсткую закулисную жизнь. Причём всё это изображено Ивановым-Таганским очень правдиво, честно, откровенно, без всяких слащавых красивостей – именно, что называется, без грима.

Таким образом, мы предрекаем читателям огромное удовольствие, которое ожидает их при чтении этой книги. Перед ними развернётся многоцветная мозаичная панорама огромного пласта истории отечественной театральной культуры с целым созвездием блистательных имён.

Надо заметить, что Иванов-Таганский написал эти воспоминания в дни ухода Любимова, и то, что эти заметки полны любви и веры в Театр на Таганке, придаёт этой книге важное, промыслительное значение.

Театральных записок, как известно, существует очень много, написанных разными театральными деятелями, как великими, так и, по словам А.Н. Островского, «скромными служителями на этом благородном поприще».

Книга Иванова-Таганского, содержащая к тому же и беллетристический элемент, займёт в этом ряду одно из достойных мест и по прошествии совсем небольшого количества времени, безусловно, станет бестселлером.